

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

БРЕНКВЕЛЛА

1(5)2018

ВРЕМЕНА

Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Выпуск 1 (5) 2018

Нью-Йорк
2018

ВРЕМЕНА
Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

VREMENA
International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Publisher Leon Mikhlin

Editor David Guy

Design and layout Slava Petrakov

Copyright © 2018 Leon Mikhlin

No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form or by any means – electronic, mechanical,
photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews,
without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce
selections from the journal, please call 917-922-4153 и 646 -270-9615
or send an email to lbm28w@aol.com и guydmf@yahoo.com

All rights reserved

ISBN: 978-1983438585

Printed in the United States of America

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
Марк ВЕЙЦМАН	(Израиль)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(Англия)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(Дания)
СЕМЕН РЕЗНИК	(США)
МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ	(Германия)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ 6

НАША ПОЧТА 8

ПРОЗА

БОРИС САНДЛЕР

Пятая мистерия 14

ЛЕОН МИХЛИН

Индийский гамбит 26

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

Диагноз 67

ВИТАЛИЙ РОЗЕНШАЙН

Собрание сочинений из Фейсбука 124

ПОЭЗИЯ

ТОМАС ВЕНЦЛОВА 54

МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР 113

ЕЛЕНА ЛИТИНСКАЯ 163

ОЛЬГА КУЧКИНА 239

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ

Иностранец за границей.....168

ПОЛИТИКА

ВЕРА КОРЧАК

Путинизм: прошлое, настоящее, будущее193

О НАС ПИШУТ

МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ

Война цитат215

ИМЕНА В ЛИТЕРАТУРЕ

ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ

Фридрих Горенштейн и его нынешние критики.....220

ЮРИЙ ОКУНЕВ

Одиссея Феликса Розинера.....245

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

ГЕННАДИЙ ЕВГРАФОВ

«Кто устоял в сей жизни трудной...»264

БЫЛОЕ...

ЯКОВ ФРЕЙДИН

Из омута287

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО...

АЛЕКСАНДР МАТЛИН

Два рассказа303

К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья! Именно так мы с полным правом называем всех вас – наших читателей и подписчиков, заинтересованных критиков и советчиков, которые с нами уже второй год существования международного литературного журнала «ВРЕМЕНА». Контакты с вами – неоценимая помощь и важнейший ориентир в деятельности издателя, редактора и редсовета. И не случайно первый в новом 2018 году (а по счету уже пятый) выпуск журнала открывается фрагментами ваших, друзья, писем и сообщений в редакцию. Вы нас хвалите, иногда даже чересчур, это приятно, но, поверьте, несколько не расхолаживает, не ведет к самоуспокоению – дескать, вот какие мы молодцы!, а лишь подчеркивает верный путь издания и качество публикуемой прозы, поэзии, публицистики..

Мы и впредь будем опираться на ваши мнения и суждения, хотя можем и поспорить, пополемизировать.

Важное новшество – создание сайта журнала: **www.vremena.online**. Появилась возможность общаться через сайт, узнавать последние новости, подписываться электронным способом посредством системы PAYPAL.

Ну, а желающих подписываться прежним способом адресуем к этому для многих привычному и знакомому сообщению.

Вот данные по годовой подписке на 2018 год (4 номера объемом около 300 страниц каждый). На чеке надо указать цифру 50 долларов (почтовые расходы включены) и дать название компании издателя заглавными буквами: PGLL LLC. Чек вложить к конверт и отправить по адресу:

David Guy

97-07 63 Road Apt.11H Rego Park NY 11374

Tel. 646-270-9615

Напоминаем контактный электронный адрес, по которому (помимо сайта) можно держать связь с редакцией, направлять сообщения, предлагать авторские тексты для рассмотрения: guymf@yahoo.com.

Итак, мы с вами вступили во второй год существования. Надеемся, он принесет творческие удачи, новые открытия и возросший интерес к нашим публикациям.

Леон МИХЛИН, издатель

Давид ГАЙ, редактор

ЖУРНАЛУ «ВРЕМЕНА» – ГОД

Мнение читателей

Вышли в свет четыре номера нового литературно-художественного и общественно-политического журнала «Времена». Некоторые вещи мне понравились больше, некоторые меньше, но у всех людей разный вкус и другим может понравиться все наоборот.

В первом номере в отрывке из романа Валерия Бочкова описаны действия исламских террористов в Москве, и это очень страшно. Хорошо, что журнальный вариант романа Бочкова «Брат мой Каин» дан в четвертом номере.

Как всегда, своим пером радует нас Давид Гай. Темы авиации Давид касался в своих книгах неоднократно и всегда это было как-то по особенному свежо и интересно. Впечатляет опубликованная в двух номерах его документальная повесть о эмигранте из Украины Стивене Зильбермане, который стал военным летчиком в США и совершил подвиг во имя спасения товарищей.

Особенно мне близка была публикация заметок Евгения Гика «Глубокие тайны Марка Тайманова». Я хорошо знал Евгения Яковлевича, даже можно сказать, дружил с ним последние годы, он часто останавливался у нас, когда бывал в Нью-Йорке. Это был необыкновенный человек не только по уму и эрудиции, но и очень живой и остроумный. Каждый, кто прочитает его заметки, поймет это.

Во втором номере замечательная подборка поэзии. Вообще, во всех номерах очень хорошие стихи. В стихотворении Марины Тюриной-Оберлендер «Заповедь», посвященном Марине Цветаевой, так и чувствуется пульс Цветаевой. Лариса Ицкович в стихотворении «Слово о словах» очень точно обыграла такое простое и в то же время основополагающее понятие как «слово».

В третьем номере очень интересная статья Леонида Гольдина

«Слава и Слава» о Святославе Рихтере и Мстиславе Растроповиче. Я много читал о них, неоднократно бывал на их концертах. Мне даже посчастливилось быть на концерте в Большом зале Консерватории в Москве в 1975 году, когда приезжал великий композитор Бенджамин Бриттен, который написал новый квартет и посвятил Рихтеру, Ойстраху и Растроповичу и они его исполняли (кто был четвертым, не помню). Тем не менее, заметки Гольдина открыли для меня новые детали и написаны очень живо.

В четвертом номере выделяются две публикации Владимира Фрумкина. Одна – это окончание очень интересной темы «Придворные музы», начатой в третьем номере. На ярких примерах, в частности, Шостаковича, показано, как безумно трудно творить при тоталитаризме. Но, может, от этого и рождаются великие произведения. Вторая заметка Владимира Фрумкина «Диссиденты – охранители путинского режима» натолкнула меня на мысль – почему бы в журнале «Времена» не открыть полемическую общественно-политическую страничку. В каждом номере редакция задает тему и в следующем номере печатает пришедшие заметки, конечно, с некоторой редакцией. Если тема окажется плодотворной, то ее можно продолжить и в следующем номере.

Анатолий СУХОРУКОВ, Нью-Йорк

Начал было писать об авторах журнала и самых интересных публикациях, но вовремя остановился – список получился бы очень длинным. Скажу иначе – во «Временах» я просто не нашел обычных, проходных текстов. Представляю, сколько сил тратят издатель и редактор на подготовку каждого номера, выискивая все самое лучшее, что есть в литературе русского зарубежья. Честь и хвала им за это!

Несколько мыслей общего порядка и конкретных предложений. Коль журнал декларируется еще и как общественно-политический, то хотелось бы видеть в нем больше именно таких материалов. В первых двух номерах были серьезные статьи о новом президенте США, сделан прогноз на его пребывание в Белом доме. Ну а дальше? Как охарактеризовать исключительную политическую борьбу вокруг действий Трампа? Как оценить первый год

пребывания его во власти? Надеюсь, в будущем году мы увидим статьи на эти темы.

Я бы предложил руководителям издания и членам редсовета подумать над новыми рубриками – например, «Из архивов», «Страницы семейных хроник». Русскоязычным иммигрантам, разбросанным по свету, есть что вспомнить, чем поделиться. У многих сохранились ценные документы и свидетельства эпохи, фрагменты семейных историй могут стать волнующим чтивом. И, конечно, надо укреплять связь с читательской аудиторией, и в Америке, и в Европе, и в России – путем создания сайта журнала, его выхода на просторы интернета.

Михаил КЕЧКЕР, Чикаго

Четыре номера нового международного журнала «Времена», издаваемого в Нью-Йорке группой энтузиастов под руководством Дэвида Гая и финансовой поддержке Леона Михлина, стали увлекательным гидом в мир литературных открытий, новых и знакомых имен. Уникальность большинства произведений, представленных журналом, в том, что авторы обладают опытом проживания в двух непохожих цивилизациях. Этот опыт проявляется не только в виде воспоминаний или кратких проблесков памяти о былом, но и в общей атмосфере, создаваемой авторами журнала. Здесь можно найти и мудрость опыта, и вызов сильных Духом, и радость преодоления, и печаль утраты.

Название журнала таит в себе решимость его создателей вобрать в свои страницы сполохи бушующих революций, тревоги интеллектуалов о непредсказуемости Леты, боль и надежды маленького человека в океане глобальных событий. Листая страницы «Времени», заново осознаешь всю могучую силу русского языка, способного в совершенстве передать как смятение разума нашего современника, так и хладнокровный цинизм тех, кто уверен, что судьбы мира в их руках. У журнала, несомненно, будет расти аудитория благодарных читателей и авторов, унаследовавших от огромного мира русской литературы способность чувствовать ВРЕМЕНА.

Галима ГАЛИУЛЛИНА, Гейтерсберг, штат Мэриленд

Спасибо за журнал. В каждом номере нахожу много интересного.

Откликаюсь на интервью Лианы Алавердовой «Разговор тридцать лет спустя» («Времена» 3/2017). Статья заставила меня вновь пережить многое, случившееся в Баку тридцать лет назад.

В то смутное время имя героини интервью Лейлы Юнусовой, создательницы Народного фронта Азербайджана было широко известно. Ее бескомпромиссность, прекрасная речь, эрудиция, напористость, ее гуманная программа порождала надежду на прогрессивные реформы в республике.

В те дни в квартиру моего друга позвонили его знакомые из какого-то московского информационного агентства. Трубку снял я. Спросили об обстановке в Баку и кто такая Лейла Юнусова. Я ответил: «Лейла – это наша Жанна д'Арк – интеллектуал и демократ».

Позже, ночью с 19 на 20 января 1990 года, в окна этой квартиры на 15-м этаже дома на Проспекте строителей летели пули. Тогда в Баку был введен 35-тысячный армейский оккупационный корпус. Было убито 137 мирных жителей, ранения получили более 744 человек. Бронетехника утюжила улицы, давя сотни автомобилей, в том числе – и кареты скорой помощи, поливала слепым огнем все вокруг.

В интервью в журнале «Времена» с воистину героической четкой Лейлой и Арифом Юнусовыми открывается многое о причинах, породивших волны насилия, и приведших в конце концов к расколу Народного фронта. Небольшая группа, придерживающаяся умеренных взглядов не захотела остаться в одном лагере с ультрарадикалами, вышла из Народного фронта и организовала Социал-демократическую партию под руководством Лейлы Юнусовой и Зардушта Ализаде.

С удовольствием прочел о том, как на собрании сотрудников академии Лейла дала пощечину академику Зие Бунятову в ответ на его попытку стащить ее с высокого постаменты. Я знал Зию Бунятова как противоречивую фигуру академика-хулигана, участника войны, Героя Советского Союза, кумира незрелой воинствующей молодежи. Одного его слова в аудиториях университета было до-

статочно, чтобы вывести на улицы толпы студентов. А еще на моей памяти Бунятов «прославился» в Баку бранью, брошенной в лицо Сахарову в ответ на попытки Андрея Дмитриевича найти компромиссный гуманный выход из Карабахского кризиса.

В памяти встает такая картина. Утро, в окно доносится неприятный шум, рокот. Наша улица во всю ширину заполнена демонстрантами. Один из многих лозунгов гласит: «Без евреев, русских и армян расцветет родной Азербайджан».

Кто это провоцировал? Кто и зачем организовал военное вторжение в Баку? Какова роль Москвы, Горбачева?

Объяснения Лейлы и Арифа чрезвычайно интересны.

Марк ГИНЗБУРГ, Бостон

Знакомство с новым печатным изданием – это как с человеком: всегда интересно кто, что и чем дышит.

Журнал «Времена» сразу приятно удивляет разнообразием и неизбежностью рубрик: кроме ожидаемых «Прозы», «Поэзии», «Переводов» и т.п. мы видим здесь «Страницы американской культуры», «Личности», «Реминисценции», «Имена в искусстве» и др. Названия говорят сами за себя.

Проза представлена интересными романами и новеллами авторов, знакомых и не очень: Ольга Кучкина, Екатерина Салманова, Валерий Бочков, Виктор Норд .

Очень понравились стихи в 3-м и 4-м номерах. Спасибо Владимиру Батшеву, благодаря которому в журнале появилась поэзия первой волны эмиграции. Замечательно, что эти поэты вернулись к нам своими стихами.

В 4-й книжке в рубрике «Полемика» большое впечатление производит статья Владимира Фрумкина Диссиденты – охранители путинского режима. Я прочитала ее с большим интересом и благодарностью, разделяя с автором его мысли и позицию.

Спасибо, «Времена»!

Зоя НИКИФОРОВИЧ, Чикаго

Весьма современна полемическая статья Владимира Фрумкина о живущих в Америке советских и российских диссидентах, поддерживающих Путина. Не случайно эту публикацию поддержало радио Свобода.

Большой интерес у меня вызвала статья Михаила Румера-Зараева о воцерковленных евреях.

А заключительную главу книги Семена Резника о Н.И.Вавилове я прочел на ночь, и, пораженный ее трагизмом, уже не смог уснуть: все виделся мне ВИР (Всесоюзный институт растениеводства) на Исаакиевской – я попал туда вскоре после переезда в Ленинград в 1954-м, и открывшийся за величественным фасадом собора интерьер института показался мне бедным, жалким, а царивший там дух – жутко печальным. Тогда я еще, как и все вокруг, ничего не знал о разыгрывавшихся в этих стенах смертельных драмах и о страшной судьбе великого основателя института. Вот кого надо было причислить к святым великомученикам!..

Михаил БЯЛИК, Гамбург, Германия

Борис САНДЛЕР

ПЯТАЯ МИСТЕРИЯ: В КАНУН ПЕРВОМАЯ

Главный герой романа Бориса Сандлера «Экспресс-36» Дов-Бер, современный еврейский писатель, рассказывает о своих скитаниях по двум мирам – Верхнему городу и Нижней стране. В пути ему встречается чернокожий пророк Иона-Джона, благодаря мистическим трюкам которого Дов-Бер переносится в Бельцы – город далекого детства, где он набирается духовных сил, чтобы продолжить свой жизненный путь и творчество.

Я вошел в вагон «Экспресса-36» и замер, вновь погрузившись в пронизанную тревожным ожиданием темноту. Вытянув шею, я принюхивался, как одинокий волк в ночи. Мои легкие вбирали воздух покинутого много лет назад родного города.

С запада, где находился масложиркомбинат, ветер нагонял на нашу улицу вкусный хмельной аромат свежего подсолнечного масла и прессованной макухи, которая внешне напоминала толстый круглый шоколад, покрытый кусочками шелухи от жареных семечек. Еще тогда, в детские свои годы, я слышал, что на макуху – жмых – хорошо ловится карп. Признаться, при виде этих пахучих кругляшек мне и самому сразу же хотелось сделаться рыбой и начать от удовольствия чмокать губами. Папа мой за пару недель до Пейсаха обычно приносил домой четыре-пять таких кругляшек и крошил их в чугунный котелок, перемешивая с водой, а образовавшейся кашей уже бабушка пичкала гусей. Как-то раз я не выдержал, украдкой отломил кусочек макухи и засунул себе в рот. Ощущение оказалось не из приятных. Слюна, смешавшись с твердой макухой, быстро превратила ее в противную кашу, к тому же острая шелуха врезалась в язык и нёбо. Любимое лакомство рыб и гусей я поспешил как можно быстрее выплюнуть...

С севера вкусный западный запах перебивало едкое зловоние,

разносившееся по ночам от спиртового завода. Его высоченная труба, сложенная из красного кирпича, тянулась от земли до самого неба. Широкая понизу, она чем выше, тем больше сужалась. Кучерявый шлейф вился по небу, как будто кто-то ухватился за него и постепенно вытаскивал из трубы, медленно размазывая дым по небосводу.

С востока, напротив дымового шлейфа от спиртового завода, из другой трубы медленно ползло по небу худосочное создание, с клочковатой шкуры которого на крыши, мостовые, дворы и сады сыпались мелкие крупинки сажки. Это порождение меховой фабрики, подобно полчищу блох, проникало во все щели, забиралось людям под воротник и кусало тело. Женщины жаловались, что после стирки не могут вывесить на просушку простыни. Та же труба, видимо для усиления эффекта, отравляла атмосферу смесью химических препаратов, необходимых для обработки мехов и кожи.

Улицы и переулки освежали воздушные потоки, шедшие с юга. Во всю ширь, от Кишиневского моста и до самого горизонта, раскинулись там поля, по одну сторону дороги – кукурузы, по другую – подсолнухов. Из чистого воздуха и соков растений летнее солнце заваривало чудесную эссенцию и разливало ее по Бельцам...

В те несколько мгновений, пока мой нос вдыхал смесь запахов родного города, глаза настолько привыкли к вагонной тьме, что я смог разглядеть возле себя узкую белую морду козы. Она терлась о мою ногу, точно пыталась доказать, что является живым существом, а не фантомом. Еще через мгновение я установил это со всей возможной определенностью. Шутка сказать – коза, за исключением белой морды с бородкой, оказалась полностью синей, включая даже торчащий сзади короткий хвостик.

Между тем из другого конца вагона разнесся гогот: «Га-га-галья...» Я не поверил своим ушам: откуда здесь гуси-то взялись? А с другой стороны: разве синяя коза с белой мордой представляла собой вполне обычного пассажира? Свет стал постепенно проникать сквозь грязные окна, как будто снаружи, на заброшенной станции подземки, пробудилась заспавшаяся заря. Так случалось по утрам в моем далеком детстве, когда мама забывала закрыть ставни на ночь. Вместе со слабыми лучами, словно вплетенные в них, до меня доносились тихие мелодичные звуки, в которых все яснее можно было

различить песни – их пела моя бабушка. Я глубоко вздохнул и сделал первый шаг по узкому проходу.

Это был простой плацкартный вагон еще довоенного времени, разделенный на тесные купе: две тонкие стенки с жесткими спальными полками, а посреди, между нижними полками, – квадратный столик, похожий на подоконник. Напротив купе, по обе стороны от такого же столика, располагались два сидячих места, а вдоль прохода, заслоняя верхнюю часть окна, висела еще одна спальная полка. Все места в вагоне оказались заняты пассажирами, погруженными в обычные дорожные хлопоты. На столиках поблескивали зеленые бутылки с желтыми полумесяцами лимонадных этикеток. Из тонких стаканов, вставленных в серебристые подстаканники, торчали маленькие ложечки. И тут же на столиках, на заляпанных газетных страницах, лежали, собранные в кучки, обглоданные косточки, хлебные крошки, яичная скорлупа, содранные с вареных картофеля «мундиры»...

Вглядываясь в лица пассажиров, то ли не замечавших меня, то ли делавших вид, что не замечают, поймал себя на мысли: я смотрю на них так, будто это не живые люди, а восковые фигуры артистов из какого-то паноптикума. Осталось только угадать, кто и какую роль играет в сегодняшней пьесе, поставленной величайшим режиссером – судьбой. Весь сценический антураж уже установлен и подготовлен: декорации, свет, музыка... Почему же не начинается представление? Что толкает меня пробираться все дальше и дальше по узкому проходу? Свет становился все ярче, а звуки музыки – все громче и ритмичнее, постепенно переходя в парадный марш...

И вдруг я как вкопанный остановился у купе, в котором ехало целое семейство: дедушка с бабушкой, папа с мамой и мальчик лет шести-семи. Взрослые члены семьи, как и прочие пассажиры, встреченные ранее, не проявили к моей личности ни малейшего интереса. Для них я попросту не существовал. Но мальчик улыбнулся мне и с любопытством ткнул пальцем в мой узелок. Честно говоря, сам я об узелке, полученном совсем недавно от Ионы-Джоны, совершенно забыл, хотя и не выпускал его из рук ни на минуту. Еще не понимая зачем, я протянул мальчику этот сцепленный за четыре конца темно-зеленый платок с мелкими желтыми цветочками. Малыш вцепился в него проворными ручонками и, положив на голые колени, попытался без промедления развязать. Поначалу узлы не

поддавались, и он принялся помогать себе зубами. Детский азарт, с которым он делал это, передался и мне – я уже не мог оторвать глаз от его пухлых пальчиков. Вспомнилось: вот так же мой взгляд был прикован к жестяной консервной банке с маленькой дырочкой посередине, которую с силой засовывали в ямку, наполненную водой. Секундой ранее в воду бросали кусочек вонючего карбида, который сразу начинал шипеть и обрастать сердитыми пузырьками. Вот тут требовалось ловко повернуть пустую консервную банку дырочкой вверх и ногой крепко вдавить в ямку. Самый рискованный из мальчишек подносил к дырочке зажженную спичку и... ба-бах! Взрыв подбрасывал банку высоко в воздух. Грязь клочьями разлеталась во все стороны, и, если бы храбрец не исхитрился вовремя отпрыгнуть, мало кто смог бы ему позавидовать. Опасная игра, но именно опасность и делала ее такой привлекательной...

На сей раз взрыв не прогремел, и из развязанного платка ничего не вылетело. Но вагон резко тронулся с места, и я почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног... Звуки парадного марша разорвали замкнутое пространство и рассыпались медными брызгами труб, тромбонов, флейт, бубнов...

Я обнаружил себя в Бельцах, на станции Западная под большими вокзальными часами, которые никогда не показывали точное время – или на пятнадцать минут спешили, или на пятнадцать минут отставали. Эти вокзальные часы могли бы служить символом жизненного уклада моих земляков, которые вечно куда-то торопились — и вечно не поспевали...

Мои размышления прервал певучий голосок:

– Вилкам! Так, кажется, говорят у вас в Америке?

Я обернулся на голос. Да, это был Илия-пророк. Бельцкий нищий нарисовался в пространстве, как тот волшебник, старик Хоттабыч из моей детской книжки. На первый взгляд, он мало изменился – разве что борода стала пожиже, а кончик ее уже не взмывал с горделивым вызовом к небу как когда-то. Короткой паузы между его «Вилкам!» и пришедшим ко мне осознанием происходящего оказалось достаточным, чтобы заметить: время имеет власть и над ним, вечным странником Илией-пророком.

– Говорят, ты там теперь важная птица, а? – спросил он, прищурив один глаз.

Я уже понимал, откуда ветер дует. Но Илия-пророк и не делал из этого секрета.

– Да-да, мой дружок из Верхнего города рассказал о тебе... Пошли, все уже ждут. Ты приехал точно к началу...

Как в старые добрые времена, он задрал голову и смачно почесал кадык мизинцем.

– Тебе будет что посмотреть и что послушать... А может, и что рассказать самому.

Город бурлил...

В центре, прямо напротив Собора Святого Николая со стоящей в стороне высокой колокольной, располагалось новое четырехэтажное здание – Дом Советов, занимавший целый квартал и своей неуклюжей помпезностью вызывавший у жителей и безмерное уважение, и затаенный ужас – те самые чувства, которые строгий начальник всегда вызывает у подчиненных. Там, в этом здании, заседали хозяева города – «медные чушки», как их называли.

Увидеть хозяев города всех вместе можно было дважды в году – на парадах в годовщину Октябрьской революции и Первого мая, в День международной солидарности трудящихся. Они выстраивались в ряд на празднично украшенной трибуне, специально установленной рядом с памятником Ленину, и помахивали руками марширующим перед ними колоннам школьников, рабочих и трудящейся интеллигенции.

Флаги, цветы, воздушные шары, портреты, лозунги и транспаранты, шум, гам – ура-а-а!

Праздничные демонстрации происходили на центральной площади, которая своей асфальтированной поверхностью просторно раскинулась между собором и Домом Советов. Вероятно, начальству не с руки было смотреть на толстые желтые соборные стены и слушать «отравленные звуки», каждое утро и каждый вечер разносившиеся по городу. Эти звуки морочили людям головы, пробуждали в них отсталые представления, сбивали советских граждан с правильного пути... Так, по крайней мере, полагали обитатели Дома Советов.

Для начала у колоколов срезали языки. Однако это показалось

недостаточным, и в Доме Советов решили колокольню снести – чтобы и следа от нее не осталось. Но этот план еще не успели осуществить, как пришел апрель и город легко вздохнул после затянувшейся влажной зимы, зазеленел, покрылся пятнами цветов. Деревья с выбеленными известью стволами, как невесты, стояли в городском парке, подставляя ветви для налетевшего воронья.

Особое оживление можно было наблюдать в еврейских домах — в них мыли полы, белили стены изнутри и снаружи, двигали мебель, проветривали постельное белье, выбивали специальными хлопушками застоявшуюся пыль из ковров. Из шкафов и комодов в нос шибал нафталиновый дух – снежно-белые кристаллы дробили и рассыпали среди зимней одежды или зашивали в марлевые мешочки и подцепляли к вешалкам. Нафталин будет там благоухать в течение лета, до первых холодов.

Подлинной причиной всей этой, как ее называли, «предмайской уборки» являлся на самом деле совсем не Первомай, а Пейсах, выпадавший, как правило, на апрель – за одну-две недели до государственного праздника пролетарской солидарности. Вслед за Пейсахом наступала вскоре и православная Пасха.

Именно в такие предпасхальные дни еврейские растеряхи переживали немало сладостных мгновений – не столько от самой уборки, сколько от того, что удавалось в ходе нее обнаружить. Например? Тут имеет смысл вспомнить историю, приключившуюся как-то с Брайной Худой. Про нее говорили: если в мире возьмутся истреблять всех хозяек, она, бедняжка, падет невинной жертвой.

Ее двенадцатилетняя дочка, убирая в доме и отодвинув от стены диван, чтобы подмести под ним (в последний раз это делалось ровно год назад), вдруг увидела в углу некий странный предмет: круглый, обросший желто-зеленым пухом, немного приплюснутый, размером с папину меховую шапку... Девочка перепугалась и с ревом выбежала на улицу. А мамы ее в это время дома не было – она ушла к двоюродной сестре, жившей неподалеку. Соседки, побросав все дела, сбегались посмотреть, что там у Брайны Худой стряслось. Они окружили неопознанный объект и не знали, как им поступить.

Одна сказала: «А может, вымести веником – да и всё?»

Вторая засомневалась: «А вдруг это живая зверюга?»

Третья возразила: «Живая зверюга подавала бы признаки жизни!»

Но вторая ее оборвала: «Так может, уже сдохла...»

«Если б сдохла, воняла бы, – стояла на своем третья соседка, тут же выдвинувшая новую идею: – Нужно за участковым послать, пусть составит протокол!..»

И послали бы они за участковым милиционером, старшиной Ротару, если бы в этот момент не раздался писклявый голосок хоззяйки:

– Господи, что опять случилось?!

Растолкав соседок, она пробилась к притаившейся в углу диковине. Несколько мгновений Брайна стояла, согнув свое длинное тощее тело едва ли не вдвое и вытянув шею как можно дальше, чтобы ее близорукие глаза смогли разглядеть находку.

Вокруг пушистого желто-зеленого предмета уже вилась огромная муха, и время от времени ее жужжание прерывало наступившую тишину.

Затем прозвучал хлопок – это всплеснула руками Брайна. Она распрямилась, и в доме стало заметно светлее. Ее лицо сияло и светилось как у молодой матери, которая впервые кормит грудью ребенка.

– Нашлась... – раздалось из ее счастливых уст. – Нашлась!..

– Кто? Ну, кто? – соседки буквально сгорали от любопытства.

Но Брайна словно бредила:

– Она как в воду канула! Мне тогда показалось, что я совсем рехнулась: вот она была – и вот ее уж нету...

– Кто? Ну, кто?.. – Я ее из казанка на подоконник выложила, пока мой с работы не пришел... Является он, а мамалыга испарилась...

Соседки схватились за бока. Сама Брайна, для которой собственная «хозяйственность» тайну отнюдь не составляла, тоже покатила со смеху. Только Песя-повариха стояла, спрятав руки под передником как от сглаза. Ни одна складка вокруг ее тонких губ не дрогнула. Уставившись на Брайнино сокровище, она изрекла, по всей видимости, самой себе: «Не нравится мне что-то эта история...»

И тут, не дай бог кому-нибудь такое увидеть, мамалыга подпрыгнула, как будто подброшенная невидимой пружиной, и через открытую форточку вылетела на улицу.

Уже на следующий день в Бельцах можно было услышать, что американцы заслали в Советский Союз миллионы маленьких аппаратов, которые позволяют отслеживать, что происходит в каждом советском доме и о чем в нем говорят. Многие наши соседи утверждали, что Брайнина «мамалыга» – именно из таких вот американских аппаратов. А иначе – как бы она в форточку-то вылетела?

«Тьфу, тьфу, тьфу... Нашим бы врагам такое!»

А город по-прежнему бурлил...

Все стены, столбы, заборы, где имелось хоть немного свободного места, за одну ночь залепили плакатами, в которых коротко и ясно сообщалось: религия – яд для народа! Поп, раввин и мулла, каждый в своем ритуальном одеянии, смотрели с этих плакатов злыми вытаращенными глазищами, а вместо рук из их плеч, как из темных нор, выползали змеи с острыми ядовитыми жалами.

На фабриках и заводах, в учреждениях и школах, больницах и клубах — повсюду проводились собрания и митинги, на которых агитаторы-пропагандисты, штатные и добровольные, четко и внятно разъясняли, что сейчас именно религия представляет собой величайшую опасность для советских людей!

Яд!.. Яд!.. – целыми днями звучало по радио. Яд!.. Яд!.. – несло с экранов в кинозалах. А в один прекрасный день в голубом весеннем небе появился маленький самолетик и высыпал на город тысячи листовок – голубых, розовых, желтых бумажек, которые тут же подхватил ветер и разбросал по всем улицам и переулкам. Эти бумажки падали на крыши, цеплялись за ветки деревьев, попадали в птичьи гнезда, валялись во дворах. На каждой из тысяч листовок можно было прочитать одну-единственную фразу: «Религия – яд для советского человека!»

Все вокруг только и шептались об опасном яде, разлитом по городу. Казалось, даже собаки уже тявкают: Яд!.. Яд!.. Люди теряли аппетит, боялись притронуться к пище – может, и в самом деле отравлена?! Пили только кипяченую воду – все ж таки не так опасно! А в уборных длительное время использовали исключительно листовки, хотя у них имелся и свой недостаток – краска размазывалась...

Уже почти сто лет стояла эта колокольня с крестом на куполе – гордо стояла и чистым серебряным звоном напоминала о себе

горожанам и крестьянам из близлежащих деревень. И прежде чем к ней подступиться, требовалось разъяснить обывателям, насколько важно освободиться от этого религиозного символа, а уж затем, когда в народе сформируется определенное мнение, монолитное, как гранитный памятник Владимиру Ильичу Ленину, можно будет приступить к реализации принятого решения.

И такое мнение в течение недели сформировалось. Оно выплеснулось на центральную площадь – между собором и Домом Советов – песнями, танцами и веселыми попойками городской молодежи, собравшейся там, чтобы провести собственную «антипасху» назло отсталым личностям, которые пришли в церковь – приобщиться тела и крови Христовой.

Всю ночь город не спал. Обрывки звуков, доносившиеся из центра, сердили собак, отдавались дребезжанием оконных стекол и пробуждали у жителей, в особенности у евреев, мрачные раздумья: Пейсах справили – из Египта вышли, да тьма египетская не рассеялась.

Было это в субботу утром, за три дня до большого праздника – Первого мая. Возле памятника Ленину несколько рабочих сколачивали трибуну для городских заправил. Вдруг с той стороны, где располагались армейские казармы, послышался какой-то шум. Через несколько минут к собору подъехали два тяжелых танка. С рокотом и лязгом они развернулись на месте, скребя металлическими гусеницами по брусчатке, и остановились, продолжая заполнять воздух клубами едкого дыма.

Издали завидев эти бурые клочковатые облака, нищие, сидевшие на белых мраморных ступенях у входа в собор, вскочили на ноги и бросились бежать, кто насколько мог, прочь с церковного двора.

В столь ранний час недостатка в зеваках, как это ни странно, не наблюдалось. Взглянуть на внезапно понаехавшие танки потянулись и стар и млад. По городу молниеносно пронесся слух: собор окружен целым полком солдат да парой десятков танков – чтобы арестовать попа с попадъей.

Акция по сносу колокольни продолжалась совсем недолго. Всё было продумано и спланировано заранее, как заправская военная операция. Начали с креста. Ловкий парень, один из танкистов, взобрался наверх и обвязал крест стальным тросом. По его свисту – что

означало: готово! – танк, к которому крепился другой конец троса, взревел, прокашлялся смолистым дымом и рванулся вперед...

Все глаза, способные видеть, были в тот момент прикованы к верхушке колокольни. Вероятно в первый раз со дня торжественного водружения на этот купол, крест зашатался, затем наклонился – так кланялись обычно перед ним – и больше уже не выпрямился. Казалось, крест не падает, а парит в воздухе, поддерживаемый взглядами людей, которые пришли проводить его в последний путь — с неба на землю.

В первом ряду толпы раздался истеричный женский крик: «Господи, помилуй!»

А в то же самое время, когда на центральной площади два неповоротливых танка разносили вдребезги соборную колокольню, на другом конце города собрались в синагоге евреи, чтобы прочитать псалмы по случаю Субботы. Из пары десятков синагог, действовавших в городе до войны, теперь оставалась только эта – на Кишиневской улице. На праздники она бывала переполнена – во дворе яблоку негде упасть, но в будние дни, а в последнее время даже по субботам, там можно было встретить только стариков.

Именно сюда в ту субботу, за три дня до Первого мая, подъехал грузовик и из его кабины выпрыгнул участковый милиционер, старшина Ротару. Прежде чем постучать в синагогальные двери, он поправил ремень на гимнастерке и надвинул на брови козырек фуражки.

Евреи, закутанные в талесы, с удивлением взирали на него, не понимая, что этот гой при погонах делает тут в священный для всех сынов Израиля час.

Но старшина Ротару, говоривший по-еврейски не хуже любого еврея с его участка, прямо с порога объяснил им всё своим басовитым голосом:

– Не пугайтесь, отцы, я только синагогу приехал закрыть! – и прежде чем кто-либо успел открыть рот, добавил: – Попрошу организованно покинуть здание и проехать со мной. Транспорт ждет!

«Транспорт» со стариками прибыл на центральную площадь, когда от колокольни осталась лишь груда камней, которую трактор сгребал в огромную кучу.

Появление евреев в ермолках и талесах, с черными корбоч-

ками тфилин на головах и с пустыми мешочками для талесов под мышками, выглядело как некое театрализованное представление. Стояли они к тому же на автомобильной платформе, напоминавшей импровизированную передвижную сцену. Ни дать ни взять – артисты приехали! Толпа так это и восприняла: зазвучали смех, свист, остроты и, наконец, аплодисменты. Город буквально ходил ходуном...

А в самом центре, прислонившись плечом к ленинскому пьедесталу, сидел на столбике от еще не сколоченной трибуны городской дурачок Йоська-Бабай. Он горько плакал, кулаком растирая слезы по своему опухшему, заросшему лицу, и хрипло повторял то по-русски, то по-еврейски: «Нету больше Бога!.. Ни еврейского... Ни гойского... Нету!..»

Наконец наступил красный день календаря – Первое мая. Солнечные лучики поблескивали в счастливых глазах детей и взрослых. Весь город пришел поприветствовать своих начальников, которые выстроились в шеренгу на высокой трибуне, украшенной кумачовыми полотнищами и белыми гирляндами бумажных цветов.

Впереди маршировали духовые оркестры, ведя за собой празднично одетых свободных граждан – колонну за колонной. Казалось, этот ликующий поток так и будет виться и виться по улицам, приближаясь с каждым шагом к светлому будущему всего человечества – коммунизму. Но в самый разгар торжеств, как раз когда с трибуны разнесся призыв: «Да здравствует коммунистическая партия, авангард всех наших побед!» – в воздухе раздался страшный свист. Духовые оркестры оборвали свои бравые марши, стройные колонны пошатнулись, воздушные шары начали лопаться – один за другим...

Всё это продолжалось только мгновение, а может быть даже меньше мгновения – миг, – и на отполированную, блестящую гранитную лысину вождя мирового пролетариата с неба свалилось нечто желто-зеленое, мягкое, пушистое. Свалилось – и сразу же разорвалось на части, разбилось на множество осколков, разлетелось во все концы города. Впоследствии едва ли можно было найти человека, на которого не попали бы частички подозрительного вещества, пятна которого невозможно ни смыть, ни стереть, ни считать. Всем жителям как будто запятнали совесть. И так им теперь предстояло жить.

Женщины клялись всем святым, что это была заплесневевшая Брайнина мамалыга. Но некоторые по-прежнему твердили: «Не иначе – провокация американских империалистов!.. Тьфу, тьфу, тьфу...»

**Роман вышел в издательстве «Книжники», Москва, 2017.
Заказать книгу можно в интернет-магазине: www.knizhniki.ru**

Борис Сандлер, известный еврейский прозаик, родился в 1950 году в молдавском городе Бельцы. Был профессиональным музыкантом, а после окончания Высших литературных курсов при лит. институте им. Горького (Москва, 1981-1983), работал на Молдавском телевидении, где вел программу на идише «На еврейской улице».

В 1992 году Б.Сандлер репатрируется с семьей в Израиль. Работает в Еврейском Университете (Иерусалим); возглавляет издательство «Лейвик-фарлаг» и издает единственный в мире детский журнал «Кинд-ун-кейт».

С 1998 г. по 2016 главный редактор старейшей еврейской (идиш) газеты «Форвертс».

Издав 15 книг прозы и стихов. Книги и отдельные произведения писателя переведены на русский, английский, немецкий, французский, иврит и другие языки. Лауреат ряда престижных премий в Израиле, Канаде и США.

Живет в Нью-Йорке.

Леон МИХЛИН

ИНДИЙСКИЙ ГАМБИТ

Роман

*Деньги повсюду в почете,
без денег любви не найдете.
Будь ты гнуснейшего нрава –
за деньги поют тебе славу.
Нынче всякому ясно:
лишь деньги царят самовластно!
Трон их – кубышка скупого,
и нет ничего им святого.
Пляска кругом хоровая,
а в ней – вся тщета мировая.
И от толпы этой шумной
бежит лишь истинно умный.*

Из поэзии вагантов

*Жадность не порок,
а метод накопления.*

Народная мудрость

ПРОЛОГ

1 июля 199...-го ознаменовалось сильнейшей грозой. Перед самым рассветом капли, сначала мелкие, потом все более крупные, обрушились с неба на нью-йоркскую землю. Сверкали молнии, раскаты грома напоминали пушечные залпы. Сплошные потоки воды заполняли пустоты и выбоины в асфальте площадей, дорог, тротуаров... Через час гроза выдохлась, как обычно бывает в разгар лета. Бесконечные кляксы луж испещрили город. Утром теплый ветер и молодые, задорные солнечные лучи высушивали

лужи, от них поднимались испарения. День обещал быть жарким и влажным.

Ровно в девять утра напротив огромного здания Золотого Банка на Парк авеню остановился черный «Форд». Оознавательные знаки машины говорили о принадлежности к могущественной секретной организации Америки. Если бы не номера, оставленную в неполюженном месте машину в течение пяти минут забрала бы дорожная полиция. Особые номера гарантировали «Форду» безопасность.

Из машины вышли трое мужчин. Первый, постарше, приземистый, с голым ядровидным черепом, следовал впереди разлапистой походкой. За ним высокие крепкие коротко стриженные молодые люди. Все трое были в черных костюмах, белых рубашках и галстуках. Они вошли в здание. Охранники попросили объяснить цель посещения штаб-квартиры самого большого американского банка. Лысый предъявил удостоверение. Охранники инстинктивно вытянулись и вежливо спросили, к кому направляются гости из ФБР.

– Мы должны увидеть мистера Стива Шредингера.

Шредингер возглавлял компьютерный департамент банка. И считался третьим человеком по значимости в иерархии финансово-го учреждения. Один из охранников проводил троицу к лифту.

– Господа, езжайте на пятидесятый этаж. Там работают только его подчиненные. Они укажут нужный кабинет. Собственно, это единственный отдельный кабинет на этаже. Мистер Шредингер уже на работе.

– Мы знаем, – кивнул старший. Охраннику показалось, что он улыбнулся.

На пятидесятом этаже работали многие десятки сотрудников, сидевших каждый в своем «кубике». Через стеклянные стены можно было видеть всех их разом. Специальные агенты направились к кабинету.

Один из молодых людей, наклонившись к лысому, тихо произнес:

– Масса людей работает непосредственно на Шредингера. Джек, представляешь, какая у него зарплата? На черта ему индийские деньги? – Жадность, Джони. За двадцать лет работы в нашем агентстве я повидал еще и не такое. Впрочем, дом, которые пода-рили Шредингеру, удивительно красив. Устоять и не принять такой

дар было бы трудно. Скоро мы узнаем, сколько индусы вложили в его постройку...

В приемной сидели секретари большого босса. Одна из них, молодая привлекательная шатенка, окинула вошедших внимательным профессиональным взглядом. В этот момент она писала электронное письмо Шредингеру, в котором напоминала ему о сегодняшнем ланче с представителем индийской компании в одном из ресторанов и о том, что лимузин заказан на половину первого. Она успела спросить, что хотят мужчины с каменными лицами, направляющие к двери кабинета босса, но ответа не получила – идущий впереди лишь показал ей издали удостоверение, в котором она явственно разглядела три магические буквы – FBI. Дверь за ними закрылась, заставив секретарш в тревоге уставиться друг на друга.

Едва трое незнакомцев незванно-непрошено возникли на пороге, Шредингер почувствовал свинцовую тяжесть в груди. В доли секунды он понял, что произошло. Машинально читал ордер на арест и обыск, слова расплывались, становились мягкими и вязкими, как манхэттенский асфальт в июльский зной.

Он поднялся и вышел из-за стола. Лысый коренастый человек завел его руки за спину и сомнул наручниками. Шредингера вывели из кабинета и повели по коридору к лифту. Он низко опустил голову, чтоб не встречать глазами с подчиненными, теперь уже бывшими. Двое агентов шли слева и справа, как положено по протоколу. Старший остался в кабинете, позвонил по мобильному телефону и сообщил, что к обыску все готово. Ему сообщили, что сотрудники ожидают команды неподалеку и придут через десять минут.

Шредингера подвели к «Форду» и помогли сесть на заднее сиденье. Тяжесть в груди исчезла, теперь его знобило, как при высокой температуре. Он машинально посмотрел на верхушку здания банка. Показалось, что он падает с пятидесятого этажа на подсыхающий после недавней грозы асфальт Парк авеню...

ГЛАВА 1

Офис располагался на четвертом этаже восьмиэтажного здания на 32-й улице между Бродвеем и Пятой авеню. Возведено оно было, как и соседние, приблизительно в один и тот

же промежутки времени, после грянувшей Депрессии и до начала Второй мировой войны. Турист или просто интересующийся обликом города человек выделит эту постройку, но отнюдь не за, скажем, огромные красивые окна, колонны или статуи, украшающие фасад. Нет тут и в помине приметных взору окон и колонн, не говоря о статуях. Удивит скаредность построившего здание, если только озабоченный увиденным гость или житель Манхэттена задастся целью сравнить высящиеся обочь строения.

Объект, о котором веду речь, словно стоит в обнимку с двумя соседними. Только у левого четырнадцать этажей и смотрится привлекательно, правый – чуть ниже, но окна огромные, каждое обрамлено декоративными колоннами, арками и каменными горизонтальными молдингами. В каждом фасаде зданий блока – своя изюминка, неповторимые элементы творчества архитекторов.

Восьмиэтажному же строению не везет, выглядит оно сиротой. Каждый раз, когда его перекупают, новому владельцу не приходит в голову что-то улучшить во внешнем виде. А зачем? Иногда лишь вынужденно производит ремонт или меняет лифт только потому, что довоенный сломался и никто не брался его починить. Новый лифт, самый дешевый из существующих, тоже постоянно ломается и людям приходится, чертыхаясь, подниматься и спускаться по лестницам.

Последняя покупка здания произошла лет десять назад, в середине 80-х. Приобрел его эмигрант из Кореи. Новый хозяин и его супруга маленького роста, с хитрыми глазками и свойственной азиатам неутомимостью в работе. Трудятся, как муравьи, с утра до вечера, для них не существует суббот и воскресений. Их задача – расплатиться с долгами, которые набрали. На покупку они взяли большой заем в корейском банке, а за это банк получил в аренду за смешную цену весь первый этаж. Хозяин ненавидит банк, ибо отдаст ему семьдесят процентов того, что собирает со съемщиков. Двадцать процентов идет городу в качестве налогов. Оставшиеся деньги остаются ему, если ничего не ломается и не портится. Обслуживание помещения производят хозяин и его супруга, нанимающие за мизерную плату для совсем уж непосильных им работ по уборке и сбору мусора своих не слишком удачливых соплеменников или темнокожих.

Они неустанно думают о будущем, грея себя мыслью, что их детям достанется недвижимость, которая через каких-нибудь сорок лет будет стоить в десять раз дороже. Ради такой перспективы можно вкалывать до потери сознания. А реальность требует чинить туалеты, красить стены, менять освещение и выполнять еще кучу разных дел. Хозяева всегда в этом здании, днем и ночью. Съемщикам помещений важно, что часто возникающие проблемы владельцы решают сами и без промедления.

Тем не менее, успешные компании офисы здесь не арендуют. Если их устраивает именно этот район Манхэттена, они находят лучшие условия и соответственно больше платят. Поэтому в основном обосновались тут начинающие корейские фирмы.

Но на всякое правило есть исключения. Огромную комнату на четвертом этаже занимает агентство, занимающееся трудоустройством программистов. Владелец агентства еврей Марк – американец в первом поколении. Его отец, живший до войны в Германии, прошел концлагерь, чудом остался жив, будучи освобожден американскими войсками. Молодым попал в Нью-Йорк. Женился на такой же, как он, эмигрантке из Германии и открыл прачечную, притом в бедном криминальном районе. Заработки не ахти какие, плюс постоянный страх ограбления, однако все вытерпел и поднял на ноги троих сыновей. Они закончили полубесплатные колледжи и смогли пробиться в жизни, унаследовав от отца коммерческие способности.

Марк, заканчивая школу, помогал отцу в прачечной. Он изредка вспоминал этот период жизни, к счастью, не слишком продолжительный. Оживлять в памяти было что. Однажды унылым дождливым вечером он был один в прачечной. Не было смысла в такую погоду ждать клиентов, и подсчитав небольшую, в несколько десятков долларов, выручку и сунув ее в карман куртки, он начал закрывать помещение. И тут вбежали двое черных подростков, тот, кто постарше, размахивал пистолетом. «Выкладывай деньги и живо!» Марк не успел испугаться; отдать заработанные доллары этим ублюдкам было выше его сил, он не думал о безопасности, вообще, ни о чем не думал – пульсировала жилкой в виске лишь одна мысль – он не отдаст деньги ни за что. Он молча покачал головой, за что немедленно получил пулю в промежность. Грабители пошарили

в пустой кассе и покинули прачечную, оставив валяться на полу истекающего кровью Марка.

Тогда ему дико повезло. Пуля прошла в дюйме от органа, который позволил ему в будущем иметь троих детей. Лечащий доктор назидательно сказал ему: «Деньги – не самое главное в жизни. Я думаю, сейчас ты понял это».

Но Марк после этого случая проникся к зеленым бумажкам еще большим уважением.

Он – младший из братьев, природа наделила его недюжинными способностями, благодаря которым Марк опередил братьев в движении к цели, называвшейся просто и понятно – стать богатым.

Первоначальное накопление капитала у всех происходит по-разному. Отличительной чертой Марка была рачительность, проще сказать, жадность, притом по отношению к себе и нуждам семьи. Тратить на себя большие деньги не входило в его планы. Если он что-то приобретал, то исключительно под давлением жены. Его вполне устраивала старая, доставшаяся от родителей квартира. Жена настояла на покупке большого дома в Лонг-Айленде. Окружавшие его вещи и предметы, ветшая, служили долго, в них словно вселялся рачительный дух владельца. Скажем, двадцатилетний «Форд» не думал умирать, напротив, ездил и, к удивлению механиков, не ломался. Жена заставила купить новый «Мерседес». Если бы не жена, Марк не покупал бы никакой новой одежды. Его полностью устраивали два старомодных двубортных костюма. Он принципиально не ходил на ланч в манхэттенские забегаловки, не говоря о приличных кафе и ресторанах, и целый день обычно питался тремя яблоками, которые всовывала жена ему в кожаный портфель, подаренный ею на пятилетие совместной жизни. И сейчас, когда трое отпрысков уже закончили колледжи, портфель обтрепался и компрометировал солидные денежные суммы, которые носил в нем Марк. Его это ничуть не смущало.

Благодаря жесткой диете, на которую ради экономии посадил себя, внешне он не менялся, за исключением того, что жир предательски накапливался в области живота и бедер, так что фигура его все больше становилась ромбовидной. Худое вытянутое лицо отнюдь не украшали большие растопыренные уши, Марк хорошо знал об этом недостатке, однако всегда стригся очень коротко, не щадя черной курчавящейся шевелюры, прятанной в своих зарослях ушей.

Нос его был остр, как клюв, впечатлял, доминируя в лице. Беседуя с людьми, Марк избегал поворачивать голову в сторону, стараясь таким образом скрыть размер носа.

Все остальное в Марке было привлекательно: и его почти двухметровый рост, и пронзительные синие глаза, и длинные мускулистые руки. Его выразительный рот с сочными сексапильными губами нравился женщинам. Марку это льстило, хотя он не изменял довольно невзрачной, не сказать больше, жене, или, во всяком случае, делал это в строжайшей тайне, со всеми предосторожностями и с особой конспирацией, так как боялся свою половину. В случае развода она могла отобрать половину накопленных денег.

...Окна офиса выходят на 32-ю улицу. Марк сидит спиной к улице, а сотрудники лицом к нему. Всего в офисе шесть человек. На столах компьютеры. Они устарели, но босс не хочет тратить денег на новое оборудование. Сотрудники просят переносные компьютеры, чтоб работать из дома вечерами. Но Марк не намерен покупать: «Если хотят, пусть сами приобретают». Он понимает, что деньги, истраченные на переносные компьютеры, могут легко окупиться, но не в силах победить жадность. Какие компьютеры, если он, экономя на уборщице, сам пылесосит пол офиса раз в две недели...

В такие дни он приезжает на работу на час раньше. Встает в пять утра и едет в офис из Лонг-Айленда в электричке, поездка занимает больше часа. В вагоне мало попутчиков, и Марк полулежа-полусидя засыпает. Просыпается, как по звонку будильника, за пять минут до конечной остановки на Penn Station. И вот ромбовидная фигура уже немолодого зажиточного американца движется в утреннюю рань через три больших блока Манхэттена убирать помещение. Он экономит на этом пятьдесят долларов. Он идет по улицам в любую погоду, в ливень и снегопад, иногда заболевает, кашляет и чихает, но все равно упрямо так поступает. Ибо деньги, особенно сэкономленные, не истраченные – его музыка, его Девятая симфония, Бетховен, Моцарт, Шопен, Гершвин, его принцип жизни.

Марк войдет в офис и попытается включить пылесос. Но пылесос давно пережил свои возможности и ресурсы, он очень старый, мотор барахлит, как сердце семидесятилетнего инфарктника, его давно никто не чистил и ему невыносимо тяжело всасывать

мусор. Марк будет чистить ковер, который давно одревенел от грязи. Едва пылесос натужно заработает, десятки тараканов разбегутся кто куда. Марк будет смотреть на них и вспоминать прачечную отца, где тараканы были везде. Они купались вместе с бельем в стиральных машинах и сохли вместе с чистыми выстиранными простынями, пододеяльниками, полотенцами, рубашками и брюками. Перед тем как утюжить белье, помогавший отцу Марк своими длинными пальцами аккуратно снимал тараканов с поверхности постиранного.

Он невольно улыбнется прихлынувшим воспоминаниям и зло подумает о хозяине-корейце, который не может справиться с насекомыми. Но потом подумает о дешевом ренте и успокоится.

Бизнес Марка заключается в поиске программистов для финансовых компаний. За каждое удачное устройство он получает однократный чек размером в двадцать процентов от годовой зарплаты устроенного, а это не меньше десяти, а то и пятнадцати тысяч. Если программисту находит работу один из его подчиненных, чек делится пополам.

Все начинается с нахождения вакансий по своим каналам, через знакомых сотрудников или менеджеров компаний. Затем – поиск подходящего кандидата с соответствующими знаниями.

С первым этапом особых проблем нет – связи у Марка надежные, знает всех и вся, тем более, компаний много и требуются специалисты – на рынке бум. Сложней со вторым этапом: где взять знающего кандидата? С каждым годом компании становятся требовательнее, кроме того, хорошие программисты большей частью уже трудоустроены. Гениальность Марка в том, что он способен влезть человеку в душу и уговорить сменить место работы. За это коллеги уважают босса, ибо обделены таким даром: найдя подходящую кандидатуру, не могут сдвинуться с места и вынужденно передают ее Марку, естественно, теряя в зарплате.

Одновременно сотрудники ненавидят босса. Летом в офис приходят работать его дети, когда у них каникулы. Вечером Марк внаглую ворует из компьютеров сотрудников информацию о кандидатах и отдает своим детям. Тут же созванивается с найденным программистом и ведет с ним переговоры, в которых непревзойденный

мастак. С утра сделка принадлежит одному из детей Марка. Никто ничего не может доказать...

Кроме того, босс создал схему, согласно которой никто из сотрудников не может перейти в другое, более достойное агентство. Марк установил железное правило: если человек уходит, он теряет оплату за тех, кого устроил. Деньги ведь приходят не сразу, а спустя шесть-восемь месяцев после удачной сделки. Получается, что в течение полугода и более подчиненный не может уйти, ожидая оплаты. За это время он устраивает следующего программиста и опять ждет. Цепочка не имеет конца...

Сотрудники платят боссу весьма небезобидными шутками и розыгрышами, граничащими с издевательством. Больше всего их бесит жадность богача на грани патологии. Сложилась традиция: разыграть 25-центовую монетку в день выхода на работу нового сотрудника, взятого временно или с испытательным сроком. Такие появляются в офисе часто. Кто-то из старожилов кладет монетку так, что она попадает в поле зрения Марка. Все ждут, не отрываясь от экранов компьютеров, боковым зрением следя за реакцией Марка. Через некоторое время он начинает расхаживать по офису, посматривая на монетку. Позже, убедившись в том, что коллеги прикованы к экранам, мгновенно и, как ему кажется, незаметно поднимает кватер. Окружающие беззвучно корчатся от смеха. И больше всех скрыто веселится заранее предупрежденный, только что приступивший к работе сотрудник.

Пять сотрудников агентства, Алан, Норман, Хелен, Джо и Стюарт, – пальцы руки-щупальца Марка, которой он беззастенчиво залезает в кошельки огромных финансовых компаний, давно уразумев банальную истину: у этих компаний бессчетные миллионы, для них пятнадцать или больше тысяч – пустяк. Пальцы Марка длинные, тонкие, гибкие, как у музыканта. Только, повторю, его музыка – это деньги. Впервые услышав знаменитую песню популярной группы АВВА, он вздернул бровь и подумал: «Это про меня». Выучил один куплет и часто напевал себе под нос:

*Money, money, money
Must be funny
In the rich man's world*

*Money, money, money
Always sunny
In the rich man's world
Aha-ahaaa
All the things I could do
If I had a little money
It's a rich man's world*

*Деньги, деньги, деньги
Забавляют
В мире богачей
Деньги, деньги, деньги...
Все сияет
В мире богачей.
Аха, аха!
Что хочу – все смогу,
Если есть деньжата! Знаю –
Мир для богачей!*

ГЛАВА 2

Глядя на разношерстную кампанию, каждое утро собиравшуюся под крылом Марка в его офисе, и зная, кто из них чем дышит и какой характер, наклонности, явные и тайные страсти имеет, трудно было представить, что они могут работать вместе, сообщая – слишком разные эти пятеро. Но они и не работали сообща, а каждый за себя, выискивая вакансии и заполняя их своими протеже-программистами, которых с каждым месяцем требовалось все больше. Контора Марка чутко улавливала тенденцию: растущий спрос рождал предложения.

Алан попал в агентство не сразу. Рекламные объявления в то время еще не получили широкое распространение в Сети, агенты предлагали услуги и узнавали о своих подопечных через газеты. Марк позвонил по одному такому объявлению и наткнулся на Алана. Тот рассказал о своем первом опыте работы на ведущую финан-

совую компанию в районе Уолл-стрит, объяснил, что сейчас *вольный художник*, но не стал объяснять, почему. Марка полученные сведения нисколько не вдохновили, и он позабыл об Алане, показавшемся по голосу слишком молодым, в своих словах не особо умным и, похоже, никому не нужным.

Он был немного удивлен, получив письмо от Алана, в котором тот снова настойчиво предлагал себя в качестве агента. Марк решил поговорить с парнем с глазу на глаз: что-то внутри подсказывало сделать это. Алан оказался представительным, почти с Марка ростом, белобрысым, с большими голубыми глазами молодым человеком. Он постоянно улыбался, выдавая тем самым отсутствие большого количества извилин.. Начал разговор с сомнительного, вовсе не в свою пользу пассажа, однако это не только не насторожило босса, а, напротив, сыграло в пользу соискателя должности, ибо такие люди, как Алан, для Марка были находкой.

– Я безработный, покуда никуда не устроился. Меня уволили из банка вовсе не за мои знания, вернее, их отсутствие, или медленную скорость написания программ.

– А за что же?

– В банк пришел главным менеджером мой отец. Ранее, года за два до своего прихода, он устроил меня сюда. Требовалось избежать конфликта интересов, или как там это называется, когда родитель и отпрыск в одной лавочке. Ну, вы понимаете... Папаша извинился и обещал устроить меня в другое место. Однако не выполняет обещание, на этой почве у нас возник конфликт, да и моя гордость не позволяет напоминать, вроде как вымаливаю подачку.

Марк почувствовал учащенное биение сердца, как у рыбака, видящего притапливаемый поплавок. Главное, чтобы не сорвалась поклевка. Отец – главный менеджер... Это же прекрасно... Марк дождался, когда Алан закончит, и начал издали....

Через час гость подписал стандартный контракт. Потом была встреча Марка, Алана и его отца. Марк сразу почувствовал, что отец переживает за сына, которому хочет помочь, однако что-то не срывается. Теперь – срастется.

В очередной раз нюх на деньги не подвел босса. Отец ради сына брал в банк рекомендованных Аланом программистов, и всем было хорошо, ну, прежде всего, Марку, да и Алан был не в накладе. Прав-

да, так продолжалось сравнительно недолго – отец неожиданно умер, притом на любовнице, что тщательно скрывалось. После его кончины Алан устраивал на работу уже куда меньшее количество компьютерщиков. Иногда, скорее из жалости, ему звонили из отцовского банка и просили человека. Тем не менее, Марк не выгонял Алана, памятуя о былом жирном наваре.

Норман был тем, с кого, собственно, все началось, кто объяснил Марку суть бизнеса. Более того, в самом начале они были партнерами. Но позже Марк захватил бразды правления, постепенно превратив Нормана в обычного, пусть и весьма толкового, агента. Тот почему-то не уходил и ничего дополнительно не просил у бывшего партнера, а ныне босса.

Возможно, отгадка крылась в том, что природа сотворила честного малого достаточно трусливым, он органически боялся Марка. Боязнь стала комплексом и вылилась в едва ли не рабскую зависимость: Норман не мыслил себя вне стен агентства, вне этой самой зависимости и порабощенности.

Голова его напоминала ядро без единого кустика волос. Сидела она на очень короткой шее, такой короткой, что, казалось, вовсе отсутствовала. Картину дополняли узкие плечи и надутый живот. Норману было немногим за пятьдесят, он, как и в молодости, стеснялся своей внешности, ибо облысел и обрюзг еще в годы, последовавшие за студенчеством. Немало этому способствовало неустанное учение. В университетских занятиях он забывал о своей непривлекательности, утопая в сладости познания нового. Он много читал, посещал балет и оперу, обожая Нью-Йорк за щедро предоставляемые возможности. Изучая без особой радости экономику и финансы, Норман мечтал о занятиях искусством. У него был такой же друг-интроверт, с которым они мечтали создать свой театр, ни больше ни меньше. Ночами обсуждали современные постановки Шекспира и Чехова, сравнивали их с прежними, о которых читали в соответствующих книгах по театроведению.

Женщины оставались для него terra incognita, они игнорировали его, иногда, ему казалось, презрительно улыбались и даже издевались. Поначалу его это задевало, потом привык и платил им

таким же нарочитым невниманием, в итоге обе стороны оказывались в расчете.

Неожиданно одна не очень красивая особа, постарше Нормана, обратила на него внимание. Он все забыл в порыве первой любви. Быстро женился, на свет появилась дочка. Норман смотрел выпуклыми наивными глазами на ребенка и внутри становилось тепло: «это и есть счастье».

Жена требовала денег и покупку жилья. Мечты о театре пришлось оставить. Норман нашел рекрутерский бизнес, понял, как заработать немалые деньги, и, познакомившись с Марком, поделился своими соображениями. На создание своего агентства и самостоятельное руководство не хватило решимости. Марк постепенно превратил его в послушного раба. Теперь у Нормана была квартира и долг банку. Жена не работала, посвятив себя воспитанию ребенка, дом он тянул один.

Марк внушил ему, что деньги Норман может заработать только в его агентстве. Это утверждение внушил и его жене, с которой несколько раз встретился. Жена Нормана оказалась такой же податливой на уговоры, как и ее инертный супруг.

Один раз его честность вступила в конфликт с реальностью, а реальность оказалась неприглядной – вечером вернувшись в офис за забытым телефоном кандидата на трудоустройство, он поймал босса воровующим из его, Нормана, компьютера важную информацию. Он остолбенел и выкрикнул:

– Марк, это подло! Я не буду больше с тобой работать!

На что Марк совершенно спокойно и даже ласково ответил:

– Брось, дружище, куда ты от меня не уйдешь.

Норман хлопнул дверью. По дороге в метро он немного остыл. Рассказал жене о случившемся. Та скривила гримасу, будто съела кислое:

– Выбрось из головы эти глупости. Нам надо оплачивать мортгидж. Завтра поедешь в офис и никаких разговоров...

Норман не стал возражать, отстаивать свою правоту, повышать голос. Скандальить он органически не умел. Дождавшись, когда жена уйдет спать, включил в кабинете видеомagniтофон и поставил порнофильм. Так он поступал часто, особенно когда падало настроение. Однажды жена засекла за этим занятием и лишь презрительно

хмыкнула, закрыв изнутри дверь спальни. Пришлось провести ночь на диване в гостиной...

Так пробегали дни, месяцы, годы. В пятницу он возвращался из Манхэттена домой, ненавидя грядущие выходные.

Хелен была единственной женщиной, официально числящейся в штате агентства. Имелось, впрочем, много других, косвенно участвовавших в бизнесе Марка, начиная с клерков больших компаний, ведавших набором программистов, и заканчивая менеджерами, за которыми оставалось последнее слово по поводу людей, представленных агентством. Представительницы так называемого слабого пола были разные, красивые и не слишком, даже уродливые, замужние и одинокие, доступные и не склонные к левым вариантам; заводить с ними шашни Марк не хотел: во-первых, с ужасом представлял, что об этом узнает жена, а во-вторых, интимные связи его попросту не интересовали и не волновали. Он и свою жену не любил и только боялся себе в этом признаться. Верный себе, женщин он рассматривал лишь как инструмент для извлечения прибыли.

Хелен знала Марка с той поры, когда они, дети весьма небогатых родителей, жили рядом и ходили в одну школу. Ей оставался год до пятидесяти. Ее окатистая девичья фигура почти не изменилась, несмотря на то, что родила троих детей: ноги были стройны, грудь высока, талия подчеркивала линию бедер, ягодички выглядели аппетитно-упругими. Такие фигуры нравятся подавляющему большинству мужчин и носят название *песочные часы*. Лишь лицо постарело, вобрав морщинки там и здесь, но глаза-бусинки, как у росомахи, светились как-то удивительно, а каштановые, разметанные по плечам волосы так и просились, чтобы их гладили и ласкали.

Хелен была бесспорным украшением агентства. При этом пластический хирург ни разу не коснулся ее щек, губ или шеи.

Тридцать лет назад Марк был в нее влюблен и не без взаимности. Но неистовое, перекрывающее все иные эмоции желание выбраться из бедности и разбогатеть заставило его прекратить отношения. Он женился на девушке, у родителей которой был дом и участок в районе Хэмптона, одного из самых дорогих и престижных районов Америки. При этом Марк и Хелен остались друзьями.

Кроме своей красоты Хелен унаследовала от родителей доброту и порядочность. И мужчины, встреченные ею в жизни, пользовались этим. Три брака и трое детей в каждом оборачивались разводами не по вине Хелен – просто не везло с мужиками. Это случалось приблизительно каждое десятилетие. Мужья куда-то девались, увиливали от алиментов – приходилось разыскивать через суды. Хелен, по сути, в одиночку воспитывать детей.

Марк всячески помогал ей, знакомил с менеджерами банков, финансовых корпораций и иных организаций, подсовывал резюме соискателей на места программистов. Но делая это, все равно думал о собственном бизнесе и обогащении.

Работая в агентстве, Хелен научилась разбираться в рекрутерских тонкостях и хитроspлетениях. Однако потребности компаний менялись, программное обеспечение развивалось, одновременно усложняясь, Хелен не успевала уследить за всем, ее кандидатуры не всегда попадали туда, куда метили – в итоге она теряла деньги, так необходимые семье. Коллеги любили ее и помогали, как могли. Больше всех старался Норман. Он подсаживался к ней, знакомил с новым компьютерным *языком*, только что вышедшим на рынок, или, скажем, объяснял новую базу данных, используемую с недавних пор многими фирмами. Рассказывал доходчиво, медленно, пока не убеждался, что Хелен разобралась в вопросе. Она благодарила его и улыбалась. Ее глаза-бусинки светились благодарностью. Норман возвращался на свое место в возбуждении. У него никогда не было такой красивой женщины, которая бы внимала каждому его слову и дарила улыбку.

Стюарт был любимчиком агентства. Он покорял всех лучезарной улыбкой, воспитанностью и чувством юмора. Но Марк смотрел на него без удовольствия, несмотря на то, что с первых дней работы Стюарт начал приносить деньги. Босс никогда бы не признался, что его одолевает присущее подавляющему большинству чувство зависти. Трудно сказать, какой она была – черной, когда желаешь зла тому, кто добился чего-то большего, чем ты, хотя во всем остальном у человека все не так гладко; белой, когда невольно сравниваешь себя с другим и не просто признаешь его успехи, но и прокручиваешь в мозгу негативную мысль: «А чем я хуже...» А еще бывает

серая зависть – некое пограничное чувство, которое не всегда можно распознать: иногда становится неприятно и некомфортно в присутствии другого, настроение падает, появляются уныние и апатия, недовольство жизнью, даже легкая депрессия. Если постараться распознать причину таких душевных изменений, можно выявить, что это реакция на рассказы о чужих успехах, на некое хвастовство или несдержанность знакомых. Неумение радоваться достижениям других – довольно скверный фактор.

Все началось с появления Стюарта.

Летом Марк любил приглашать студентов поработать в агентстве. Ему это ничего не стоило. Студенты жадно искали клиентов, сидя порой вдвоем или втроем за одним столом. Практиканты, как правило, обучались компьютерной профессии и хорошо разбирались в специальной терминологии. Они с увлечением капали в стопках старых и новых резюме, неумоимо обзванивали программистов и пытались уговорить потенциальных кандидатов поменять место работы. Если кто-то из обзваниваемых соглашался, студент передавал телефон Марку или одному из штатных работников. В случае успешного трудоустройства студент получал двадцать пять процентов от чека, присланного компанией через несколько месяцев.

Сын Марка Джозеф пару раз рассказывал отцу про университетского друга, с которым они живут второй год в одной комнате университетского кампуса. По его словам, умный парень, моментально все схватывающий.

– Пригласи его к нам, – предложил Марк.

Момент появления практиканта совпал с особым вниманием босса к одному из самых больших в стране Фишер-банку. Сюда перешла работать старая знакомая Марка. В конце июня она прислала по факсу сообщение об открывшейся позиции, весьма лакомой – нанятому программисту банк готов платить сто сорок тысяч годовых. Шикарная, невиданная для середины 90-х зарплата. При этом агентству могли перепасть двадцать пять процентов комиссионных.

– Марк, быстро найди нужного человека, и банк готов будет нанять через тебя еще нескольких программистов, – сказала по телефону его знакомая.

Босс едва не запрыгал на месте от возбуждения – деньги сами

текли в карман и немалые. Получив срочное задание, все беспрерывно обзванивали возможные кандидатуры, но пока безрезультатно – нужен был ас своего дела, а таковой не находился. Стюарт подошел к боссу.

– Дайте, пожалуйста, объявление в «Нью-Йорк таймс» за мой счет. Я оплачу его, когда устрою программиста, из своих коммиссионных. Сейчас с деньгами туго...

Марк был осведомлен о финансовом положении Стюарта от сына. Его друг после занятий подрабатывал в студенческой столовой, мыл грязную посуду. Искал и находил другие источники дохода и даже умудрялся посылать заработанные крохи матери, жившей с двумя младшими братьями Стюарта. Отец давно бросил семью, спился и умер. Эти сведения, почерпнутые от сына, по идее должны были расположить Марка к новичку, однако выходило наоборот. Почему-то доброе, открытое лицо Стюарта вызывало неприятие. Он не хотел анализировать причину, ибо не знал ее – все шло на подсознательном уровне.

Босс покачал головой и отказал, хотя тут же поймал себя на мысли, что другу сына мог бы пойти навстречу.

На следующий день Стюарт подошел к столу Марка и положил перед ним пятьдесят долларов. Тот удивленно поднял глаза:

– А ты упрямый парень. Ну что ж, хочешь потерять деньги, вальяй. Может, это поможет понять, что наш бизнес не из простых...

В газете в разделе Classifieds появилось короткое объявление. А еще через пару дней Стюарт положил на стол босса три резюме. Марк со скептической улыбкой познакомился с текстами. Отбросил два. Одно протянул Стюарту:

– Позвони ему, потом соедини со мной. Марк разговаривал с подателем резюме долго, не проявляя никаких эмоций. Наконец, положил трубку. Молча еще раз прочитал резюме.

– Стюарт, какую зарплату он просит?

– Говорит, что меньше чем на сто восемьдесят тысяч не пойдет.

– Забудь о нем. Никто таких сумасшедших денег ему не даст.

– Марк, пожалуйста, устройте ему интервью. Может, согласится на меньшую зарплату.

– А если нет? Ты хочешь, чтобы я потерял лицо у Фишер-банка, еще не начав с ним работать?

Стюарт опустил голову. Уткнулся в экран компьютера. Марк долго смотрел на резюме. Потом набрал телефон знакомой из банка.

– Привет, Барбара, как дела? Я тоже в порядке. У меня отличный кандидат, который полностью вам подходит, но он хочет сто восемьдесят тысяч... Хорошо, я подожду...

Марк положил трубку.

– Стюарт, мое дело было попросить. Но я глубоко сомневаюсь. Парень пожал плечами, ответная улыбка получилась вымученной.

Через двадцать минут позвонила знакомая Марка.

– Фишер готов платить сто шестьдесят, если он полностью соответствует его требованиям, – сообщил Марк Стюарту. – Позвони ему и сообщи. Больше Фишера ему никто не заплатит.

Разговор у Стюарта вышел короткий.

– Он уперся, либо сто восемьдесят, либо он не идет на интервью.

Марк хмыкнул.

– Он понимает, с кем имеет дело?

В нетерпении встал, прошелся вдоль столов, уловив немые взгляды сотрудников. Потом взял трубку.

– Барбара, попытайся уговорить менеджера повстречаться с этим парнем. Он не соглашается идти на меньшие деньги. Да, тот еще тип... Но, может, действительно супер-дупер, кого вы ищете. Пожалуйста, сделай это ради меня. Я рискую репутацией своей и агентства, но интуиция подсказывает – игра стоит свеч. Пожалуйста, сделай ради меня..., – повторил.

Никто прежде не видел босса в роли просителя. Никто прежде не видел таких глаз хозяина, одновременно затравленных и полных упрямой злости и уверенности

Барбара позвонила на завтра. Интервью было назначено на следующий день в 11 утра. Менеджеру Фишер-банка, очевидно, не терпелось увидеть столь уверенного и даже наглого в своем требовании программиста. Стюарт сиял – это была первая большая удача. Марк же подсчитывал барыш в случае успеха. Открывалась замечательная перспектива плотно сотрудничать с крупнейшим банком. Он был уверен, что Фишер возьмет еще как минимум пять программистов. «Почти двести тысяч долларов! Только бы не со-

рвалось... Было бы здорово, если после колледжа Стюарт останется у меня работать»...

...Ровно в одиннадцать пятнадцать раздался звонок Барбары. Марк по ходу разговора краснел и покрывался обильным потом. Кондиционер в офисе работал на удивление исправно, вполне справлялся с сильной ньюйоркской жарой, так что потел босс по иной причине. Бросив в сердцах трубку, он буквально вывернулся на Стюарта.

– Твой е..ный гений пришел в шортах и дешевой белой майке. Ты говорил ему о форме одежды?! Он что, решил поиздеваться над солидными людьми, говнюк!

Стюарт подавленно молчал, а Марк разъяренно бегал из угла в угол. Прошел час. Марк, немного успокоившись, сидел, обхватив голову руками, и тупо смотрел в окно. Раздался звонок. Марк был уверен, что это Барбара. Он медленно поднял трубку. Работники агентства замерли.

Да, это была Барбара. Физиономия Марка начала меняться. Он снова краснел и покрывался потом, но уже по иному, куда более отрадному поводу. Разговор длился не более полминуты. Босс встал, принял позу полководца, победившего в сражении, торжественно поднял руку и прочеканил:

– Фишер-банк взял на работу кандидата, найденного Стюартом, и положил ему сто восемьдесят тысяч долларов в качестве годовой зарплаты. Фишер-банк берет его с целью создания группы программистов, которую он возглавит. Они хотят сформировать такую группу как можно скорей.

Марк помолчал. Внимательно посмотрел на светящегося гордостью Стюарта.

– Ты, парень, молодец. Несмотря ни на что, ты был уверен в успехе. Это, не скрою, злило меня, и сейчас я считаю должным перед тобой извиниться.

Все заплодировали. Никто не мог представить такого выступления хозяина.

Джо является самым необычным сотрудником, если принять во внимание определенные факторы.

Он позвонил Марку пару лет назад, тот был на второй линии и

попросил номер звонившего, чтобы связаться с ним, когда освободится. Незнакомец, назвавшийся Джо, не дал номера и сказал, что перезвонит позже сам. Марк пожал плечами и забыл о нем.

Джо перезвонил через неделю:

– Послушай, парень, у меня было такое же агентство, я продал его, но связи остались. Нам есть смысл поговорить.

Развязность его не понравилась Марку. Тем не менее, решил встретиться. В условленный час дверь распахнулась и в нее въехал на инвалидной коляске странный, заросший щетиной человек. Щеки морковного цвета выдавали пристрастие, в котором трудно было ошибиться. Глаза его размером в цент смотрели в одну точку. Он вильнул на коляске между столами и подъехал к Марку. Сотрудники отложили бумаги и стали прислушиваться к беседе.

Джо начал в привычной манере. Марк уловил запах спиртного. Тот почувствовал это и не стал таиться.

– Послушай, от меня пахнет и ты думаешь: на черта этот тип мне сдался... Я извиняюсь, но с утра я встречался с людьми из нью-оркского госпиталя, из их компьютерного отделения. Они дали слово, что каждый месяц будут брать как минимум одного человека. Я не мог с ними не выпить.

Марк про себя подумал: «Принесла же нелегкая... Только пьяницы мне не хватало. Но, с другой стороны, никогда заранее не знаешь, где ждет успех, а где облом». Ответил не самым дружелюбным тоном:

– Давай договоримся: еще раз придешь в таком состоянии, вылетишь отсюда мигом. Когда протрезвеешь и захочешь встретиться и нормально поговорить, я к твоим услугам. А на сегодня все.

– Подходит, – Джо развернул коляску и направился к выходу.

Он появился через пару дней, трезвый как стеклышко, тщательно выбритый, в костюме цвета маренго с красным галстуком. Сообщил, что компьютер ему не нужен, а нужны три резюме обычных программистов на языке С++. Сотрудники с подачи босса дали ему пять. Джо, устроившись за свободным столом в углу помещения, выбрал три. Подъехал к Марку, достал из кармана брюк клочок бумаги и попросил отправить резюме по записанному на бумажке номеру факса. После этого вернулся к своему столу, закрыл глаза и затих. Похоже, заснул.

Марк глубоко вздохнул, тем самым выразив свое отношение к происходящему, и тихо попросил сотрудников не будить странного господина. О присутствии Джо все как-то быстро забыли: что он есть, что его нет – никакой разницы, главное, он никому не мешает.

Через три с лишним часа в офисе раздался телефонный звонок. Марк по обыкновению лениво ответил, что слушает, и вдруг весь подобрался, заулыбался, что случалось крайне редко, глаза его заблестели. Положив трубку, он громко объявил:

– Один из программистов (назвал его фамилию), резюме которого вы отдали Джо, взят на работу в госпиталь без интервью.

Хелен выскочила из-за стола – взяли именно ее человека – и начала приплясывать и хлопать в ладоши. Обычно она устраивала на работу не более одного человека в месяц, но такого легкого варианта еще не имела. Коллеги тоже захопали.

Хелен подлетела к проснувшемуся Джо и в порыве эмоций чмокнула его в выбритую до синевы щеку. Джо разулыбался, приобнял Хелен и попытался ответить поцелуем в губы, но она изящно отклонилась.

Марк привстал и снова плюхнулся в выдавшее виды черное кожаное кресло, отчего под массой его большого тела оно всхлипнуло. Лицо босса лоснилось от удовольствия. Подойдя к Джо, он протянул ему руку для пожатия. «Похоже, с этим чудачком мне повезло, – подумал он. – Заработал десять тысяч, палец о палец не ударив».

Манеры Джо не менялись в последующие месяцы. Он был неразговорчив, порой угрюм, сидел, обычно закрыв глаза, и значительно реже других пользовался компьютером. Тем не менее, он лучше коллег знал, где требуются программисты, с кем и как надо говорить по поводу трудоустройства. Босс разрешил ему являться в офис через день. О своем семейном положении и по поводу своей инвалидности Джо не распространялся – он лишь поведал Хелен, к которой питал особую симпатию, что разведен, имеет дочь, которая с ним мало общается, живя в Калифорнии, и что несколько лет назад разбился на автомобиле, получив травму позвоночника.

Джо приносил Марку – и себе – немалые деньги, являя пример остальным.

Жизнь агентства шла по-залаженному, четко и размеренно, нельзя было сказать, что она бурлила, как горный поток, скорее, напоминала медленно влекущуюся речушку с пологими скучными берегами. Оживление наступало, лишь когда удавалось устроить на хорошую работу очередного специалиста. Удавалось это все чаще – компьютерный бум нарастал подобно камнепаду.

Впрочем, серые однообразные будни офиса однажды нарушились вмешательством извне, заставившим сотрудников натерпеться страха.

...В комнату быстрым шагом вошли четверо. Они были в гражданской одежде, небольшие эмблемы-ромбики на пиджаках, где голубым по черному полю было написано *Postal police*, свидетельствовали о принадлежности к почтовой полиции. Их фигуры подтверждали то, что немалую часть жизни они проводят в спортивном зале. Один из них выкрикнул:

– Всем немедленно лечь на пол! Руки за голову!

Через несколько секунд все агентство лежало, уткнувшись носами в грязный ковролин. Лишь Джон евозмутимо продолжал сидеть в прежнем положении. Старший из четверки подскочил к нему, не заметив инвалидную коляску, а узрев ее, махнул рукой в виде разрешения не выполнять команду.

Остальное не заняло и минуты. Старший офицер посмотрел какие-то записи в своем блокноте, перекинулся несколькими фразами с подчиненными, неожиданно громко спросил у лежавших, какой это этаж, получил нестройный ответ: «Четвертый», и выругался сквозь зубы.

– Это четвертый этаж, ребята. Нам нужен офис с тем же номером, только на пятом этаже.

После этого, забыв извиниться за созданную нервную ситуацию, они удалились из офиса.

ГЛАВА 3

Валентин битый час не мог составить пятистрочное объявление, рождавшееся в компьютере и тут же безжалостно уничтожавшееся на экране. Он хорошо понимал, что должен отобразить в объявлении, но выходило коряво и неточно. Валентин (американцы

называли его Вэл, да и русские, с которыми он общался, предпочитали короткое трехбуквенное имя, сам он настолько уже привык к нему, что, казалось, его так и называли при рождении) встал и начал гнрвно ходить по офису.

За окном шел дождь, струи нитями нависали на стеклах и стекали, как слезы. Дождь был летний, а значит, теплый, но Вэл ежился, будто стоял на улице без зонта. Чертово объявление... Он хотел составить его необычно, чтобы отличалось от сотен таких же в «Нью-Йорк таймс», обратило на себя внимание, однако слова никак не рождали у тех, кто им заинтересуется, цепочку нужных ассоциаций – он чувствовал это. Вэл вел компьютерный рекрутинг, по сути, в гордом одиночестве. Порой не успевал со всем управиться. Он был востребован с утра и до вечера, любой желающий мог дозвониться до него, случалось, говорил одновременно по четырем линиям, костеря себя за то, что никак не наймет толковую секретаршу, а работающая у него русская не настолько знает язык и специфику бизнеса, чтобы стать полноценной помощницей, увольнять же ее, мать-одиночку, он не решается, этим сильно отличаясь от американцев.

Решение посвятить себя тому, чем рвутся заниматься тысячи его соплеменников-эмигрантов, пришла к Вэлу вследствие разговора с дядей Толей, двоюродным братом отца, который находился в Америке более десяти лет и в силу этого считал возможным раздавать бесплатные советы.

– Все сейчас бросились в программирование. В России были инженерами, парикмахерами, библиотекарями, музыкантами, домашними хозяйками, а здесь кодируют так, будто всю жизнь этому учились, – дядя Толя скривил уголки губ в намеке на таинственную улыбку, будто ведал такое, чего не ведал никто. – Многие и компьютер-то впервые в Америке увидели. Зарплаты же – мне на зависть. А я зодчий с большим стажем! – «зодчий» резануло слух племянника, но Вэл не подал вида. – И поверь, – продолжал дядя, – на получение американского лайсенса архитектора ушло больше пяти лет. А они полгода учатся и, толком ни хрена не смысля, попадают в шикарные фирмы... Одно слово – бум, ети его мать.

В устах дяди звучала обида и плохо скрытая зависть к баловням судьбы.

В тот же день Вэл записался на курсы программистов...

Бог мой, как давно это было, а всего-то прошли считанные годы, – на Вэла нахлынули непрощенные воспоминания. И закрутилась-завертелась вереница лиц, обрывков разговоров, постылых офисных «кубиков», надутых, чванливых начальников (с иными Вэл покуда не сталкивался), многого из того, что сопровождало в этом сумасшедшем Армагеддоне, месте последней битвы сил добра с силами зла в конце времен, которое он воспринял близким по духу, и изредка отвечая на вопрос, где бы мог лучше всего жить, всегда отвечал одно и то же: в Москве и Нью-Йорке. В первом городе он родился и прожил до тридцати лет, во втором боролся за выживание, радуясь неожиданным удачам и стараясь не сильно переживать потери.

Дождь хлестал все сильнее, в жаркий, изнуряющий июль он не приносил после себя озоновой отрады, когда легкие раздувались, как кузнечные меха, поглощая свежесть и прохладу. В Москве и на пригородной даче дышалось совсем по-иному... А здесь после ливня рубашка или майка прилипали к влажной, потной коже, и ты ощущал себя будто в наглухо закрытом полиэтиленовом мешке, не пропускающим воздух.

В мозгу продолжали прокручиваться путаные кадры бесконечной киноленты: интервью в поисках куска хлеба, которые он проходил первые пару лет вживания в новую реальность, в самом начале произнося сакраментальное: «I am looking for a job», после чего, улыбнувшись и покраснев, садился напротив расспрашивающих его работников нанимающей компании, по-собачьи преданно смотрел в их глаза и пытался понять слова, которые произносят их губы; на вопрос, сколько лет он программирует, он отвечал, что не женат и поэтому их интерес касательно стажа его брака не имеет смысла, спрашивающие понимающе кивали, но вопросы задавать прекращали. Тут же выплывали классы компьютерной школы в религиозном районе Бруклина, где в самую жару бородатые пейсатые евреи ходили в черных легких пальто, черных брюках и белых рубашках, шляпах из фетра и велюра, в шапках-ермолках, отороченных лисьими или соболиными хвостами, и высоких черных и белых гольфах, заправленных в штаны; чердачное помещение возле школы, которое Вэл снял на одолженные у дяди-зодчего деньги, оно нагрелось от солнца, внутри была настоящая парилка – в баню

ходить не надо; мелькали нестойкие эпизоды ни к чему не обязывающих свиданий с женщинами, исключительно русскими, – и все это перемешивалось, наслаивалось одно на другое, летело с возрастающей скоростью, словно перехватывающий дыхание спуск с американских горок...

Каким-то невероятным образом его после окончания компьютерной школы и мытарств с трудоустройством пригласили в огромную финансовую компанию, куда набирали несколько десятков бывших советских библиотекарей, парикмахеров, музыкантов, гордо именующихся программистами, и Вэл, сделавший определенные успехи в английском, попал в их число. А дальше..., дальше началось самое интересное – от него потребовали написать три программы, он в них ни бельмеса, сначала запаниковал, потом по совету одной доброй души нашел спасителя в лице Фимы – гения программирования, и за умеренную плату тот сочинил все, что от Вэла требовали и ждали. Но это уже совсем другая история, которую вымывал ливень, комкающий воспоминания, режущий их струями, как портниха, на лоскуты...

Вэл снова принялся за составление объявления.

... Сегодня был день уборки с пылесосом, Марк закончил ее и до прихода сотрудников, блаженствуя в одиночестве, открыл свежий «Нью-Йорк таймс». Прочел пару статей о политике, пробежал глазами несколько заметок экономического раздела. После этого нашел секцию с объявлениями и углубился в раздел программирования. Это было самое приятное утреннее времяпрепровождение.

Если бы кто-то поинтересовался, от чего он получает больше удовольствия: от секса или изучения объявлений в газете, он ответил бы, скорее всего, так: с женщиной имеешь одно финальное наслаждение, объявления же приносят порой несколько оргазмов кряду; после наслаждения с женщиной нередко рождаются проблемы, объявления, как правило, рожают деньги.

Марк читал все объявления до единого. Он вцеплялся в них хищным взором, словно ястреб перед тем как закогтить добычу. Напрашивалось и другое сравнение: словно купивший лотерейный билет и ищущий совпадения номеров, сулящих многомиллионный джекпот. При этом использовал несколько разноцветных фломасте-

ров – если объявление заинтересовывало, он помечал его каким-то одним цветом, в зависимости от важности и привлекательности. Красный цвет являл собой самый большой интерес.

Сейчас Марк оставил с десяток пометок фломастерами – и ни одного красного. Что ж, такое тоже бывает, успокаивал себе, оргазм отменяется. И тут глаз выхватил несколько строчек... *«Не сулю золотые горы, но обещаю зарплату 100 тысяч баксов. Спешите позволить, ибо такие работы улетают, как горячие пирожки».*

Текст объявления резко контрастировал с остальными, таким стилем никто не изъяснялся и не завлекал. «Либо мошенник, либо...» – Марк не смог подобрать точный эпитет. Красный фломастер, как ястребиный клюв, навис над объявлением. Секунда-другая ушла на раздумье, помечать или пропустить. Все решила особая внимательность Марка: он углядел помещенный следом двухстрочный текст: *«Профессиональный программист желает обсудить бизнес с небольшой консалтинговой компанией»*, под которым стоял тот же номер телефона, что и под предыдущим.

Марк обвел объявление красным, почистил яблоко, тоненьким ножичком срезав кожуру, разрезал на тонкие дольки. Ел медленно, собираясь с мыслями, предваряющими его звонок мошеннику или чудаку (нашел-таки недостающее слово).

Он набрал указанный в объявлении номер, немного с хрипотцей, заспанный голос ответил: «Слушаю». В трубке немного шумело, доносились голоса улицы, Марк понял, что позвонил на мобильный телефон, который все еще считался редкостью.

– Доброе утро! Меня зовут Марк. Я владею небольшим рекрутинговым агентством. Меня заинтересовало ваше объявление. Оно написано..., знаете, необычно, очень завлекательно, и я хотел бы прояснить ситуацию. Вы устраиваете на работу и хотите помощи от такого агентства как мое, или... ?

– Спасибо за звонок, но я дал объявление из других соображений. Кстати, меня зовут Вэл.

Марк отчетливо услышал русский акцент. Последнее время он наблюдал на маркете резкое увеличение «русских резюме» и подумывал, что ему нужен русский рекрутер, который хорошо знает своих собратьев.

– Вэл, простите мой вопрос. Вы из России? Я угадал, правда?

Мое агентство в последнее время устроило немало русских программистов. Среди них немало классных специалистов. Вас охотно берут ведущие компании Нью-Йорка. Вы что, все такие талантливые или есть какой-то секрет?

Трубка рассмеялась.

– Марк, когда-нибудь я объясню, как и почему это происходит. Тем не менее, давайте вернемся к делу. Я владею консалтинговой компанией. Не буду говорить, сколько у меня сотрудников, но доход приличный.

– Имеете офис в Манхэттене?

– Нет, работаю из дома в Бруклине. Встречный вопрос: вы занимаетесь консалтингом или только устраиваете на постоянную работу?

– Нет, консалтингом не занимаюсь.

– Почему? Это же выгодное дело, – голос в трубке выразил искреннее удивление.

– Возможно, это мое упущение, – неожиданно согласился Марк. – Может, уже опоздал, как вы полагаете?

– Абсолютно не опоздали. Мои знакомые менеджеры уверяют, что компании увеличивают траты на консалтинг. Поверьте, это окупается с лихвой. Соответственно, количество рабочих мест будет расти. Более того, в самом консалтинговом бизнесе есть золотая жила, сулит большие заработки. К ней, правда, подобраться сложно. Но кто-то же подбирается!

Интерес Марка рос с каждой секундой.

– Что вы имеете в виду под золотой жилой?

– Ну, это особая тема... – уклонился от ответа.

– Вэл, нам есть смысл продолжить разговор, но только не по телефону. Давайте назначим встречу, поужинаем в хорошем ресторане. Я приглашаю...

Ради открывающихся возможностей (Марк в эту минуту безобманчивым нутром чувствовал их) он готов был без сожаления пожертвовать энную сумму.

– С удовольствием принимаю приглашение. Давайте завтра созовемся и определим день и час.

На этом они завершили беседу, сами того не предполагая, сколь важным и многообещающим окажется их знакомство.

Продолжение – в следующем номере

Леон Михлин – москвич. Закончил МГУ, по специальности геофизик. Не успел защитить кандидатскую диссертацию в связи с эмиграцией в США. В Нью-Йорке сменил род занятий, включая компьютерный бизнес, занялся строительством, став девелопером.

Леон Михлин в юности писал стихи. В последнее время вновь взялся за перо, перейдя на прозу. Рассказ «Дом на канале» (№2/2017) – его литературный дебют.

Напомним, что Леон Михлин – издатель журнала «Времена».

Томас ВЕНЦЛОВА

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Из новой книги Metelinga

ИДАЛЬГО

Дай мне руку, Санчо, брат названный.
Поднимусь. Нет, не могу. Постой.
Вот и я. Из старого романа
Выхожу я на неравный бой.

Как бессильно тело тяжелеет!
Нас петля и пуля не щадят,
Нам судьба патронов не жалеет,
Танков на широких площадях.

Лишь словами были мы богаты,
Лишь любить и умирать могли.
Нам за все труды одна награда –
Пыльная обочина Земли.

Игроку, оратору и рыцарю,
Меченому пулями не раз, —
Не впервые довелось родиться мне,
Не впервые встречу смертный час.
1956

Нам не надо печали непрошеной,
И не будем ее ворошить,
Но на свете есть город из прошлого,
Где тебе посчастливилось жить.

Там за школами, банком, костелами,
За казармами желтыми в ряд
Во дворах, отражаемый стеклами,
По траве рассыпался закат.

Чтоб тревожный закат повторялся,
Чтоб просохли глаза мостовых,
Чтоб звучали холмов ассонансы,
Этот город остался в живых.

Снова жить и дышать захотел он,
Тот единственный из городов,
За неделю из воздуха сделан,
Из туманов, ночей и стихов.
1957

ЯКОБИНЕЦ

Так далеко видать. Так легок холод.
И на дыбы поднявшейся рептилией
На фоне неба, бдителен и желт,
Застыл бессонный остов гильотины.

Париж в железо звонкое закован,
И в водах Сены тают фонари.
И все равно: виновен, не виновен,
Что говорил, чего не говорил.

Довольно революций. Время плах.
Ни в клубах на распатанных столах,
Ни на большом собрании в Конvente
Греть уже не будешь с этих пор.

Уже в окно стучится термидор,
И сух и неподвижен воздух смерти.
1957

Пока бумага книжная
Еще бела как снег,
Давай измерим лыжные
Проемы зимних рек.

И взгляд, внезапной скважиной
Сквозящий под углом, –
Тоской обеззараженной
За солнечным стеклом.

Чернея, треугольники
Пускай спадают с крыш –
Мы этих дней невольники,
И ты не говоришь,

За что снега февральские
В преддверии весны
Струятся между пальцами,
Как слезы, солонь.

1958

НОЧЬ

Лука и листья тополей
Зеленым оловом текли,
Катилось эхо по земле
И зимы молний небо жгли.

Огромный гром стекло хлестал,
Чистилищем швырялся в лоб,
И на сверкающий металл
Стеклянный рушился потоп.

Судьба. Теперь тебе нельзя
Иначе строить жизнь и стих,

За то, что истины гроза
В ладонях плещется твоих,

За вой войны, за струны стрел,
За эту грань в краю тревог,
За всё, чего ты не хотел,
Но отказаться бы не смог.
12 августа 1958

О легкая беда и пульс апреля!
Простите, послезавтрашние дали,
Что мы вас не искали и не ждали,
Что мы свое призванье проглядели.

А может, не осудите сурово
За немотою скованные годы,
За правду серую, за злое слово,
За горестную, скудную свободу.
1959

Так и буду, потом перестану –
Хоть пока до краев живой.
Мир огромный сквозь нас прорастает
Бессловесной теплой травой.

За последнюю помощь отвечу,
Чтобы свет в кристалле играл —
Известковая алгебра речи,
Меловая стрела-интеграл.
1961

СТИХИ О ПАМЯТИ

Не жди ушедших, ведь они ушли
Так глубоко, что их забыли стены,
Дожди, снега, картины, перемены,
Часы, карандаши, морская пена,
Возмездие, бессмертие души.

Кто прав из них – уже не знаешь сам,
И, расставаньям выставляя цену,
Ты цельности лишаешься бесцельной,
На разные распавшись голоса.

Смотри: ножом начерчены круги.
След на стекле и пыль на книжной полке.
Есть вроде и свобода, и стихи,
Но правды и судьбы почти нисколько.

Два голоса остались и звенят
В тепле и неуютности этих комнат.
Ты памяти решил не изменять —
И помнишь, а никто уже не помнит.

Она, гнезда родного лишена,
Слепою ласточкою мечется без звука.
Веселая высокая наука –
Твой классицизм – кому она нужна?

Так, обреченный на разлуку с нами,
Платку подобно, ниспадает час
На сонмы комнат, лестниц и террас,
На этот неизбежный узкий лаз
Меж будущим и бывшим временами.
1966

СТИХИ О ДРУЗЬЯХ*Наталье Горбаневской*

Когда чужие – все равно друзья,
И все, что не успело приключиться,
Уносит вдаль поток небытия
К своим несуществующим границам,
И догорает небо у реки,
И радио ревет на даче где-то, –
Нас никакие не спасут замки
От завершающей минуты лета.

Когда стемнеет, в эту дверь войдут
Те, кто пропал, убит или уехал,
Те, для кого наш комнатный уют –
Элизия спасительное эхо,
Все те, чьи тени, население снов,
Друг друга то любя, то забывая,
То в глубину зеркал уйдут на дно,
То в вышину внезапную взмывают.

Так поколение, смертью смерть поправ,
Крылатых женщин, братьев-ясновидцев
Встает из шороха засохших трав,
Как звук струны, как надпись на странице.
А кто живой – тому туманный звон,
Казенный дом и дальние дороги.
Упорство и молчанье – их закон,
И Аполлон из них спасет немногих.

Пределом мира обернется кров,
Ночь отграничит оттепель от стужи,
И под прицелом смерти войско слов
Им снова службу верную сослужит,
Если, пролив в умы и души яд,
Ступени ямой протоптавшим в вечность,

Им будущее все же возвратят
Непрошеной, давно забытой вещью.

Открытая семья большая. В ней
У всех детей одно и то же имя.
Они таких достигли степеней,
Что суд земной не властвует над ними.
Они когда-то в лес ходили к нам,
Их пальцы мебель, как деревья, помнит.
Их голоса сменила тишина,
Которая теперь пространство полнит.

В беду не верю – верю лишь друзьям.
Пространство между миром и глазами
Я им, ушедшим, поровну раздам,
Чтоб хоть чуть-чуть улучшить мирозданье.
В сиянье истин меркнут фонари,
Свет поглощает лица их немые,
Но у меня сливаются внутри
Шаги, как параллельные прямые.

Проснулся город, ко всему готов.
В чужом краю опять настала осень.
На суету трамваев и домов
Сентябрь свой прозрачный плащ набросил.

Настало утро, нервы напряглись,
Туман прохладный над баржами тает,
И рыцарским гербом узорный лист
На мостовую мокрую слетает.

1968

АХИЛЛОВ ЩИТ*Иосифу Бродскому*

Я говорю, чтобы экран внутри
Мне показал, как и тебе когда-то:
Вокруг часовни каменной ограда,
Пустая пепельница, ключ. Смотри,
Все точно так же: пепел и ключи,
Воображенье даже, и поспорю,
Что километров столько же до моря.
Оно в ночи

Услышит нас. И крона зелена,
И так же в ней фонарь сочится светом,
Но ход часов совсем другой, и это
Опаснее, чем горькая волна
Меж нами. Ты, как некий древний грек,
Тем незнакомей, чем в пространстве дале.
А мы вот, к своему стыду, застряли –
Ужель навек? –

На корабле, где даже крысам – швах.
А приглядишься – не корабль, а замок,
Где бдят, чтобы никто не лез из рамок,
Торопят календарь, наводят страх,
Бряцают медью. Зрелость. Дело дрянь,
Опека до костей, и эти глыбы
Нам полностью застлать глаза могли бы,
Когда б не грань,

Где перпендикулярен шум дождя,
Где свой высокий свод подьмет голос,
Где летом все едва не расколосось,
Где закаляют нас, в тисках держа
(Тиски – душа), и ставят голоса,
И обжигают, придавая форму,

Ведь только голос – наша terraferma
И небеса.

Тебе и мне – да будет нам покой.
Да будет тьма и бег секунд спокойный.
Прочту сквозь сон, густой и многослойный,
Все твои буквы, вплоть до запятой.
Пусть исчезают с карты города,
Пусть будет белый щит взамен природы,
Пусть отразит, как отражают воды
И пустота

(Хватило б сил удачливой руке!),
Двух разных эр мельчайшие детали,
Чтоб волны били в берег и смывали
Рисунок скоротечный на песке.
Нагретый воздух сквозь стекло ползет,
Заходит в черные квадраты окон.
За башнями мотор ревет далекий,
Сюда везет

Очередные сутки. В мутном сне
Гудит, качаясь, колокол тяжелый,
И ожиданья час безмерно долог,
Пока ответят в душной глубине:
Дрожит фундамент, стонут кирпичи,
Гудят колонны, арки, монументы,
Аукаются люди, континенты
В живой ночи.

Льнет к парусу полуденная мгла,
Горячий берег испаренья кроют.
Ты видишь Фермопилы, видел Трою,
Тебе дарован щит. Ты есть скала.
Рука металла в небо вонзена,
Она, сверкая, ловит вольный ветер,
Пусть даже в двух шагах от лжи, от смерти,
Где тишина.

Доверив наши судьбы нам самим,
Ты перешел в разряд воспоминаний.
Но каждая секунда здесь двойная,
И светом мы окутаны двойным
В своем по дням редеющем кругу.
Мерцает ил на полосе отлива,
И лодка, точно камень, молчалива
На берегу.

1972

NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA

Памяти Константина Богатырева

Я жил, я привыкал к небытию,
Был с серединой века ознакомлен.
Смерть принята была в мою семью
И занимала лучшую из комнат.
Я приручал ее и об одном
Просил ее: пока меня не трогай.
А по утрам я видел за окном
Красивейший из городов Европы
Восточной, где шуршит камыш гнилой,
Скрывается кастет в кармане быстрый,
Мчит паровоз убийственной стрелой,
Гореть бензин стремится из канистры.
Я в этой смерти ел, и пил, и спал,
Пытался в цель и смысл ее проникнуть,
О ней порою даже забывал,
Но к смерти человеку не привыкнуть.

Я отпирал квартиру. Вдруг во мне
Ритм потеряло и упало сердце.
И впрямь, в непредсказуемой стране
Найдется место и случайной смерти.
1976

Мы эту лампу жгли по вечерам.
Лежала темнота на полках книжных,
примешиваясь к чайника парам,
и чемодан мерцал застежкой в нише.
Спугнув огонь, наваливалась ночь,
и друг мудрил, распутывая провод,
чтоб темень и сугробы превозмочь,
взглянув сюда из времени иного.
И вот пришли другие времена,
и пережгла душа земное тело
тому, кто жил тут, но, хлебнув сполна,
покинул бухты северной пределы.
Все так же ручка чайника блестит,
и над камином книга и открытка.
За все, что было, свет благодарит,
нет потолка, и небеса открыты.
1997

ЭПИЗОД

Июльским вечером я шел на дно.
Повесив трубку, погрузился в яму
метро, в его колодца амальгаму,
и затонул с толпою заодно,

и темные пути подземных рек
несли меня сквозь фонари и лица,
и вовсе даже не кончался век,
а ближе к центру – чтоб не ошибиться,
шестьдесят первый.

В мыслях шевеля
наш разговор, я ненароком думал,
что рельсы все же лучше, чем петля,
чем ледоход, отравы или дуло.

Сковал суставы груз небытия.
А шпалу тускло золото пятнало,
как та застежка стертая, блестя,
куда виском я припадал, бывало.

Уже гудел сигнал издалека,
суля мне избавленье от страданья –
инерцию стального колеса
или короткий выдох замыканья.

А некто, поселившийся в мозгу,
меня лишивший голоса и речи,
советовал не мешкать на бегу
и вылететь прожектору навстречу.

Но я замешкался. И изменить
течение судьбы пришлось богине,
и лезвие, мою не тронув нить,
внезапно перерезало другие

за океаном ли, в родном краю ли,
чтоб за слоями будущих времен
таился день, который мне сужден
(возможно, тоже третий день июля).

15-17 апреля 2006

Нам после всех невзгод и всех разлук
Казалось – передышка будет вечной.
Друзья в садах стихи читали вслух,
Пируя и беседуя беспечно.

Дух мудрости над школами витал,
Вплывала флейта в белые колонны,
И ярмарками город хлопотал,
И пряности возили галеоны.
Мы радовались спелости плода

И многоцветью мастерских мозаик,
Но мрачные пророки, как всегда
Осмеянные, – правы оказались.

Металла грохот, сполохи огней,
Чернеет небо и ярится море.
Задуй свечу и дверь закрой. За ней
Опять чума, Калигула и горе.
2014

Перевела с литовского Анна Герасимова

Томас Венцлова (11 сентября 1937 года, Клайпеда) – литовский поэт, переводчик, эссеист, литературовед, диссидент и правозащитник. В 1960 году окончил филологический факультет Вильнюсского университета. Работал в Вильнюсском университете, зачислителем драматического театра города Шяуляй. Был сотрудником отдела философии Института истории АН Литовской ССР.

В 1976 году – один из основателей Литовской Хельсинкской группы. Выехал из СССР в США по приглашению университета Беркли. Был лишен советского гражданства. С 1980 года – профессор Йельского университета. Живет в Нью-Хейвене, США.

Его новая книга «Metelinga» – это стихотворения на литовском и в переводе на русский (переводчица Анна Герасимова) с комментариями и пояснениями от поэта, а еще личные архивы Венцлова – семейные фотографии, фрагменты переписки, интервью.

Владимир СОЛОВЬЕВ

ДИАГНОЗ

*В те дни, когда любая наша встреча
была почти ристалищем, — калеча
друг другу души, заново слепя
из похоти и слов самих себя, —
мы стали нераздельны. Зеркала
вне понимания добра и зла.*

.....

*Хочу забыть о будущем; не быть.
Мне, знаешь, больше некого любить
опричь тебя.*

Виктор Куллэ

Кошмары на этой почве преследовали его давно, но такой сон – впервые: не ее рассказ о том, что с ней стряслось тогда в Сан-Хосе, а показ, само действие, будто кто снял с его глаз катаракту, и он увидел воочию, что и как в ту ночь произошло. Точнее – происходило: ввиду продолжительности сна-видения, во всех постыдных и прекрасных подробностях, с ее закадровыми комментариями к немому фильму, секси-сцена была так выразительна – и заразительна, как крутое порно. Он проснулся весь в холодном поту, подушку хоть выжимай, член огромный, каменный, вздрагивающий от нетерпения – как никогда наяву. Ревность всегда вызывала у него вожделе-ние: «Тебе это зачем-то нужно, – говорила Полина, когда на Филиппа накатывали рецидивы этой застарелой ревности, – вот и попробуешь меня на роли Анны Карениной, Молли Блум и Одетты Сван». Решительно отвергала его подозрения – «С кем? С инопланетянином? Я же девочка была. Ни с кем даже не целовалась» – и использовала его ревнивую страсть по назначению: у нее был необузданный темперамент, в сексе доходила до неистовства – какой контраст к ее дикой

застенчивости по жизни! Это его и возбуждало: неистовая девичья похоть, монашеское непотребство, буйство плоти не от мира сего интровертки, несовместимость двух этих женщин в одной, непредставимость ее за этим занятием, тем более – не с ним. Непостижимо, как смерть и бессмертие. Он так долго приучал ее – к себе, к интиму, к сексу. И самого себя – к ней. Оба-два были девственниками.

Ревность как культ вагины? Не любой, а любимой, родной, единственной. Он один знал эту ее тайну перевоплощения, а оказалось – в сновидениях? – не он один. И узнал не первым? Скромность – скоромность, женщина сбрасывает стыд вместе с одеждой и прочие общеизвестности, которые известны далеко не всем. Когда-то он верил ей безусловно – как потом сомнения замучили его. То, что для Филиппа с самого начала и только с ней было и осталось священнодействием, и он никак не мог привыкнуть к чуду ее доверчиво, гостеприимно, нетерпеливо раздвинутых колен, было – или стало? – для нее обычным и привычным физиологическим отпращиванием, а если еще и не с ним одним и не с ним первым? Черт!

Чрезвычайно возбужденный этим сном-откровением, он потянулся к ее обалденной муфточке, зная, как любит она секс в полусне, в полудреме, с отключенным сознанием, без никаких тормозов, но его рука ткнулась в пустоту, простыни на ее стороне не смяты – Полина в больнице и не всегда теперь узнавала его, глядела в упор пристально, озадаченно, с испугом. На нее и прежде находили такие помрачения во время соитий, когда она открывала глаза и смотрела на него вчуже, как на человека, которого не знала или знала, но не желала знать, потом все чаще и чаще, а теперь все реже и реже просветы – проблески сознания.

– Ты не тот, за кого себя выдаешь, – говорила она, когда была не в себе и болезнь еще только подбиралась к ней тихой сапой, и диагноз не был поставлен.

– Ты делаешь меня хуже, чем я есть.

– Ты не та, которую я любил, – молчит он.

И люблю.

Люблю?

Нет, не тебя так пылко я люблю...

Люблю женщину, которой нет.

А была?

Не любовь, а болезнь любви. Род недуга.

Диагноз: любовь.

Хроническая болезнь. Неизлечимая. Летальная. С Адама и Евы начиная, если очистить библейскую историю от секса. Изначальная повесть о любви. До Песни Песней. Дорого же оба заплатили за любовь – смертью: обменяв вечность на любовь. А так бы жили и жили у себя в безлюбом раю.

Эликсир любви – медленно действующий яд.

А, что говорить...

За Полиной и прежде водились странности, он им умилялся, принимая за черты характера либо за своеобычие личности. Как она, к примеру, целый месяц поливала искусственные цветы на даче в Катскильских горах, где хозяева поручили им единственно ухаживать за разбойного нрава котом по имени Баскервиль. Пришли как-то к приятелю: «Почему у вас окно закрыто, весна же?» – «Так открыто же». А когда у них уже родилась Машка, Полина явилась на свиданку с одним ухажером в Бэттери-парк вместе с бэби в детской колясочке: «А куда его деть?» в ответ на его оторопь – сама Филиппу рассказывала тем же вечером. Не с тех ли бессознательных пор повелось у Машки следить за матерью? Полина становилась всё чудесатее и чудесатее, таких историй за совместную жизнь скапливалось через край, и раньше оба вспоминали о них весело, но теперь одно только упоминание раздражало и злило Полину как намек на ее болезнь, которую она вчистую отрицала, считая наговором, а не диагнозом. Она в самом деле не признавала, что псих? Даже в редкие моменты просветлений?

– Ты не та, за кого себя выдавала, – молчит Филипп.

Бессонница, душевный морок, приступы паники, переходящей в агрессию, ревизия прошлого под мрачным уклоном, завиральные идеи, давние какие-то унижения и уязвления – *Русский человек помнит все обиды начиная с рождения*, отшучивался Филипп; *Зачем кошмарить жизнь, когда она и без того кошмар?* – утешал он ее, но до нее уже не доходил юмор, а когда Полина совсем съехала с катушек и заговорила о самоубийстве, тут уж не до шуток, и Филипп уболтал ее сходить вдвоем к психиатру под предлогом своих ревнивых рецидивов, а он в самом деле стал хроником на этой почве, сознавая, что его болезнь тоже неизлечима и спрашивать некого и

не с кого, менее всего с Полины, которая ушла в молчанку. Наипаче теперь, когда у нее подсели батарейки, разладился весь организм, речь сбивчива и она блуждает в лабиринте своей слабеющей памяти. Опоздал с вопросами.

Диагноз: логопатия.

А вот как Эрос сосуществует в ней с Танатосом – особый разговор: нет, не мирно, но и не конфликтно, скорее диффузионно, подзаряжая друг друга, взаимный импульс, что ли. См. Фрейда сотоварищи, хотя пальма первенства у Барда, тот первым угадывал в шуме и ярости бредового сознания некую логическую систему: *Though this be madness, yet there is method in it.*

В самом начале болезни, когда ее уже взяли на учет, но болезнь отступала после приступов, о которых у нее были самые смутные воспоминания и, не помня первопричины, она винила во всех скандалах Филиппа, Полина взяла с него слово, что не отправит ее в психоневрологическую больницу, то бишь в дурдом. С болезнью усилились все ее предубеждения, в том числе против врачей, которых она подозревала в корысти и сговоре, а сама подсела на Инет, где выясняла процентно ничтожные боковые последствия выписываемых ей лекарств и наотрез отказывалась принимать. В последнее время, когда приступ за приступом, сплошной ступор без продыха, госпитализации ну никак не избежать, да и Филипп стал сдавать, не выдерживал, нервяк нервяком, вызывал скорую во время ее буйств и устраивал себе сиесту на пару-тройку дней, пока ее *стабилизировали* – лечили электрошоком и накачивали химией, приводили в чувство, сумеречное сознание просветлялось, Полина шла на поправку и ненадолго *восстанавливалась*, находясь временно в завязке А сейчас и вовсе особый случай – ее подобрали заблудшую в Сен-трал-парк в полной отключке. Прикованная наручниками к койке, с прицепленными к ней проводами и трубками из-за аритмии и общего физического упадка, выглядела Полина совсем жалкой, краше в гроб кладут. Филипп расплакался, ему вкололи успокоительное. Когда Полина заснула, Филипп прямо из больнички отправился в свой схрон на Длинный остров, поручив жену дочери, – чтобы прийти в себя и ради прибытка новых сил для дальнейшего общежития с Полиной.

Такой вот *l'amour*.

В этом году бог миловал, и изнуряющее, удушливое, невыносимое ньюйоркское лето запаздывало, а на обдуваемом океаном Лонг-Айленде, рядышком, всего в ста милях от Манхэттена, где весна уже входила в зрелую пору, потеряв свое девство, все еще стояла затяжная весна-целочка с прозрачными листьями, с поздним цветом прустовского боярышника, одуряющим запахом глицинии, которая здесь взамен северной сирени, и любимой Филиппом жимолости, которую замечаешь прежде ноздрей и только потом глазом и которая цветет по несколько раз в лето. Было так странно бродить по дюнам без Полины, которая открыла Филиппу мир природы, ему прежде чуждый как музыка – до сих пор. Вспомнил он и ее гусей-челобитчиков, щиплющих траву, и паразитку глицинию, оказывающую честь деревьям, на которых паразитирует – кто бы их заметил, если бы глициния не взбиралась по ним аж до неба, и прочие поименованные ею явления природы, живой и мертвой, которые она оживляла метафорически.

*Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
даровала мне зрячесть.
Так оставляют след.*

Даже грибы он не различал до Полины, а теперь страстный грибник и сейчас надеялся на колосники. Взамен традиционных, в лесоповале попался шикарный такой рыжий букет chicken mushrooms, в самом деле, не отличимый по вкусу от белого куриного мяса: Полина считала его деликатесным грибом, а у Филиппа вздувало живот – даже на гастрономическом уровне *не столь различны меж собой* и проч. Красноголовый дятел, пересмешница голубая птица, подражающая чужим голосам, ястреб, схвативший бедную белку, чтобы выклевывать из нее какую-то вкуснятину – печень? И вдруг он замер – давно не слышанные им рулады. Как отличить, не ошибиться? Полина его научила: сомневаешься – нет, не он, только когда никаких сомнений – певчая пичуга соловушка.

С трудом отыскал прибрежную тропу и спустился к океану. Берег был пуст, только вдали маячил безнадежный силуэт рыбака. По весне здесь водилась голубая рыба, но вода была холодноватой в

эту запоздалую весну, вот и теплолюбивая голуборыбица припаздывала. Зато лебединая пара пасла трех серых лебедят – что осталось от их семейства после нападения чернокрылых канадских чаек. Когда Филипп выплыл, рыболов тут как тут стоял около его рюкзака:

– Risky business, – имея в виду его заплыв и указал в сторону горизонта, где Филипп неожиданно обнаружил знакомые по фильмам плавники. И снова Филипп пожалел, что нет с ним Полины – акулы здесь не водились, откуда этот заблудший косяк, а вечером узнал, что пляжи на Лонг-Айленде закрываются из-за акульего нашествия.

В сумерках повсюду загорались и гасли светлячки, которые Полина считала душами мертвых. Филипп загадал на одного, залетевшего слишком высоко, над верхушками деревьев, угадывая направление его полета, когда он на несколько секунд выключал свой фонарик, экономя электричество. Он и раньше так делал, когда, повздорив, Полина надолго, допоздна исчезала, и каждый раз он приходил в отчаяние и мысленно прощался с ней. А сейчас, когда она в больничке, мерцающий полет светлячков напоминал Филиппу о сбивчивом, из-за мерцательной аритмии, ее пульсе. Он тут же позвонил дочери, но нарвался на ответчик. Больничный телефон и вовсе безответствовал – барахлит спутниковая связь? Филипп поднял голову, но как ни шарил глазом по небу, светлячок, который он представлял Полиной, исчез вчистую, будто его и не было никогда.

Этой ночью ему приснился странный сон о смерти. Нет, не о Полине – о самом себе. И совсем не кошмар, как ревнивые видения его девочки Полины трах-тарых не с ним – наоборот, утешительный, бальзамный, целительный такой сон о собственной смерти как избавлении от всех сомнений и тревог: смерть как конец умирания. *Я не боюсь умереть – я просто не хочу при этом присутствовать*, а Филипп как раз присутствует при своей смерти, и это его никак не колышет, но ночное видение было таким правдоподобным, несомненным, что потом, долго просыпаясь, блуждая впотьмах и в полусне, не отличая сон от яви, никаких сомнений, что он на самом деле умер, когда он окончательно проснулся, лежал с открытыми глазами, думал о себе как о покойнике. Станным, наоборот, было то, что он оказался жив, когда до него это, наконец, дошло. Не слишком он долго отсвечивает на белом свете, пора и честь знать, пришельцам новым место дать, а то тесновато стало на нашем шарике.

Что до новых пришельцев, то Филиппу фиолетово, ему нет дела до будущего, когда он застрял, заблудился, увяз в прошлом и подустал от своих с ним разборок. Хреново.

Филипп тоже перестал узнавать Полину, как она его, но в другом смысле: порвалась нить времен, жалкие обрывки, без никакой связи друг с другом. Не то чтобы истек гарантийный срок ее женской годности, и она вышла в расход и выпала из обоймы. Для своих тридцати шести выглядела классно несмотря на седину, к ней до сих пор подваливали на улице – неизбежно и необратимо ничтожа мозг, болезнь никак не тронула ее внешность, вариант Дориана Грея, да и влагалище не усохло, и ее вагинальная готовность и отзывчивость в разгар любовных судорог как раз за счет болезни – прежние с той только разницей, что сношалась теперь одной минжой, а сама вся остальная с поврежденным сознанием при этом отсутствовала, потому и не узнавала его, открыв глаза и не очень соображая, что меж них происходит. Широко закрытые незрячие глаза. Отемнение рассудка.

И всякий раз, когда это случалось, он почему-то вспоминал, как изголодавшийся в психушке Джанкарло Джаннини из «Семи красавиц» пристраивается к прикованной к койке дурке – и что за этим последовало. А потом случилось и вовсе нечто чрезвычайное. Когда года два тому Полина стала седеть, она выдирала белые волоски из головы, а потом, когда процесс пошел, стала употреблять какой-то красящий шампунь, хватало месяца на два, хотя Филипп, которому седина не грозила ввиду катастрофического облысения, уверял Полину, что седые пряди, вплетенные в ее рыжую головку, идут ей. И вот однажды, обцеловывая ее гениталии, он обнаружил, что родное ее влагалище все обросло седыми волосками взамен рыжих. Пару раз она там стригла и подбривала, но Филипп воспротивился – он любил пробираться языком и членом сквозь эту осенне-ржавую чашу, а так вход в Полину обнажался, становился легко доступным, туда мог проникнуть любой, тайна исчезала. Теперь это стал зимний, заснеженный лес, и щемящая жалость захлестнула Филиппа. Он ничего не сказал Полине. Один во всем мире он знал, что у нее седая вагина, по-русски будет точней, но как-то это заборное слово с ней не соотносилось. Она сама ничего не знала. Седина в голову – бес в ребро, а тут седина и бес – в одно и то же укромное место.

Седая вагина неистовствовала как девичья – как в первый раз. С кем первый раз?

Нет худа без добра? Безумие задерживало процесс старения, орган любви не атрофировался, похоть – девичья. Да, то самое оставленное мгновение. Сбылась мечта идиота.

Они сношались теперь оба с закрытыми глазами, боясь увидеть друг друга, не узнать – и ужаснуться. И то сказать, лютость на Полину находила все чаще, но еще ни разу во время траха. Даже наоборот, секс худо-бедно восстанавливал прежний статус их отношений, и Филипп забывал о безумствах этой садомазохистки и смертолюбивы, а потенциально – суицидницы. Так же, как во время ее приступов, забывал о той девочке, которую любил больше, чем Машу – та не могла простить, но не ему, а матери и сызмала против нее интриговала, стуча ему на Полину, а иногда измышляя и фантазируя. Вот-вот, он уже не мог различить в Машкиных наговорах правду от выдумки, как не отличал сон от яви в своих ревнучих ночных видениях, когда Полина выкладывала ему все начистоту как есть. Как было.

Собственно, с Машкиного, под большим секретом, рассказа по их возвращению из Майами, что «мама путалась с дядей Володей» и пошла его ревность, которой прежде у него не наблюдалось – ни в одном глазу. «Что значит путалась?» – спросил Филипп, чтобы вправить мозги своей дочери-тинейджеру. «Будто сам не знаешь» – и стала выкладывать ему подозрительные и живые подробности, которые могли сойти и за детские фантазии ревнивой – его к Полине – Машки. Если бы не рассказ самой Полины о ее флоридском увлечении модным здешним писателем, вдвое ее старше, но ходок был еще тот по слухам, которые, впрочем, покоились скорее на его провокативных эротических произведениях. «Увлечение или влечение?» – спросил он жену. «Ну, влюбилась, что здесь такого? – И тут же стала оправдываться, хотя Филипп ни в чем ее не упрекал. – Только не надо все сводить к физиологии. Для меня секс – интимен, эмоционален, отнюдь не ежедневное физическое упражнение и мускульный акт туда-сюда, как теперь у нас. Гамма возможностей, ты не чуток к оттенкам. Влюбленность – платоническое чувство» и ссылалась на фильм «Brief Encounter», где у героев так и не доходит до главного, и на шансон Сержа Генбура: *Любовь, которой мы*

никогда не займется, будет самой прекрасной, самой чистой, самой трогательной.

В чем Филипп не был уверен, полагая влюбленность если не эвфемизмом, то разновидностью похоти. В отличие от многофункциональной и всепоглощающей любви, которая по определению у человека может быть только одна. Даже в этом они противоположны: Полина влюбчива, но никого никогда не любила по-настоящему и про любовь знала только понаслышке и вприглядку из книжек и кино, думал Филипп, тогда как он полностью израсходовал положенную квоту любви на Полину, ничего не оставил за душой. Вот почему она спокойно относилась к его одноразовым, в ее отсутствие, изменам, а Филипп свихнулся на ревности, начиная с «дяди Володи», а тот в очередной своей книжке – Филипп поневоле стал его внимательным читателем – тиснул новеллу, которой косвенно подтверждал Машкин рассказ, хотя возраст героев был изменен, а действие перенесено в дальние воспоминательные годы на советский юг в украинское село Парутино, зато детали сходились с теми, которые сообщила ему дочь. Хотя и в этой печатной версии была какая-то невнятица – дошло у героев до траха или нет? Поднимите мне веки!

Диагноз: ревность.

Подпиткой его ревности стали еще два доноса, пока Филипп не сосредоточился на ее предматримониальной измене, прознав про которую, Машка неожиданно взяла сторону матери, хотя во всех конфликтах и скандалах была однозначно на его (как и их эмоциональный котяра): «Фигня! Нафталин! Девственность теперь не в цене, а в цене и моде, наоборот, многоопытные девки, чтобы мужикам не особенно озабочиваться на этот счет. Целкомудрие – давно пройденный исторический этап», сообщила ему сексуально умудренная дочь. «Для кого как», – промолчал Филипп, который и Машку тоже считал девственницей и продолжал называть ребенком, а ее эпатажный треп на эти темы относил за счет девичьего любопытства, интернетной подкованности и чужих жизней на фейсбуке, а не личного опыта. Или он ошибался теперь в Машке, как когда-то в Полине, будучи наивняк, потому тогда и лоханул? Впрочем, целомудрие дочери Филиппа мало заботило как и целомудрие вообще, но исключительно Полинино, на что у него были особые причины.

Хотя не исключено, что женщиной ее сделала Машка, редкий, но не беспрецедентный казус Богородицы, который больше подошел бы для ребеночка мужского пола. Бывают такие растяжимые плевры, которых ни один хер не берет. Либо другой феномен – аплазия: отсутствие плевры. Что опять-таки не исключало предтечи в Силиконовой долине.

Второй стук исходил от его коллеги по телеразвлекухе, который перенес соперничество в сексуальную сферу, а познакомил его с Полиной сам Филипп на корпоративе, где скорее всего они и снюхались. Об чем Филипп и не подозревал, но как-то сразу уверовал, когда тот, отстав от него по рейтингу, злобно бросил ему на коллегии, что нет лучше секса, чем с женой приятеля, запретный плод сладок и всё такое – и тут же рванул с заседания, оставив Филиппа как обухом по голове. «Почему ты веришь этому подонку, а не мне?» – заплакала Полина, когда он тем же вечером пересказал ей эпизод, но Филипп не знал, к чему отнести *подонка*: к тому, что тот возвел на нее напраслину или что выдал их совместную тайну? Это смахивало на скверный анекдот: «Изя, кому ты больше веришь? Мне или своим глазам?», потому что Филипп отследил эту ситуацию почти до самого конца. В это «почти» все и упиралось, как в другом анекдоте:

– Опять эта проклятая неизвестность!

Третий донос поступил к нему в отместку, как Филипп теперь полагал, – справедливую. Это он сам спьяну и сдуру, на этот раз на юбилейной вечеринке оркестра, где Полина подвизалась со своей арфой, сболтнул кларнетисту, что видал его жену с ее любовником, об их связи было известно всему русскоязычному Нью-Йорку, но у Филиппа как-то вылетел из головы трюизм, что муж узнаёт последним – если узнаёт. А к нему самому это относится? Око за око, донос за донос. Когда Полина с ее оркестром укатила на гастроль по Квебеку, раздался звонок от этого кларнетиста вроде бы ни о чем – что Полина изумительная, и не только своей арфой, но и без и вообще без ничего – и повесил трубку. Вернувшись, Полина отказывалась от секса с Филиппом, а потом был аборт, впервые Полина ни в чем его не винила и скандалов не закатывала – тише воды, ниже травы, почему Филипп и уверился, что кларнетист отомстил ему как горестнику, хотя следовало виновнику, а на принципиальный взгляд Филиппа – виновнице: *la femme infidel*. Здесь он сходил с графом,

а тот корень зла видел в самковости Наташи Ростовской и похотливости Анны Карениной, которая ни разу не испытала оргазм в замужестве, а не в мужском напоре, то есть маскулинности Анатолия Курагина и Алексея Вронского – потому и бросил Анну под поезд, а не она сама, хорошо хоть смилостивился над Наташей. *Мужской напор* – из словаря Полины, которая в панике прислала ему тогда из Сан-Хосе, куда ездила на юбилей отца, признательную эсэмэску, что Филипп скорее улыбнуло, чем озаботило: виниться было вроде не в чем – легкий флирт, поцелуйчики, обжималки, ничего более, сама писала, что до главного не дошло, а называла себя последней дрянью, наоборот, по причине морального максимализма и абсолютной порядочности. Спустя, однако, Филипп стал подозревать, что клятая-проклятая та текстовка не покаянная, а обманная, белого и черного не называть, сплошь недоговоры и проговоры, да и само слово *напор* – эвфемизм.

– Я тебя не воспринимала как мужчину. Мальчик, товарищ, одноклассник.

– Даже когда я тебя всю перещупал и обцеловал.

– Даже.

Что Полина от него утаивала? Темнила – она и есть темнила: глагол и существительное. Это окаянное письмецо и сводило его с ума и свело бы на почве утраченного ею незнамо где девства, если бы Полина его не опередила: клинически и хронически, по диагнозу судя.

С чего начались те его подозрения, что он вошел в Полину по проторенному пути,

и задвинули остальные его ревности на задний план, будь то флоридское приключение с «дядей Володей» на глазах у дочери или с его телеколлегой, серым как вошь, она сама потом удивлялась, стыдясь не своей измены, в которой не признавалась, как и в любой другой, но своего падения: *о том что я вас пожалела я пожалела много раз*. Хотя дело тут не в жалости, а в неверной оценке: похоть искажает восприятие. Либо в патологии: как домашний пес вдруг ни с того ни с сего начинает поедать на улице собачьи экскременты – это не болезнь, а физиологическая потребность. Вот и Полине захотелось испробовать говна, потому и облажалась, с кем не бывает, в порядке вещей. А ее гипотетический гастрольный блуд? Если и

блудила, то без большого размаха, вряд ли по собственной инициативе – безынициативна, но и безвольна, чтобы дать отпор мужскому напору. Тем более, если у самой физическая тяга, слюнки известно откуда текут, и хотела бы не хотеть, но хотела хотеть сильнее, типа *мы провода под током*. Или та самая неискоренимая потребность в измене – наперекор робости, застенчивости, страху, о которой писал Маринетти?

Ни в чем Филипп не был теперь уверен, с фонариком не стоял, может вместо этих трех любовных интриг была только одна? Даже не интрига, а так – интрижка. Не отсюда ли ее апологетика одноразовой случайной измены – от скуки, из похоти или любопытства, по пьяни или в полусне, по слабоволию или из желания новизны, чтобы прервать замужнее девичество, да хоть по метеорологическим причинам – разомлела на солнце, как Ласочка, хотя Кола Брюньон ее так и не взял, что та не могла ему простить всю жизнь, ну да, солнцем полна не только голова, но все тело, включая солнечное сплетение с молодым вином, тусовочной вседозволенностью и всеобщим харевом? Заменяем командировку на летнюю гастроль – скоропалительный служебный роман, почему нет, когда ебота на всех парусах? Курортный роман, командировочный роман, гастрольный роман. Пик таких измен – лето: синдром 9-го дня для мужика – а для бабы? – когда совсем уж невтерпеж, живот сводит от похоти, типа судороги. Ну, еще пару дней накинем. Не потому ли Полина не согласна с Ларошфуко – что есть женщины, не изменяющие своим мужьям, но нет, которые изменили один только раз.

Однако мировой порядок рушился и летел в тартары из-за той эсэмэски из Сан-Хосе: если то письмо обманка, то и Полина обманка, а не просто вруша, и вся любовная жизнь Филиппа – обманка, начиная с их первой памятной встречи в Джульярд-скул. Под откос.

Технически целой Полина не была, никаких знаков девства – ни физических, ни психологических. Ни страха, ни крови, ни боли. Что Филиппа нисколько не смущало, когда он, наконец, дорвался до святого колодца – до того ли ему тогда было? Так сплошь и рядом. Было бы, наоборот, странно, если бы там хоть что сохранилось от этой жалкой дырявой перепончатой перегородки при ее собственной неистойвой, а потом его осторожной, любовной, альтруистской пальцескопии. *Еще не выросла, так рано я начала*, сказала как-то

Полина. С кем? Филипп отслеживал ситуацию вплоть до ее детства, у него возникла спасительная альтернатива с инцестом, изложенная «дядей Володей» в повести «Дефлорация». С ее слов?

Полина сама рассказывала, как проснулась голенькая на коленях у отца, когда тот шарил рукой у нее между ног. Рукой? Сколько ей тогда было? Полина помнит только, что маман в очередном запое в соседней комнате и что отец скоро ушел от них, но Полина продолжала с ним видеться. Есть разница между домашним совратителем и соблазнителем программистом из Сан-Хосе, хотя еще вопрос – кто кого соблазнил? *Скорее всего ты – мысленно или бессмысленно, бессознательно, подсознательно, а он – действием материализовав твое нетерпение – нет, не сердца, борзел Филипп. Это я возбудил и развернул тебя, затянув с пристрелкой, а выстрелил другой, закончив начатую мною работу, да? Секс меж нами был вагинальный, но не пенисуальный, без пенетрации, по моей робости и страху за тебя.*

Ага, виргогамия, пусть мы и женаты тогда еще не были, говорила ты потом, оправдываясь за свои калифорнийские приключения, которые незнамо чем кончились: Какое тебе дело до моего прошлого! Могла я распоряжаться своим телом? – И как же ты им распорядилась? – Как ты смеешь! Я же только теоретически. – То есть в теории ты полиаморка, да? – А хотя бы и так! Я, что, должна получать от тебя агреман на каждую влюбленность? Как мне надоели твои собственнические инстинкты! – Не собственнические а ля Форсайт ,а религиозные: йони – священное место, а не проходной двор. – Культ влагалища? – Именно! – Не сотвори себе кумира! – А что делать, если уже сотворил?

Пусть неженаты, но петтингом занимались всюю, и мне казалось, что это накладывает на обоих кой-какие обязательства. И тебе так казалось – зачем бы ты тогда писала то свое признание – или полупризнание? – покаянно-окаянное письмо из Сан-Хосе? Нет, не лгала, но сэкономила на правде, можно и так сказать, стыдливо, а потом ханжески утаивая ее укромную часть. Сколько раз ты пыталась рассказать намеками, экивоками, аллегориями, аналогиями – не прямым же текстом! Не твой стиль. Что скрывается за твоими развернутыми метафорами? Молчи, скрывайся и таись – откорректировав хрестоматийный стих, возведем

в твой принцип. Или – того же пиита – ...и тем она верней своим искусом губит человека, что, может статься, никакой от века загадки нет и не было у ней.

Загадки нет, а есть тайна.

Точнее, это я занимался фобическим петтингом, ты была голенькая, а я одетый, как на той картине Мане, обласкивая и общеловывая твои гениталии и не решаясь на полноценный коитус из-за моего, а не твоего страха твоей боли, которую мог тебе причинить. Священный ужас перед твоей кровавой промежностью, а теперь лелеемая мечта о ней – чтобы при мне, со мной, от меня, я бы вылизывал, как потом менструальную, твою девственную кровь, самую чистую и прекрасную на свете.

Ролевая игра, но взаправду.

Ишь чего захотел!

Размечтался.

Неопытным решением небес,

Или тайным их влеченьем к злодеянью,

Вы оплатить должны кровавой данью

Первины брачных, ласковых чудес.

И буйствуя, в нетронутый ваш лес

Вникаем мы, и как жрецы над ланью –

Над милым телом, преданным закланью,

Творим обряды жесточайших месс.

Страстная жертва страстного полона,

Так ты лежишь, закланница моя,

Затихшая без дрожи и без стога;

И над тобою приподнявшись, я

Гляжу – и каплет на девичье лоно

Кровь с моего живого лезвия.

Не с моего.

Не привелось.

Вот чего я тогда так боялся, а теперь ретроспективно из всех сил хочу. Взять прошлое приступом, чтобы изменить его, а с ним всю мою жизнь. Пусть боги сделают мне исключение, которое не делают даже для себя. Или без сомнений в ее девстве я не я?

Когда и этого не будет – конец любви? Ты меня спрашивала, помню, много лет тому: что будет, когда у тебя исчезнет желание?

В смысле – ты перестанешь у меня его вызывать или я сам стану безжеланный, то бишь импотент.

– Вся любовь у тебя ушла в ревность. Ты меня не любишь, а ревнуешь.

– Потому и ревную, что люблю.

Потому и люблю, что ревную. Ревность как эпитомия любви. Любовь как бесконечный приступ ревности – к настоящему и к прошлому, к другим и к самому себе. Ревную – следовательно, существую. Пока ревную, ты не стареешь и желанна в памяти и в реале. В памяти – иногда – даже сильнее, чем в реале. Время от времени, правда, перехожу на самообслужу, представляя тебя в разные мгновения нашей жизни, включая те, когда я не решился по робости, о чем теперь горько сожалею и буду жалеть всю жизнь, что из-за моей медлительности некто мог меня опередить. Из всех упущенных возможностей – главная. Нет мне прощения. Анагн, кисмет, фатум, рок.

Вот я и беру теперь реванш, онанируя, за свою гамлетову нерешительность, живо представляя ту, готовую, тепленькую, истекающую пригласительной влагой, будь я проклят! Дрочу на тебя по привычке, по памяти, по любви – даже когда ты рядом. Как в детстве, полный улет. В отличие от детства, трудно кончить – оргазм то есть, а то нет, как сейчас. А секс без партнерши, да еще без оргазма – какой же это секс?

С эрекцией порядок, зато воображение под конец отказывает, отлынивает, отстает. На эрекцию хватает, на оргазм – нет. Ну, никак не кончить! О этот желанный, возжеленный миг последних содроганий!

Нужна живая, трепещущая, ответствующая. И она есть у меня, руку протянуть, дай потрогать за ... А, что говорить.

Для кого я берег и сберег твою целочку, боясь причинить тебе боль и нарушить твою целокупность, вторгшись в святая святых, полагая святотатством, а если еще и кровь – преступлением? Вот и уступил право первой ночи незнамо кому, передоверив этот сладостную, сладчайшую миссию анатолу – стырим имя у графа, превратив в нарицательное. На смену робкому теленку, обхаживающему свою телочку-пубертатку, приходит племенной бык, которому ты, может, и не дала, если бы тебя не приручил самчоночек, изучив тебя и себя, не доходя до «главного» – твоё словечко. Как и

скотоводческая практика с теленочком и племенным быком – зачем ты о ней рассказала?

– А где гарантия, что я бы ему не дала, если бы у нас с тобой все произошло до Сан-Хосе? – теоретизирует Полина.

– Вопрос в первенстве. Так дала ты ему или не дала?

– Дурак! Ты совсем забыл меня. Какой там секс, я была дикарка в отношениях с людьми – с мужиками особенно. Недотрога. Витала в книжных эмпиреях, эволюционируя от «Алых парусов» до твоего Пруста. На книгах мы с ним и сошлись: он был еще тот книгочел. Это он открыл мне Джейн Остен, я даже ее имени не знала. Ко мне потому никто и не подваливал – казалась слишком серьезной для этого. А жаль.

– А почему задержалась в Сан-Хосе? Встречал тебя на Джей-Эф-Кей, как договорились, а ты не прилетела. Дома телеграмма, что удержишься на два дня, я снова в аэропорту, тебя снова нет. А прилетела неделю спустя, не предупредив, не отвечала на звонки, не хотела встречаться.

– Это совсем не то, что ты думаешь.

Полина заплакала.

Нет, что такое все-таки этот мужской напор? Давление? натиск? Sturm und Drang? Прямой словесный нажим «Я хочу тебя, и ты знаешь, что я хочу тебя, и что ты хочешь меня, тоже знаешь, мы оба хотим одного и того же» должен был действовать на тебя еще сильнее, безотказно. Как вернуть твое прошлое, которое я теперь открываю наново, в то изначальное состояние, каким оно было для меня прежде?

Ревность как любовное вдохновение? Что если, когда у нас интим, ты лежишь с закрытыми глазами и вскрикиваешь, вспоминая другого? Глажу тебя за ухом, притягиваю за шею, еще какие-то не мои жесты, но вдруг они напоминают тебя того случайного партнера, которого я пытаюсь вычислить и воспроизвести? Чтобы вытеснить из твоей вагины воспоминание о чужом хрене, который там был или не был – все равно? Реальный или вымечтанный? Не знаю. Даже если реальный, что с того? Можно ли отвечать за то, что с тобой происходит во сне? Какая там мораль, когда сугубо физиологическая чрезвычайка, если не вмоготу, позарез, никакого удержу. Да и зачем, коли так приспичило? Как пописать. Вот и описалась.

Что я несу? Это мне его хрен чужой, а не тебе, коли побывал в тебе. Да и мне он не чужой – по той же причине, коли побывал там, в родной и любимой твоей вагине. С его владельцем мы теперь вась-вась – свойственники и побратимы. Кто из нас прокси – он или я? Кто из нас пробник? Я тебя пробовал, но не допробовал, да? Если я твой первый мужчина, то он – нулевой? Дифаллусизм, сдвоенная пенетрация, пусть и с разрывом во времени, а теперь кажется, что одновременно: член об член – и всех делов.

А кто здесь третий лишний? Вестимо, соглядатай, вуайор и мнемозинист «дядя Володя». Читатель, конечно, догадался, что дядя Володя – это Владимир Исаакович Соловьев, автор упоминаемой прозы, включая эту. А Исаакович – чтобы не путали меня с другими владимирами соловьевыми – несть им числа самозванцам!

Оживляжа ради и на читательскую потеху перевоплотился я в своего умученного семейной жизнью героя, дав ему курсивное слово в этой моей про него и про его помешанную жену прозе. Любое перевоплощение имеет, однако, свои пределы, тем более мы с Филиппом не на одной возрастной волне и если бы встретились в подлунном мире и возник меж нами *bromance*, то стали бы мы в конце концов, *frenemies*, как Ван Гог и Гоген например, но без отрезания уха, разумеется. Еще вопрос, символом чего это злосчастное ухо является, нет в нем фаллического сходства, как в пальце отца Сергия или в носе майора Ковалева – скорее вагинальное, как в устрице. Разве что обрезанная эта мочка ассоциируется с крайней плотью?

Перед тем как возвратиться к третьеличному, остраненному повествованию – про себя любимого. Нет, не лирическое отступление – скорее авторское cameo с эпизодическим статусом. Не то чтобы автору наскучила собственная жизнь, и он живет чужими, паразитируя на них, что моя жимолость на деревьях, а писатель и есть паразит по определению, но исключительно по психологической необходимости – чтобы копнуть чуть глубже в этой моей документалке, лишь слегка замаскированной под художку. Пусть тяну одеяло на себя, но токмо чтобы приблизиться к одному из героев – к героине.

Да, наше с Полиной знакомство началось в Майами, где она вы-

ступала с оркестром перед местной русскоязыкой аудиторией, хотя Машинны доносы отцу опережали события, которые могли случиться, а могли и нет – у девочек ее возраста необузданное воображение на этот топик, а ее рассказ Филиппу и вовсе зашкаливал, будучи явлением ложной памяти. Может, я и не обратил на Полину внимания, если бы она на бис не спела, аккомпанируя себе на арфе, «Венгерскую песню самоубийц», которая произвела на меня – не на меня одного – гипнотическое воздействие. Вдобавок к эмоциональным аналогиям, я вспомнил странную такую эскимосскую арфу из рога марибу в Sitka Rose Gallery у Юджина Соловьева на Аляске с женскими лицами и танцующими фигурами на деке. После концерта я позвонил сыну в его клаустрофобную Ситку и спросил, продана ли она. Оказалось, нет:

– Sometimes an incredible piece of artwork has to wait for just the right customer to fall in love with it.

Узнал цену – кусается: \$975. Что делать – того сто́ит. И сказал Жеке, что я и есть тот самый the right customer, только влюбился я не в эскимосскую арфу, а в ньюйоркскую арфистку тех же приблизительно параметров.

– Вы откуда? – спросила меня Полина на пати после концерта.

Странный вопрос, право. Что она имеет в виду?

– С того света, – сказал я, дабы подчеркнуть разницу в возрасте.

– Адский отжиг. Ха-ха! – И тут же, без перехода: – А вы действительно писатель Владимир Соловьев?

– Я действительно писатель Владимир Соловьев? – спрашивает время от времени Владимир Соловьев Владимира Соловьева, страдая от своей внешней неадекватности созданному литературному образу, авторскому персонажу, моему alter ego, пусть и не один в один.

– Не уверен, – сказал я Полине. – У меня тоже на этот счет некоторые сомнения. Человек не равен самому себе, – и рассказал про датского критика Георга Брандеса, который, получив от Ницше его дагерротип, отвечал ему разочарованно: «Нет, не таким должен быть автор “Заратустры”!»

В Полине было что-то русалочье, рыжие волосы струились по ее узким плечам, подростковая внешность – если бы не прическа, скорее мальчуговая, чем девичья: безгрудая, узкие бедра, малень-

кая попка, отсутствующий взгляд серо-зеленых глаз, чувственный рот... – а что говорить, описание не в жанре моей лысой прозы! И одновременно что-то проституточье в сочетании с поведенческой невинностью, что безошибочно бьет по мужскому либидо, сужу по себе. Однако мой психостимулятор связан не только с ее сексапильностью, а еще с исчерпанностью жизненных ходов и литературных сюжетов автора-доживаго, или как говорят врачи, в возрасте дожития, который косит под того, кем является: смертника на той самой *роковой очереди*. Глянь в зеркало на свою жизнь – и ты увидишь Смерть за работой. Сердечная ошуда, типа того. Соскочил с дикого жеребца, воображение пасует, *nil admirari, красавице платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы*. Нет, обхожусь пока без виагры, но время от времени тайком принимаю пятимилиграммовый сиалис, вчетверо меньше положенной дозы – превентивно от простатита, а заодно для более длительной эрекции, которая и так наличествует – скорее все-таки подстраховки ради. Чтобы не только себе, но и партнерше в кайф. А теперь, наверное, наркотическая зависимость от этой чудотворной пилюли. Вот и перед очередной встречей с Полиной я сглотнул на всякий случай это снадобье. Хуже нет, когда не пригождается в деле и мучаешься всю ночь напролет от приапизма. Мужской вариант нимфомании.

А чем вызван интерес Полины ко мне? Геронтофилка несмотря на мальчика-мужа, младше ее на полтора года? То есть именно поэтому, ввиду безотцовщины, детство с матерью, отца видела редко, а здесь еще реже – тот жил в Сан-Хосе, где на своем юбилее и свел (ну, познакомил) Полину со своим молодым коллегой из Фейсбуки: вот я и подвернулся – взамен, позарез, отцовская фигура, да? Или просто застоялась в супружеском девстве – вариант инаколюбия? Возбудилась от моей прозы? А может *Williamssyndrome*, когда хочется обнять весь мир, а на поверку кто попадет – вот я и попался, дело случая.

– Он совсем не такой эротоман и сексоголик, каким представляется в своих опусах – выдает себя за того, кем никогда не был, – говорит о Владимире Соловьеве его жена Елена Клепикова, ушат мне на голову. В защиту? в укор? в укорот? Кто бы мог подумать, что *sexagenarian* без никакого отношения к сексу, но токмо к возрастной категории! Из того же ряда,

что septuagenarian, octogenarian, nonagenarian – дальше некуда. – У тебя рак? – это опять-таки Лена Клепикова говорит мне в ответ на мои возрастные ламентации.

– Хуже всякого рака. Рак излечим, возраст нет, – отвечает ей сексуально озабоченный сексагенарий Владимир Соловьев.

– Скажи спасибо. Не все до него доживают. А старость недолго длится.

Свой кадрез я продолжил, когда мы встретились с Полиной – не скажу, что случайно – в Нью-Йорке на вахтанговском «Дяде Ване»: первое действие она была уверена, что смотрит «Три сестры» и ждала реплики «В Москву!», что отвечало ее ностальгическому настрою, хотя она выехала не из Москвы, а из Питера. Она была не в теме, когда в антракте я сличал два разных сюжета, и как-то слишком горячо отстаивала свою неправоту, возбуждена без никакой причины, немного не в себе, ответы невпопад, разговор шел не по резьбе. Душевная безуминка – да, но не клиническое безумие, которое настигнет ее позже. Чтобы ее разубедить либо рифмы ради повел Полину в одноименную ресторацию, благо рядышком, где разморенная вином, она в конце концов смилостивилась над автором – не над Антоном Павловичем, а над Владимиром Исааковичем. Нет, не эйджистка, мы перешли на «ты» без всякого брудершафта.

– Постепенно начинаю к тебе привыкать, – и ни с того ни с сего сообщила, что по настоянию отца названа в честь Полины Виардо.

Аляскинская арфа из рога карибу ей глянулась, она долго ее рассматривала.

– Ты на меня потратился.

– Того стоит, – сказал я. На этот раз – вслух.

– Что ты имеешь в виду? Это в качестве аванса?

– Скорее взятка, которая ни к чему нас не обязывает. Там видно будет. В зависимости от обстоятельств. За наше знакомство.

Понадобилась еще пара каберне-совиньон, чтобы привычка стала второй натурой. Ненадолго.

Французское вино или московский спектакль тому причиной, но Полина вдруг ни с того ни с сего ввинтилась в спор о России незнамо с кем, потому что я помалкивал на эту тему. Я не сразу догадался, что это продолжение семейных споров, своего рода транс-

фер – не то чтобы Полина принимала меня за другого, но тот другой незримо присутствовал при нашем разговоре, превращая диалог в триалог, а может и в полилог, потому что, как я потом выяснил, их дочь Маша встревала в их споры, понятно, на чьей стороне. Настаивая на том, что я – это я, Владимир Соловьев, а не Филипп, тем более не Филипп с Машей в одном лице, решил утишить ее нервический ностальгизм, а потому смягчил собственную позицию:

– Да, Россию здесь иногда демонизируют...

– Хуже! - перебила недовольная Полина. – Расчеловечивают. Нельзя великую страну отождествлять со средневековой крепостью на Красной площади...

– ... которую оккупировали сейчас твои земляки, – вставил, чтобы снять с разговора серьезность и остроту. Как я заметил, однако, Полина была агеласткой и к иронии не склонна. И вообще слушатель из нее никакой, зато говорить горазда.

– Мало что им придет в голову! – продолжала Полина, проигнорировав мою реплику, пусть будет в сторону, как говорят на театре. – Кремль сам по себе, народ сам по себе. В параллель идут – государственная история и история народная.

– Иногда соприкасаются, – осторожно сказал я, и тут же пожалел о сказанном.

– Ты веришь в эти опросы?

– Конечно, 86% скорее всего вполнину липа, а другой половине просто все по.

*И чтобы спустить на тормозах:
Самих себя перехитрили,
смешали в кучу мать и бл*дь.
Без помощи психиатрии
умом Россию не понять.*

– Сам сочинил?

– Нет, конечно. Могла бы догадаться – психиатр. Мой тезка Володя Леви.

– Не люблю психиатров – сами шизики, вот и диагностируют другим свои психозы. То, что они принимают за безумие, – в природе мнимого больного. Может, как самая сокровенная часть его лич-

ности. А лечить такого человека – все равно, что переучивать левшу или гомика. – И неожиданно перешла на английский: – *Fall in love with the person who enjoys your madness. Not an idiot who forces you to be normal.*

– Это исходя из твоего личного опыта?

– Хотя бы. Что ты ответил психиатру?

– Взялся бы он за лечение этого массового психоза, спросил.

– А он?

– Дословно: *Был бы Господом Саваофом, пожалуй, взялся заметить мозги народонаселению. А поскольку всего лишь скромный бред-приниматель – кроме старичка сульфозина в жопу этим 86, пусть меньше, процентам измыслить ничего не могу.*

– А этот твой Леви из Москвы?

– Коренной москвич, а теперь живет чуть подальше, но в Москву наезжает.

– Не ему судить.

– Ты еще дальше от России, чем он, – возразил я.

– О чем очень жалею. Меня вывезли, не спросясь...

– Но ты была малолетка.

– Отец настоял. Он меня любил больше, чем своих детей от второго брака. Суд решил в его пользу из-за маминого нездоровья. Мог бы дождаться совершеннолетия и послать вызов из Америки. Он взял меня ради себя. Раньше любила его, а теперь ненавижу. – И без всякого перехода: – Я не люблю Америку. В какой стране мы живем! Что я здесь вижу, чудовищно говорит о Штатах.

Откуда мне было тогда знать, что это у нее не заковыка с Америкой, а заскок? Один из ее тараканов.

– Не надо только ее демонизировать и расчеловечивать, – снова шутанул я, увы, в деревянное ухо. – Как и Россию.

– Мне здесь все чужое, – печалилась Полина.

А не так, что она свои личные и творческие беды относит за счет эмиграции? В России она была бы того же бальзаковского возраста, что и в Америке, пробиться в сольные музыканты там тоже нелегко, а теперь искусство и вовсе не в почете, и решает не талант, а спонсоры.

– Так почему доктор Леви не может судить о России? В чем дело? В его фамилии?

– Запретный прием. Я не антисемитка. Перекати-поле может быть человек любой национальности. Иван, не помнящий своего родства, например. Хотя эмигре не скажу, что очень мне близки. Не по этнической причине – по топографической. Я питерских кровей не только по рождению, но и по натуре. Нет, москвичей признаю, но их здесь днем с огнем! Зато тех, что из российского подбрюшья, не очень жалую.

Солженицынский словарь, отметил я про себя, что немного странно в устах ее поколения.

– А как же муж?

– К нему это тоже относится. Одна из причин наших разборок. Будь он не обязательно питерцем или москвичом, из средней русской полосы, обоим было бы проще. А какого роду-племени – без разницы.

У меня мелькнуло, не слишком ли она настаивает на своей безпредрасудочности, но отнес к *нашей* излишней тонкокожести в этом вопросе.

– Так в чем тогда дело? – повторил я, возвращаясь к проблеме виртуального родства с покинутой страной.

– В пуповине. Она есть или ее нет.

– На таком физиологическом уровне связь может быть только с родной матерью.

– Она умерла, – сказала Полина.

– От чего?

– Не играет роли. Я даже не успела на похороны. Мы связаны с ней одним несчастьем. У меня чувство вины, что бросила мать, уехав с семьей отца, пусть он меня и любил. А я – его. Тогда. А мамане было не до меня. Не до чего. Вот он и настоял. – И нехотя: – Алкоголичка. Напивалась в хлам. Не от хорошей жизни. Была причина. Она не всегда была такой. А, что говорить. Еще хуже стало, когда отец ушел.

– Из-за чего? – полюбопытствовал я, хотя и сам уже догадывался, но у меня было две догадки, а потому хотел услышать от Полины.

Она подтвердила одну из них:

– Да. По той же причине. Напьется – и в скандал. Мне всегда ее жалко было. Отец ее презирал, игнорировал, третировал.

Почему папина дочка Полина теперь на стороне матери? Что-

то Полина недоговаривала. Одним из симптомов ее болезни, как я узнал поздней от Маши, была

некролатрия, разновидность некрофилии – любовь к предкам, идолизация умерших родаков.

Ревность мужа Полину не очень беспокоила:

– Есть основания?

– Даже если, что с того? Собственнические инстинкты. Я жена, а не собственность. Не имеет никакого права на узурпацию моей суверенной личности с вульгарно-хунвейбинским искажением моего прошлого. Есть масса других проблем, а он зациклился на ревности: был ли у него предшественник? Последыши его не колышут. Хоть здесь у меня относительная свобода. Зато моим прошлым вертит как хочет. В отличие от богов, меняет его по своему усмотрению. Я у него подопытный кролик. Ставит эксперимент за экспериментом.

Сюжет этот знаком автору не понаслышке, а по жизни – говорю не об изменах, а о ревности, для которой измена не позарез – и соответственно вариативно дан в моих опусах, за что заслужил упреки одной подруги имярек: *Разухабистый беззаконник, без стыда и совести подстраивающий чужую жизнь, чужой внутренний мир, чужое интимное и укромное существование, не имеющее к тебе никакого отношения, к своим низкопробным интересам и задачам.* Ха-ха! Выходит, не только мои дремучие мозги набекрень. Фрустрация на почве прошлого – дело не скажу, что обычное и привычное, но не такое уж небывалое. В отличие от Филиппа, не то чтобы мазохист, скорее юзер, ибо будучи писатель, страдание воспринимаю меркантильно – как стимул к самовыражению, как подкорм воображению. Сладчайшая мука ревности, упоение ревностью. Что бы я делал без ревности? Как человек, как муж (в обоим смысле), как писатель наконец!

А глаз тогда, во Флориде, я положил на Машу, но что с сопливки взять? Я чту уголовный кодекс. Зато с Филиппом у нас было о чем покалякать – могли поделиться друг с другом ревнивым опытом, о-го-го! Возраст – не помеха: не только любви, но и ревности все возрасты покорны. Ретроревность включая – во сне и наяву. «За что, старый?» говорит 90-летняя старуха мужу-ровеснику, получив ложкой по лбу. – «А за то, что не целкой отдалась!»

Ревнивые сны у меня, однако, на другой манер, чем у Филиппа. А с недавнего времени, после публикации моей ответной статьи «Ниже плинтуса» на слабоумные антисоловьевские инсинуации питерской приклатненной и загебизированной литературной мишпухи «на языке трамвайных перебранок», прибавился еще один архетипный сон. На ту мою статью последовал еще один на меня наезд, полный отстой, хотя я не всегда секу, человек косит под придурка или на самом деле дурак, а хуже всего, как в том случае, когда идиот притворяется идиотом, потому я счел ниже своего человеческого и писательского достоинства участвовать в этой низкопробной склоке, о чем и сообщил в письме в редакцию, кончив советом соловьевофобам, что коли им никак не уничтожить Владимира Соловьева литературно, как было замышлено, то не проще ли скинуться по рублику и заказать меня киллеру: нет человека – нет проблемы.

Активизируя мой шутливый совет, мне и стал сниться в разных вариациях сон, как я иду по какой-то необъятной площади в незнакомом городе с одной моей бывшей пассией, а теперь чиновной московской дамой, и она меня предупреждает, что уж теперь после той моей полемики они тебя точно убьют, ты не оставил им выбора, другого выхода у них просто нет, как еврей ты должен их понять, они уже скинулись, как ты им советовал, и заказали тебя: ты – мертвяк. Нет, ты должен их понять, убалтывает меня моя бывшая, все нужно доводить до конца: раз у них не вышло уничтожить тебя литературно, как было замышлено, что им остается? Ты же сам сослался на их тайного гуру: нет человека – нет проблемы. Или это уже я говорю ей? А потом я остаюсь на этой площади один среди многолюдья, где каждый может оказаться моим киллером, и просыпаюсь в холодном поту все еще на той площади среди сплошных убийц. Сон в руку? Вот Женя Лесин и написал недавно:

*Ты живешь за рубежом.
Не пырнешь тебя ножом.*

Не факт. Рука правосудия длиннее ног предателя.

И то сказать, у меня какая-то прямо-таки мазохистская потребность в зоилах – всегда первым вызываю огонь на себя, а потом уже отстреливаюсь – словом, разумеется. «Искусство плодить себе вра-

гов» Джеймс Уистлер написал не про Джона Рёскина, а про Владимира Исааковича Соловьева.

Короче, нашему с Полиной сближению я предпочел бы знакомство с ее мужем, которое в конце концов состоялось, когда представился случай, увы, печальный. Не больно я на нее и запал – скорее по писательской, чем сексуальной, нужде: дефицит сюжетов. Честно, всю свою любовную квоту израсходовал на Лену Клепикову, в этом мы с Филиппом схожи, минус его ревнивые безумства, хоть и не без того, но не в таком апокалиптическом масштабе, разумеется. Мы с ним потому и не способны на вторую любовь, что немислимо пережить еще один такой катаклизм. Я воспринимал Лену – и до сих пор – будто она одна на белом свете. Ну, понятно, с поправкой – притырив чужой стишок: *ты мир не можешь заменить, но и он тебя не может*. Мне одна герла так и сказала в интимную встречу: *Тебя нет. Ты – это не ты, ты – это она*. Само собой, гипербола. Хоть и с долей правды, да. Что если и у Полины была одна такая единственная за всю ее жизнь любовная вспышка, чем бы не закончилась в физическом смысле?

Не я первым – Стендаль, великий практик и теоретик любви, заметил, что бывает магическое мгновение в жизни женщины, когда она вся вызревает для любви, не так уж и важно, кто попадет в это время на ее пути: *Женщине впору тот придется, кто к ней в пору подберется*. Внешний фактор – дело вторичное, субъект важнее объекта, имманентное чувство, подобно неощутимому мгновению зачатия, таинство и тайна, а не рутинный трах. Правда, одна женщина сказала мне, что чувствует, когда это в ней происходит, – сильнее оргазма она не знает.

Касаемо женского оргазма, коли о нем речь. Не потому, что актуальный топик, а потому что Полина первой заговорила о *Дефлорации* – имею в виду мою под этим рискованном названием повесть. Как и следовало ожидать, Полине она не понравилась. Что меня удивило – не только как автора – так это причины.

– Ты выбрал банальный вариант: инцест как травма на всю жизнь. Откуда девочке знать, что на инцесте табу? Физически – и не только физически – она кайфует, даже если поначалу испытала некоторое неудобство. Любящий отец мог сделать это осторожно и безболезненно. И почему насилие, а не любовь? Обоюдная. Филипп

шутит: секс не повод для знакомства. Чепуха! Любой секс, даже одноразовый, сближает. Для женщины это не только физический, но и эмоциональный акт. Особенно с отцом, самым близким тебе человеком, первым мужчиной, коли из его семени. Даже если ты не подсматривала за своим зачатием или случаями твоей матери, будучи в ней фетусом, все равно, в бытовой тесноте ты не могла не наблюдать в детстве секс твоей матери с твоим отцом. Не знаю, как для мальчиков, но у девочек это вызывает жгучее любопытство и осознанное или неосознанное желание подменить мать в качестве партнерши. А если это твой любимый отец – тем паче. А потом это входит в привычку. И вы оба уже жить без этого не можете. И друг без друга.

– Ты говоришь, исходя из личного опыта? – не удержался я.

– Почему? На то человеку и дано воображение – не только писателю – он может представить нечто за пределами своего опыта. Читая книги, скажем. Как я твою *Дефлорацию*. Или из устных рассказов других людей. Мне здесь американская подружка рассказывала, что сношалась со своим отцом с малолетства до замужества. К обоюдному удовольствию: *I did it, and it was exciting for me. And I'm excited telling about it.* Понимаешь, она возбуждается, даже вспоминая об этом.

– И давно она замужем?

– Не первый год.

– Муж знает?

– Догадывается, наверное. Мне откуда знать?

– И она не сожалеет обо всем этом?

– Нисколько. Плохо другое – когда младший брат застукал их, а еще хуже – когда мать догадалась. Вот тогда и начался весь этот семейный ад. А, что говорить...

– Твоя подружка так с тобой разоткровенничалась?

– Больше, чем ты думаешь. – И снова перешла на английский: – *My body became pure sex. My father had made himself a sexual object for me, also. Two sex-machines. I had a stronger orgasm than any single one I had during my subsequent 18-year marriage.*

Я попытался сосчитать в уме, исходя из Машиного возраста, сколько лет женаты Филипп с Полиной. И зачем она переходит на английский, когда рассказывает об интимных делах своей подруж-

ки? По принципу острашения? Отчужденное признание? А не переделать ли мне мою *Дефлорацию* наново? И как случилось, что Полина увлеклась анатолем в Сан-Хосе? Кто там зачинщик – анатоль, Полина или ее отец?

А если это был вовсе не скоротечный флирт, а взаимная страсть, и анатоль тоже охвачен этим пламенем, а не просто сластолюбив и охоч до свежей девчатины, хотя ее девство было условием вспыхнувшей между ними любви? Первопричинный фактор для обоих. А не сослагательная дефлорация, которая может случилась, а может нет – разве в этом суть? В этом тоже, но как-то иначе. Даром что ли Полина так прикипела к этому противному английскому кино «Brief Encounter» и к шлягеру Сержа Генбура про самую прекрасную любовь, до которой так и не доходит дело. Потому что напряг физически несостоявшейся любви куда сильнее – упущенная возможность, чувство недобора, травма на всю жизнь. Не потому ли Полина так несчастна в своем супружестве с Филиппом? А ее анатоль – он теперь счастлив в своем Сан-Хосе или где он там сейчас, давно позабыв о том далеком любовном приключении с влюбчивой девчонкой из Н-Й? Кто задает эти краугольные в нашем сюжете вопросы – автор или герой? Или героиня? Не знаю. Пока что.

Обоснованы ли Машины подозрения относительно нас с Полиной, были ли наши отношения платоническими или тактильными – не все ли равно в этом гипертексте? Священное право писателя раскладывать сюжетный пасьянс как ему вздумается, а не пустить на самотек, полагаясь на разгул читательского воображения, часто ложного. В моей лабиринтной и лабораторной прозе главное не эффект присутствия – наоборот, отсутствия, то есть отчужденного присутствия: не отстранение, но острашение, когда вовлеченность в сюжет предполагает все-таки возможность выбраться из этой вовлеченности на свет божий. Ну как, например, в эротическом парке развлечений в нашем Музее секса на углу Пятой Авеню и 27-ой улицы, известного больше под аббревиатурой «[MoSex](#)», что созвучно, но вовсе не значит «Больше секса». Иммерсивная та выставка, на которую я выбрался, хоть был, как всегда, в замоте и цейтноте, шла под веселым названием «Funland», нечто совсем уж детское, как надувной аттракцион.

Здесь может возникнуть множество аналогий, опять-таки лек-

сически и семантически вполне невинных, пусть и двусмысленных. Ну типа анекдота с бородой: «Как живете?» – «Регулярно». Либо как мне недавно призналась одна знакомая на вопрос о супружеской жизни: «Да чего там! Попрыгали в кровати и заснули». *Без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви* – привет родоначальнику. А тут и вовсе безобидный такой аттракцион: по шесть человек впускают в залу с громадными, под Рабле или Рубенса, надувными игрушками, пусть и с эрогенным уклоном, на которых можно попрыгать в самом что ни на есть прямом смысле, без каких-либо сексуальных отклонений, паче извращений. Скорее такая неопасная акробатика, ну разве вас прижмет к незнакомому человеку. Хорошо еще инополого, а я вот боялся попасть в объятия соседа-атлета, что не порадовало бы ни меня, ни его. Мне, считай, повезло на существо противоположного пола – дама прекрасная во всех отношениях, с которой меня пытались спарить, когда нас подпрыгивало на резиновой основе и толкало в объятия друг друга помимо нашего желания. Да хоть и по желанию, все равно одни только касания, легкие и мгновенные, потому что нас тут же отбрасывает друг от друга. Весело – да, сексуально – нет. Если эротические артефакты превращают детей во взрослых, то подобные инсталляции превращают взрослых в детей.

Из этого надувного замка секса вернемся в наш замок любви, который мы возводим камень за камнем. На чем мы остановились? Ах да, на Маше, которая жаждет семейных скандалов, жить без них не может, а потому это она их провоцирует, а не автор этой иммерсивной прозы. Вся в мать, хоть меж ними и нелады, а для Полины скандалы – кормовая база и питательная среда.

А для Филиппа?

– Представь вместо меня другого, – шепчет он.

Или:

– Представь, что первый раз.

– Какая пошлость! – ужасается Полина, когда он кончает, не зная, кончила ли она вместе с ним. Может, потому у нее после соития стало портиться настроение, и лучше ее не трогать? PCT или скорее даже PCD? Post-coital tristesse? Post-coital dysphoria? Посткоитальное отвращение к партнеру? Филипп прежде считал, что это сугубо мужское чувство, которое лично он никогда с Полиной не

испытывал, не успевал, так как быстро возбуждался наново: ... *пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность, да? Да, да, да!* Не только Полине, но всем женщинам, с которыми свела меня судьба, пусть они это делали не ради меня, а себя ради. А они испытывают ко мне СПб? Вспоминают меня хоть иногда, как я – их?

Ладно, замнем для ясности. Но стоит Полине с Филиппом повздорить – инициатор обычно она – катастрофа всей его личной жизни, подменный образ, вместо родной девочки – незнамо кто, один скандал грандиознее другого: оскорбления, сквернословие, клокочущая злоба, кулаки и тумачи. Пусть ее оголтелая ненависть и делала его хуже, чем он есть, но заслужил, *mea culpa, mea maxima culpa, Jewish guilt*, казнил себя Филипп.

Он помнил как, когда и где был ею дефлорирован – *Господи, почему ты не дал нам девственную плеву, как им?* – когда они, наконец, решились – он решился! – но орудовал у самого входа, боясь порушить то, чего у нее не было, пока Полина сама не втянула его в себя: *«Глубже, глубже!»* Для меня это событие, но не для тебя, думает теперь Филипп. *Ты даже не помнишь, когда и где это у нас с тобой впервые произошло. Потому что у тебя это было не со мной, да? Ты помнишь другое, но помалкиваешь – мы помним разное?*

Или сама по себе дефлорация имеет значение для мужика и никакого – для бабы, которая спешит избавиться от этой жалкой перегородки и боится засидеться в девках как толстовская Кити? По любому, я – последний. У меня была в ту ночь плева, а у тебя – нет. Ты сломала мне целку, а не я тебе. Вот почему я придаю сакральное значение той встрече, а чему придаешь сакральное значение ты?

Что хранит твоя блудливая память? А когда один из нас умрет, то и спросить будет некого или некому. А сейчас – есть кого? Есть с кого?

– Он меня не касался, – *говоришь ты теперь, изолгавшись на корню, а как тогда он тебя поцеловал, не касаясь? «Короче, он меня поцеловал», писала ты, и что за мука теперь гадать, что за этим «короче» и чего эвфемизмом является слово «поцеловал». Что последовало далее и до чего у вас дошло: возбуждение? плато? оргазм?*

Лгать надо умеючи. А ты слишком бесхитростна, вруша из тебя никакая.

Это как в том анекдоте – нет, близости не было, только трахались – и больше ничего. Но спаривание в самом деле еще не близость, а простое трение нещеристых тел. А если еще в презике, то и ревновать не к чему и не к кому: фаллоимитация. Так с чего я шизую и шизею?

В презике или без – вот в чем вопрос.

Чмо я или не чмо?

Диагноз: сексофрения.

Что произошло тогда в Сан-Хосе? Был ли интим и до какой степени? С кем – знаю. Когда? Как часто? Один раз? В тот один раз – сколько раз? В презике или без? В презике не в счет – он тебя там не касался? Успела ли ты, вкусив запретный плод, почувствовать его сладость, смак и негу, или только горечь, оскомину, стыд и отвращение к самой себе? Последняя дрянь, последняя дрянь, последняя дрянь, кляла ты себя в текстовке из Сан-Хосе, а потом в письме отсюда сюда, когда вернулась в наш город с места совершенного или несовершенного преступления и отказывалась со мной встретиться, потому что последняя дрянь, последняя дрянь, последняя дрянь. Это ты так воспринимала, что с тобой тогдастряслось, как преступление, и кляла себя последней дрянью. Зато теперь вчистую отрицаешь – не то, что с тобой тогдастряслось, а свою какую-либо вину за то чтостряслось, и в конце концов стерла у меня в айфоне ту признательную записку, которую я знаю назубок, но хочу сверить копию памяти с твоим оригиналом – не с чем. Зачем ты уничтожила вещдок, подтвердив мои подозрения?

Ты рассказала мне всё? Что не досказала?

Кто первым проник в твою девичью щелочку – я или он? Кто сломал тебе целку? Почему «сломал», а не «порвал»? Где тонко, там и рвется, да? Разбудил в тебе женщину я, а кто тебя распечатал? Свальный грех или разнузданное воображение? Или воображение без тормозов соответствует бестормозному реалу? Хочу присутствовать при твоей калифорнийской дефлорации – тогда только успокоюсь. Пусть не на главных ролях, вприглядку, в замочную скважину. На кой мне правда, кою я и так знаю, но твоими устами, твоими словами, твоей интонацией?

Сны замучили меня. Я верю им и не верю – в зависимости от настроения. Даже если в них не всё – правда, то доля правды – вне всяких сомнений. Потому и сомнения.

Типологически, при всех вариациях и разночтениях, у меня до недавнего времени было два неотвязно преследующих меня архетипных кошмара, пока не прибавился на Лонг-Айленде утешительный сон-свежак про то, как я умер. Один – как я теряю тебя навсегда в какой-то запутанной питерской почему-то коммуналке, а когда пытаюсь возвратиться обратно, не могу вспомнить ни улицы, ни дома, ни этажа – стерто вчистую, как с хард-диска, без никаких следов. Другой – как ты рассказываешь мне про свои заключения в Сан-Хосе, описывая в подробностях, как у вас с ним все произошло, когда вы пили молодое вино и он тебя поцеловал, а я все спрашиваю и уточняю – всесильный бог деталей, всесильный бог любви – и мучаю тебя и себя озабоченными, а на самом деле садо-мазохистскими вопросами:

– Было больно?

– Да. И противно.

– А кровь? Кровь была?

Дефлорация в моем детском представлении – это кровоупускание, кровоизлияние, море разлитое крови.

– Да.

Мысленно слизываю с тебя эту кровь, как слизывал наяву менструальную, дико возбуждаюсь, просыпаюсь от мощной эрекции и слышу в ускользящем сне собственный голос:

– Но ведь было хорошо, не могло не быть хорошо, да? Кайф, лафа, утеха, балдеж, блаженство. Только скажи правду, умоляю тебя...

А как-то вариант этого сна с твоим признанием, что не один раз, как мне представлялось-подозревалось наяву, а многократно с этим твоим целинником, что было совсем уж неправдоподобно, а потому отвергнут как небывший – ни во сне, ни в реале. А потом приснился вуайеристский сон с моим присутствием во время твоей дефлорации. То, о чем я мечтал ретро – участвовать в ней со всеми мыслимыми и немыслимыми предосторожностями, вот и вымечтал, пусть и не со мной – в качестве стороннего соглядатая, кибицер проклятый!

Это ты распечатала во мне мужчину, а не я в тебе – женщину.

Ты досталась мне распечатанной, да? Сам виноват – измучил тебя больше, чем себя, своим воздержанием – вот причина того, что у тебя стряслось или не стряслось в Сан-Хосе, винил себя Филипп. Он жалел Полину, а она пожалела сама себя, когда решила, что от него толку мало, а там в Сан-Хосе представилась возможность, да и инициатива исходила не от нее: *мужской напор*, как она теперь говорит, хотя отрицает, что поддалась ему – скорее испугалась этой самцовости и в последний момент смоталась из Сан-Хосе, отослав Филиппу ту злосчастную текстовку с самолета с начальным объяснением: «Иначе не смогу с тобой встретиться», чему он прежде верил, а потом – нет.

Статистика ближе к французской, чем к американской: у нас здесь белые девушки теряют свое девство, как ни странно, только в девятнадцать, а там – в пятнадцать. Полине стукнуло уже шестнадцать, по понятиям их общей родины, совершеннолетняя, не говоря о том, что половозрелая, в чем Филипп убедился, когда перепробовал с ней все способы близости, кроме главного. Это он подготовил ее к главному, пробудив в ней женщину, а дальше, как в ее скотском рассказе: заводской бык взамен и на смену нерешительного теленка. Вместо неопытного однокашника – опытный бабник да к тому ж целколом.

Господи, какие это были золотые, счастливые годы подозрений и прозрений, пока у Полины не появились зловещие симптомы, которые Филипп поначалу принимал за возрастную порчу характера, а зловредная Машка не верила в ее болезнь до самого конца, несмотря на диагноз, который считала *misdiagnosis*: «Прикалывается». Вплоть до последнего скандала, Полина неистовствовала, как бешеная, кусалась, царапалась, норовила ухватить его за гениталии, в помраченном своем сознании принимая, видимо, за отца, который приставал к Полине, воспользовавшись тем, что мамаша, надравшись, дрыхла. Филипп защищался от жены подушкой, а потом схватил ее, задрал рубашку и больно отшлепал по голой попке, такой родной и любимой, что сильно возбудился. Вот бы и оттрахал ее, но он сам удивился этой своей реакции, и она воспользовалась заминкой, вон из комнаты, столкнулась с Машей, та пыталась ее урезонить: «Скандала не будет!» – «Будь ты проклята!» закричала Полина и выбежала на улицу. Где она бродяжничала всю ночь, пока он сходил с ума, а

Машка его утешала и успокаивала? Утром позвонили из больницы – слава богу, в целости и сохранности, но в полном беспомоществе.

Долго потом Филипп вспоминал, как шлепал Полину, возбудился, эрегировал и удивлялся сам себе – почему трепка не перешла в секс? А она, вырываясь, норовила ухватить Анонима за гениталии. Чтобы изувечить? Или это ему показалось? У Полины по преимуществу генитальный менталитет – поэтому она не всегда сознает себя, как в тот раз, сознание помутилось, принимала мужа за отца:

– Ты еще хуже! – хотя что может быть хуже?

А в ответ на первопроходца в Сан-Хосе:

– Я с ним не спала, но теперь жалею, что не спала!

Это ли не доказательство ее тогдашней невинности, когда в бессознательной злобе она бы выложила Анониму все как есть?

Как бы не так!

– Спала, спала, а потом косила под целку. Это ты, а не я, не та, за кого себя выдаешь. А тогда сама называла себя последней дрянью. Последняя дрянь и есть!

И только спустя Филиппа стало мучить, что стояло за этим «теперь жалею», если принять за правду? Жалееет, что не поддавалась мужскому напору? Или что вспышка любви не дошла до своего естественного физического апогея? Вариант все того же «Brief Encounter»?

Что общего у этой депрессивной, озлобленной, агрессивной, галлюцинирующей, хотя все еще желанной женщины с той девочкой, с которой они учились и романились в Джульярд-скул – Полина еще в своем питерском вундеркиндном детстве проявилась как арфистка, а он уже здесь в Америке обнаружил склонность к лицедейству? То ли такова судьба большинства вундеркиндов, то ли требования в Н-Й, где она оказалась с новой семьей своего отца, были в разы выше, чем в СПб, но талант ее, технически усовершенствовавшись, не то чтобы слинял, но здешней конкуренции с раскосыми в основном ровесницами она не выдерживала. Надежды на сольные концерты испарились сами собой, да и оркестры, с которыми она выступала, далеко не из перворядных, хотя и были у нее коронные номера на бис – «Ангелы Венеции», например. Еще она любила играть и петь «Мрачное воскресенье», которое сама переложила на арфу: песня своей инфернальной ворожкой действовала на публику

гипнотически – недаром после ее первого исполнения по Венгрии прокатилась волна самоубийств, а потому ее переименовали в «Песню самоубийц». Даже Филиппу, чуждому музыке, становилось не по себе. Он не любил, когда Полина исполняла ее. Как и ее некрофильские предпочтения в музыке – все эти реквиемы, шуберты и шопены с траурными и типа того маршами.

Нет, не в одной конкуренции дело, но Филипп не сразу догадался о первопричине ее творческого фиаско в Америке. Для становления таланта нужна еще железная воля, которая у Полины сломлена – мечтательность без целенаправленности? созерцательность взамен креативности? пубертатный секс в обгон сублимации? К психоанализу Полина относилась отрицательно не только за неизбежную симплификацию, но и: зачем все обговаривать словами, мысль изреченная есть ложь, песни без слов и проч. Тогда как Филипп, совсем напротив, полагался на трех своих кумиров, великих моралистов Монтеня, Фрейда и Пруста – «Что общего!» возмущалась Полина. – «А то, что все трое из тайников подсознания пытались вытянуть темные импульсы в *светлое поле сознания*» – прямая ссылка на Пруста с его мукой памяти, Полина когда-то его любила, а потом остыла. Зато к Фрейду, который вытащил человека на свет из тьмы, плохо относилась всегда, называла словоблудом и пустобрехом, негатив этот был с личным оттенком: что-то она о себе знала, но не хотела знать, тем более – чтобы знали другие. Даже в музыке Полина предпочитала тишину, а Филипп, которому гиппопотам на ухо наступил, не мог представить, что это такое. Он любил ее всю насквозь, не в последнюю очередь ее талант, оценить который был не способен ввиду его чужеродства с музыкой, хотя и вынужденно поднаторел за время близости с Полиной. Однако все его дилетантские высказывания о музыке Полина пресекала на корню, да Филипп и зарекся вторгаться в эту сокровенную для нее область после того, как она в очередной раз высмеяла его, когда, прослушав «Картинки с выставки», он опрометчиво ляпнул, что, хотя «могучая кучка» звучит двусмысленно, ему ближе всего Мусоргский, потом Римский-Корсаков и Бородин, а Чайковский последним. Он это сказал в пику Полине, которая любила Петра Ильича безмерно, но откуда ему было знать, что Чайковский в эту пятерку не входил? Даже его невинные «музыкальные» шутки – «А бывает женщина дирижер, а мужчина арфистка?» - По-

лина встречала в штыки, обзывая пошляком. С юмором Полина была не в ладах, а когда касалось ее святая святых, полагала кощунством.

Для Филиппа музыка была еще одним знаком ее уникальности, числитель без знаменателя, без никакой конкретики, Филипп с трудом узнавал исполняемые ею опусы. Уникальность сама по себе патология, а потому так трудно с ней было жить, а стало невыносимо, когда началась клиника. Бог любит множественность и игнорирует индивидуумов, включая гениев, уравнивая их с вырожденками, а кого хочет наказать за гордыню, лишает разума. Уж коли цитирую вышедшего из моды ввиду его вопиющей политнекорректности, но по-прежнему гениального Чезаре Ломброзо, то заодно без никакого намека на нашу героиню его мнение о женщине, как преступнице и проститутке.

И во всем остальном у Филиппа с Полиной было с точностью до наоборот, вразнобой, включая карьеру, хоть по уровню и интересам он и был с ней человеком того же культурного разбора. В отличие от нее, однако, не то что вундеркиндом, но никаких надежд он в своем феодосийском детстве не подавал, никто тогда не придавал большого значения его пародийным передразниваниям приятелей и взрослых, да и здесь, дело случая, на его паясничанье обратил внимание учитель литературы, который в параллель вел в их бруклинской школе драмкружок и присоветовал ему Джульярду, чему всячески противились его родаки, банально мечтавшие о врачебной, на худой конец дантистской карьере для своего отпрыска. Филипп, однако, настоял на своем и в школе проявил такую силу воли, которую кой-кто полагает заменой у евреев таланта – ну, вдобавок к таланту, дабы не прослыть автору юдоедом. Хотя Филипп был споловиненный и невоцерковленный, то есть необрезанный, как и его папа, но в отличие от него, агностик, а не атеист, по-здешнему, «a three-day-a year Jew», да и тех не наберется, скорее даже еврей одного дня, которым избрал почему-то Йом-Киппур, хотя Полина посмеивалась над традицией сбрасывать грехи в воду. Полина, та и вовсе ровно дышала к вере, будучи матерьялисткой до мозга костей, хоть и крещена в младенчестве по нынешней российской моде.

Короче, сошлись они в Джульярд по противоположности – еж и лиса по опять-таки общеизвестному определению, но он был упертый еж: актером не стал, но подвизался в телебизнесе и вел ток-шоу

на русском ТВ. Да и в отношениях с Полиной, хоть изначальная инициатива исходила от нее потому хотя бы, что была чуток постарше, но дальше уже он проявил завидную целеустремленность, убедив себя, а потом и ее, никем тогда не увлеченную и никакой надобой в увлечениях не испытывавшую, что одной его любви с лихвой хватит на обоих: она была его первой женщиной, а он ее первым мужчиной, хотя отдались они друг другу подростками, но не так чтобы разом, помучив друг друга с полгода. Это потом, годы спустя, после ее предполагаемых опять-таки измен он усомнился заодно в ее целостности, когда они, наконец, после долгих обнимок, касаний и поцелуев, начали жить полноценной половой жизнью. А тогда – ни тени сомнений. До чего же надо быть несусеверным легковером, чтобы говорить ей:

– Если бы не я, так и осталась бы на всю жизнь целкой!

– Нет!

Что означало это *нет* – прошлое время или сослагательное наклонение?

На этот раз Филипп решил воспользоваться ее отсутствием и оторваться по полной и свалил с палаткой на Лонг-Айленд, поручив их дочери посещать Полину и забрать из больницы, хоть меж них и нелады. Ну да, Маша во всех конфликтах становилась на его сторону, удивлялась его многотерпию и всепрощенчеству (*Ты – ангел, я бы не вынесла*) еще до того, как Полине был поставлен этот безжалостный диагноз, хотя, может, и ее прежние истерики объяснялись не характером или архетипом Полины и не безотрадным ее детством с непутевой мамашей-алкоголичкой и отцом, который пытался совратить Полину, а может и совратил, а клинически: нейробиологическими изменениями в подкорке на раннем, неопознанном этапе болезни, а не обычным психическим расстройством. Скандалы были и прежде с убежаниями и бродяжничеством, но чтобы среди ночи и на целую ночь?

Полина горько жалела о раннем замужестве, вынужденном беременностью, полагая, что случай подменил и подмял ее судьбу – личную и творческую. Впрочем, чем дальше, тем больше насчитывала она в своей жизни случайностей, которые исказили ее предназначение. Несчастье считала своей личной прерогативой и не то чтобы лелеяла, но жить без него не могла. Главным горем-злосчастьем своей жизни считала насильственный вывоз из России,

хотя признавала, что отец исходил из благих намерений, но именно ими и вымощена дорога известно куда: Америка и была тем адом, куда привели Полину благие и эгоистические намерения отца, тогда как ее судьба была тесно связана с судьбой матери, пуповина не разорвана. Как и с родиной, родина-мать, так и есть, пусть и оборачивается иногда мачехой.

У них не было русских телеканалов, ее американофобия питалась имманентными источниками. Любые новостные факты – будь то несправедливый судебный приговор, убийство полицейским черного подростка или оголтелая травля новоизбранного президента – Полина относила к коренным свойствам Америки: «В какой стране мы живем!» В параллель происходила ностальгическая идеализации России, что бы там не случилось. Чему немало способствовала гастроль ее бруклинского оркестра по городам и весям России с аншлаговым выступлением в СПб.

– Там все бы сложилось по-другому, а здесь я проиграла свою жизнь, – жалилась Полина.

– Вас так шикарно приняли, потому что вы из Америки! – убеждал ее Филипп, что было правдой, но не всей.

Сравнение питерской аудитории со здешней эмигрантской опять-таки было не в пользу последней. К тому же, нашелся у нее в Питере поклонник, она с ним теперь перебрасывалась через океан эсэмэсками – еще одна причина для ревнивых вспышек Филиппа, который становился для глубоко несчастной Полины главным козлом отпущения. Они тоже контактировали с помощью телефонных текстовок, хотя жили в нескольких метрах друг от друга, но предпочитали орально не общаться. Ну да, переписка из двух углов. Секс у них случался все реже и реже – к Полине было просто не подступиться, в таком мрачном душевном состоянии она находилась. «Я никогда не была счастливой», а Филипп в ответ на ее жалобы и нытье: «А кто тебе сказал, что человек создан для счастья, как птица для полета?» – «Неужели ты до сих пор не понял, что я неудачница? Жить не хочется – не вижу смысла» – «Ты и представить не можешь, как многие живут с тем же чувством». Психиатр шел по тому же пути, пытаясь лишить свою пациентку монополии на несчастье, что не она одна такая страдалница, типичное, а не индивидуальное, весь мир в слезах – есть от чего, страх не опасен –

нам нечего бояться, кроме своих страхов, депрессия – адекватная реакция на жизнь как температура на болезнь, а кто из нас счастлив? приглядитесь к другим горемыкам, и вы перестанете чувствовать себя такой одинокой, и ссылаясь на Достоевского: словно чин какой. Поначалу действовало, но Полина все глубже погружалась в несчастье, пока несчастье не стало ее *modus vivendi*, и все чаще заговаривала о самоубийстве. Душевное расстройство перешло в клиническое заболевание.

На нее и раньше находили вспышки ненависти к Филиппу, которые он тушил любовью, и Полина ответствовала – если не любовью, то страстью и лаской: мистер Хайд и д-р Джекилл. Пусть секс – это тупик, но служил для обоих отдушиной, типа защитного рефлекса друг от друга. В постели она была нежна с ним, скорее всего из благодарности за *неизъяснимы наслаждения*, ласкалась к нему и ласкала его, *голубчик, милый, зайчика, дитя*, но никогда я люблю тебя, а он повторял три эти слова ей как попка. Точь-в-точь, как у ее любимого шансонье: *Je t'aime moi non plus*. Да он и не требовал большего, чем получал от Полины. Уже то, что она ответствовала его страсти и была с ним иногда нежна – и на том спасибо.

Диагноз: нелюбовь.

Однако с течением болезни жгучая ненависть к Филиппу стала не просто идефикс, но доминантой ее личности, слабость превратилась в силу, хотя прежде было с точностью до наоборот. Она обидно отказывала Филиппу, преодолевая свою похоть: «Мне плохо, но не настолько». Обвиняла во всех смертных грехах – в том числе в тех, в которых он объективно, по времени, никак не мог быть замешан: они тогда и знакомы не были – скажем, в своей эмиграции. Либо в карьерных неудачах ее музыкантской деятельности – он-то здесь при чем? Либо обзывала насильником, хотя Филипп, наоборот, тянул с первым соитием – не путает ли она его со своим отцом или с кем другим, кто принуждал (или принудил?) ее к сексу? Подзарядив айфон, Филипп отправился в дюны и, найдя укромное место, стал листать ненавистнические эсэмэски Полины:

Никаких отношений – никаких, не нужен ты мне, оставь меня в покое, в покое, – мне без тебя рай, даже в памяти нет ничего хорошего о тебе, ничего. Еще раз: оставь меня в покое! Знать тебя просто не хочу!

Замученный, затравленный, оболганный со всех сторон и абсолютно несчастный в жизни с тобой человек. Не в силах больше тебя выносить и даже видеть.

Какая жалость, что я тебя встретила в жизни! Надо же, так точно промахнуться. Чтобы так не повезло. Моя жизнь без тебя сложилась бы совсем иначе. Это ты не знаешь, что такое любовь, а я знаю. Понимай под этим, что пожелаешь. Никаких больше выяснений несуществующих отношений. Как ты смеешь так издевочно и глумливо говорить о моих «убеганьях»? Неужели ты совсем перестал быть человеком? Да это самый страдальческий, мучительный, несчастный – увы, уже обычный! – в моей с тобой страдальческой жизни. Сколько раз я убегала из дома, со всех ног, только бы спастись – в слезах, в рыданиях, с колотящимся на разрыв сердце – от твоих кошмарных ревнивых скандалов, от грязных измышлений и мстительных издевательств (нет сил перечислять!) – и отдышаться, «выжить» на улице от твоей окаянности. И это ты называешь физкультурным убеганьем – это что-то уже монструозное. Прошу тебя, даже при очень сильной злобе, никогда не употреблять это гнусное выражение. Единственная форма спасения от твоей злокачественной мерзости.

Филипп все глубже погружался в чтение этих нервных, истеричных, безумных эсэмэсок и, странное дело, принимал сторону Полины и винил себя даже в том, в чем никогда прежде не чувствовал себя виноватым. Каждое ее обвинение оказывало на него обратное воздействие, и он вспоминал счастливые мгновения их совместной жизни – именно мгновения, потому что счастье, как он понимал, может длиться один только миг, будучи апогеем, апофеозом блаженства как оргазм. Он был счастлив и счастлив сейчас, как можно быть счастливым только во сне, и имя его счастью – несчастливая, несчастная, помешанная Полина.

Диагноз: любовь.

В эту, как оказалось, его последнюю лонгайлендовскую ночь с субботы на воскресенье у него был самый странный сон из ревнивого сериала – его смысл Филипп так и не разгадал. Если у него был хоть какой смысл. Филипп давно уже стал пленником своих снов,

а никак не отгадчиком – какие из них вещице, а какие пустяшные, ничтожные? Какие имеют отношение к действительности, а какие плод его смятенного сознания? Его маленькая жизнь была не просто окружена снами, она была во власти кошмаров, которые довели над ней и сдвигали реальность на задний план. Он верил и не верил своим фантазийным ревнучим снам, как верил и не верил невменяемой Полине даже когда она еще была вмняема, до вынесения ей приговора-диагноза. Хотя, конечно, краем своего разума Филипп понимал, что его сны, как и любые сны, имеют отношение к тому, кому они снятся, а не к тому, про кого снятся. Остальное от лукавого, да? Вот лукавый его и облукавил. Филипп давно уже потерял контроль над своим бредовым подсознанием, которое рвалось и вырывалось наружу по ночам.

Начинался этот дикий сон, как всегда, с признания Полины в своем грехопадении в Сан-Хосе, но дальше шла совсем уж абракадабра. То есть вопросы Филиппа были обычные, рутинные для этого архетипного сна – было ли больно, была ли кровь, зато ответы Полины необычны:

– Кровь? Какая кровь? Никакой крови. Боль? Почему боль? Как обычно. Никакой разницы. Знаешь, он тоже удивился – думал, что девица. Не стала его разубеждать, чтоб не чувствовал ответственности. А он, наоборот, расстроился. *Стал бы я тебя обхаживать, если бы знал.* Вот только не поняла – не стал бы вообще со мной связываться или что зря так расстарался. Разочарован, что я другая, чем он представлял, так и сказал. Только что курвой не обозвал. Совсем как ты. Только ты берег незнамо что и тянул и затянул дальше некуда, а этот взял меня приступом, овладел силой без никакой на то надобы. Думал, что целка и буду сопротивляться из последних сил. Потому и говорю *мужской напор*, физически, сексуально, чувствовала себя изнасилованной, а не в смысле стратагемы, как ты думал. Не только он во мне, но и я в нем разочаровалась. Нет, не только потому что насильник – мало мне, что ли, моего детства! А потому что совсем дурак. Милый такой, но дурак. Может, тем и милый. Запал на меня. Как и я на него. Потом письма в Нью-Йорк писал, объяснялся в любви, просил прощения. Однажды самолично явился – было дело, я тебе не сказала, чтобы зря не ярился. А ты почему не просишь прощения? Зачем вам все это? Из мухи слона. А если она

у меня еще не отросла эта клятая плева? У меня все с задержкой – даже месячные еще не начались. Помнишь, ты допытывался, когда у меня менструация, чтобы без презика в первые дни до и после? Потому, наверное, я не беременела. Или не потому? В конце концов подзалетела – вот Машка и родилась. Память что-то сдает, совсем не помню, что тогда было в Сан-Хосе. Да и было ли? Могла всё нафантазировать – и что трахалась с ним, и что у него толще, чем у тебя. Жила, как во сне. Как ты сейчас. Вот эта фантазия и переключевала теперь из моего сна в твой. Я тебе снюсь, Филипп. Меня больше нет.

От последних этих слов Филипп внезапно проснулся и бросился к айфону. Телефон молчал, батарейки снова сели. Включил в сеть и сразу стал листать сообщения. Последнее было от Маши: *Come to the hospital. ASAP.* Глянул на время отправления: только что, когда он проснулся. Никаких тревог, как прежде, когда Полина исчезала, и он сходил с ума от дурных предчувствий: *черные кошки перестали перебегать дорогу – не видят смысла.* Он понял все сразу, еще во сне: *Меня больше нет.*

– Умерла? – переспросила Маша. – Самоубилась. Впала в кому, я решила тебе не сообщать, что зря беспокоить, врачи обещали вывести ее на свет божий. Была с ней неотлучно напролет, засыпала рядом в кресле. Вчера вечером вышла из комы, узнала меня, была ласкова как давно в детстве, про тебя спрашивала, безумие покинуло ее – как надолго? Врач сказал, что ее состояние внушает ему осторожный оптимизм. *Тогда раскуйте меня!* – взмолилась мама. «А вы обещаете мне хорошо себя вести?» – улыбнулся доктор. – *Клянись!* Если бы с нее не сняли наручники... Я хотела тебя вызвать, но мама просила этого не делать: *Еще не оклемалась.* Попросила зеркало, пудру, помаду, я удивилась, так редко она пользовалась мейк-апом, для тебя старается, решила. Откуда мне было знать! И стала наводить марафет. Ну, макияж, – пояснила Маша. – *На кого я стала похожа! Филипп меня не узнает...* А потом послала меня за мороженым, которое никогда не любила. Странно, но я пошла.

– Это у нее с детства, когда она его любила. Съела как-то килограмм, ангина с осложнениями, с тех пор табу. Или аллергия.

– Какое? Шоколадное? Земляничное? – спросила я. *Обычное. Сливочное.* Я немного задержалась – попробуй найди ночью мороженое. Когда я вернулась с ее сливочным, а себе взяла шоколад-

ное – уж гулять так гулять, есть повод – мама мертва. Вырвала все трубочки и провода, которыми была подключена к жизненному обеспечению. Вокруг суетились врачи, но сделать ничего не могли. Ночь, даже дежурной сестрички на месте не оказалось. Поздно спохватились.

– Про мороженое были ее последние слова?

– Кажется, да. Нет, подожди. Когда я уже уходила, бросила мне вдогонку: *Ущербные люди опасны, от них надо держаться подальше.* Что она имела в виду? Решила, что бредит. Я обернулась, но она так ласково мне улыбалась своим напомаженным ртом, вот я и решила, что это я брежу от бессонницы, что мне это послышалось, и помчалась за мороженым.

Маша заплакала. Филипп неотрывно смотрел на Полину – она была красива как никогда. Или – как всегда?

На гражданскую панихиду народу собралось много. Само собой, оба состава бруклинского оркестра, включая кларнетиста, который был у Филиппа на подозрении.

Как и я. Коллеги Филиппа по телебизнесу, в числе других его завистник – а что если тот был влюблен в Полину, а не просто мстил ее мужу? А я был в нее влюблен или просто трали-вали? Если честно?

На этой панихиде мы с Филиппом и познакомились: лицо хорошее, умное, держался молодцом, хотя взгляд какой-то отсутствующий, в ступоре – на транквилизаторах?

Кто меня поразил, так это отец Полины, который сидел рядышком с Машей, внучкой – высокий, красивый, отлично для своих лет сохранился. Сколько ему? Моих лет, наверное. В отличие от меня, в молодости – легко догадаться – плейбой. Вот в кого пошла Полина, лицом схожи, хоть я и не видел ее матери. Легко представил инцестную эту парочку. Он вывез Полину, потому что уже не мог без нее? Как долго продлилась их связь здесь, в Америке? Почему он свел ее со своим коллегой в Сан-Хосе? Решив, что пора завязывать с их затянувшимся романом? И что теперь связывает его с Машей? Писательское мое воображение разгулялось.

В зале было много сторонних – из числа меломанов, так я понял. Были, оказывается, у Полины поклонники, как у арфистки.

Зал оцепенел, когда кларнетист сыграл «Венгерскую песню са-моубийц», которую Полина играла и пела по-французски на бис:

*Je mourrai un dimanche où j'aurai trop souffert
Alors tu reviendras, mais je serai parti
Des cierges brûleront comme un ardent espoir
Et pour toi, sans effort, mes yeux seront ouverts...*

Я умру однажды в воскресенье, когда чересчур намучаюсь. Тогда ты возвратишься, но я исчезну, свечи будут пылать как жгучая надежда, а для тебя, без усилий, мои глаза будут открыты...

Полина лежала в открытом гробу на подиуме, горели свечи, сбоку большое ее фото. Все избегали смотреть на мертвую, даже выступающие, хотя кафедра стояла вплотную к гробу. Не сразу догадался. Зеркальное отражение нашего собственного будущего. Это живые отличаются один от другого. У мертвых общее преобладает над единичным.

– По ком звонит колокол, – шепнул мне сосед.

– Не плачь о других – плачь о самом себе, – в тон ответил ему цитатой.

Я не очень вслушивался в речи вперемежку с музыкой, больше всматривался в публику. Меня удивляло, что мероприятие шло бесслезно, пока мой слабеющий слух не уловил сзади чьи-то прерывистые всхлипы. Я обернулся – на вид за сорок, лицо у мужика зарыданное, в шоке, вот-вот ударится в истерику. Или он уже прошел рыдательный пик? В отличие от других, он неотрывно смотрел на гроб, видя там не обезличенного мертвеца, а живую Полину.

Не один я обратил на него внимание. Похоже, он здесь чужак, мои расспросы ни к чему не привели, никто его не знал, выяснил только, что прибыл вместе с отцом Полины и сидел от него поодаль. Дурка из дурки? Проплаченный плакальщик? Профессиональный актер? Вариант Гекубы? Смотреть на него было как-то неловко – на него поглядывали и тут же отворачивались. Единственный, кто в упор на него смотрел – Филипп. Тут только до меня дошло. Нет, не полакомиться девятиной, а – вот именно! – *распечатать женщину*. Может, так и следует понимать библейское *познать женщину*, а там этот арамейский глагол относится исключительно к вирго?

На похороны я не пошел – кладбищенской эстетики чужд, все мы там будем в более подходящем, что ли, состоянии – в качестве главных фигурантов, а не маргинальных соглядатаев. Так чего торопиться?

Филипп задержался на кладбище дольше других, когда все уже разошлись. Дома он застал Машу сидящей на полу и разбирающей бумаги Полины. Ноты, фотографии, газетные вырезки, блокноты с записями и выписками из книг, стопка писем.

– Вот я нашла, – и протянула Филиппу папку с тесемками российского, похоже, происхождения. Откуда она у Полины? Привезла с российской гастроли?

– Что там?

– Сам смотри, – сказала Маша, не поднимая головы и продолжая разбирать оставшийся после Полины архив.

Филипп развязал тесемки и извлек из папки пожелтевшие почтовые конверты с вложенными в них письмами. На конвертах – два разных почерка. Большинство от отца, Полина никогда ему не показывала, да Филипп и не очень любопытствовал. Что было, то было и былшем поросло. Четыре конверта надписаны другим почерком. Марки на них были разные, коллекционные, тщательно подобранные, по две-три на каждый конверт, разной степени давности и стоимости, некоторые всего по несколько центов. На всех без исключения – композиторы: Стравинский, Бернстайн, Гершвин, Берлин, Лоу, Роджерс и даже наш Дмитрий Зиновьевич Темкин.

На почтовых штампах – Сан-Хосе.

Nomo fletus.

Впервые узнал настоящее имя этого анатоля, который не был анатолем ни в каком смысле.

Филипп нерешительно вертел конверты в руках, разглядывал марки, всматривался в начертание букв, пытаясь по почерку угадать характер отношений отправителя с его ущербной женой – будущей.

Чего гадать, когда вот она отгадка всех мучивших его вопросов. Не он один сходил с ума по Полине. Нет, не скоротечный, по-быстрому, флирт, совсем другое. Еще неизвестно, кто ее любил сильнее? А кого любила она?

Ориентируясь по датам, Филипп открыл клапан первого письма, сразу по возвращении Полины из Сан-Хосе, и потянулся за письмом.

Это было совсем-совсем не то, что ему приснилось в том последнем сне на Лонг-Айленде.

И тут он только заметил, что Маша подняла голову и испытующе на него смотрит. Филипп так и не понял никогда, что было в ее тревожном взгляде: осуждение? поддержка? любопытство? тревога?

А ведь могла быть не его дочь! *Какая жалость, что я тебя встретила в жизни!* Хорошо хоть чудное тело Полины было совсем еще не готово тогда к беременности – ни в Сан-Хосе, ни в Нью-Йорке. Маша родилась почти два года спустя после того, как они стали жить полноценной половой жизнью.

Филипп вложил письмо обратно в конверт, подошел к шредеру и включил его.

Диагноз.

Владимир Соловьев – русско-американский писатель, эссеист, журналист, мемуарист и политолог. В одиночку и в тандеме с Еленой Клепиковой напечатал сотни статей в престижных СМИ по обе стороны океана – от «New York Times» и «Wall Street Journal» до «Московского комсомольца» и «Независимой газеты», и издал несколько дюжин книг. Среди них «Yuri Andropov: A Secret Passage Into the Kremlin», «Inside the Kremlin», «Boris Yeltsin: Political Metamorphoses», «The Paradoxes of Russian Fascism».

Острые и парадоксальные, на грани фола, произведения Владимира Соловьева – такие, как написанная еще в России горячая исповедь «Три еврея», роман-биография «Post mortem. Запретная книга о Бродском» и исторический роман о современности «Семейные тайны» – неизменно вызывают шквальную полемику в среде читающей публики. В последние три года выпустил в Москве десять книг – пир во время чумы! – включая мемуарно-исследовательское пятнадцатитомное «Памяти живых и мертвых», предсказательную книгу о Трампе задолго до его победы на выборах и «США – pro et contra. Глазами русских американцев». На очереди новая книга «Диагноз. Секс, только секс и не только секс», из которой мы печатаем повесть «Диагноз».

Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

ПОЭЗИЯ

БЕРЕГА

А. Л. Иванову

Я вышел на берег
на берег крутой
и берег открыл мне
свой кладезь золотой

колосья теснились
на том бугорке
и золото листьев
стекало к реке

деревья сорили
горстями монет
и Феникса крылья
летели вослед

дрожала берёзка
как жалкий пигмей

бежала бороздка
в ладони моей
судьбу предрешала
грядущим маня

и почва дышала
в ногах у меня

В ЗООПАРКЕ*Константину*

1.

Рисуют мордочки зверей
на детских лицах.
Мальш,
иди сюда скорей,
в кого хотелось бы тебе
сегодня превратиться?
В панду, тигра, обезьяну,
выдру, змея, павиана,
бегемота иль слона?
Ох, фантазия нужна!
Но Костя смотрит свысока
на лиц круженье,
и не желает он пока
преображенья,
и мне на ухо шепчет он,
смеясь в ладошку:
я Константин,
но если слон,
то только
понарошку!

2.

Нависли тучи синие
над городом с утра.
На птиц из Абиссинии
глазееет детвора.
Они гуляют важные
по скошенной траве,
сидят рога нестрашные
у них на голове.
А рядом с ними куду,
застенчивый олень,

своих рогов два чуда
пристроил на плетень.
И внук в недоуменье
с вопросом к нам ко всем:
нужны рога оленю,
а птице он зачем?

3.

Октябрь на дворе,
но тепло как в июне,
и ветер топорщит листву чуть дыша,
а поздний утёнок,
скорлупку проклюнув,
головкою вертит,
на волю спеша.
Ему улетать никуда и не надо –
к услугам большой зоопарковский пруд,
и он поплывёт
маме-утке в отраду,
и хищные цапли его не убьют.
Они в сентябре на юга улетели,
и после их бегства вздохнул зоопарк,
а скольких утят они попросту съели,
об этом не знает и птиц патриарх.
Резвись, несмышлёныш,
ведь пруд подогретый,
тебе не замёрзнуть в нём даже зимой,
ты вырастешь в славного селезня к лету
в зелёной ермолке с лиловой каймой.

ФИАЛКИ

В туманной неба перспективе
сегодня полная Луна
над мутным зеркалом залива
висит достоинством полна

но недоступно созерцанье
ей приближённого к земле
и только дождь воспоминаний
рисует образы во мгле

восходит утро
нежной лаской
смягчая пропасть синевы
и фиолетовые глазки
фиалок смотрят из травы

ПИКНИК

Пикник – это дело святое
особенно в праздничный день
пусть туча подворье накроет
и тень наведёт на плетень
пусть дождь зарядит не на шутку
в машине продержит полдня
но солнце привычным маршрутом
на небо выходит дразня
лучом золотым предвечерним
скользит по намокшей траве
и профиль янтарный очерчен
любовью к свершённой судьбе
разлитая в воздухе нега
вползает в сердца и тела
как будто опомнясь от бега
дневные слагает дела
ломились столы от закусок
в коляске малыш отдыхал
и мне македонец безусый
рубашку вином пропахал
смеркалось
пикник утишался
за тучей гремел фейерверк
и берег реки обнажался
и звёзды спешили наверх

Сижу на веранде с Верленом в руке
рассвет не спеша расцветает
а солнце бежит по зелёной реке
и искры на ней рассыпает

мне счастье своё не постичь до конца
а ветер
союзник невольный
стирает усталость с ночного лица
и платьем играет фривольно

в стакане парное дрожит молоко
и хлеба ломоть под тряпицей
я в юность сбегая
бездумно
легко...

но заново мне не родиться

Я больше не твоя
и прежняя любовь
ушла
обременённая пространством
и песнь учла
мотива жёсткий крой
сквозь пик взведя
к полоске дальних странствий
где мы с тобой
когда-то обретя
неповторенье городов и весей
плели гирлянду жизни не шутя
её печаль с небрежностью завесив
небрежность обернулась пустотой
сглотнувшей счастья блёклые приметы
как лист осенний за пределом лета

истлел в ничто
столкнувшись с мостовой

Тетрадка в клеточку
обложка
блестит как рыба чешуя
перо выводит неотложно
узор словесного шитья

печаль течёт по всей странице
стекает на пол
на подол
и отсвет гаснувшей зарницы
ныряет в сумеречный дол

и обезлюдившая площадь
вобрав влюблённые сердца
лениво флагами полощет
не засыпая до конца...

ДЫМ СЧАСТЬЯ

А.Е.

Когда-то я ушла во мглу
оставив счастье на развилке
любовь упрятав под полу
и свет не чувствуя в затылке

и странно
много лет спустя
я к той развилке обернулась
и чувство прежнее грустя
во мне нечаянно проснулось

и страх осилив позвонить
читала новое начало
но в трубке –
некого винить –
в чём дело?
тускло прозвучало

и жизни снова разошлись
судьбу оставив на распутье
и счастья дым
взлетевший ввысь
смешался с безучастной сутью

УТРЕННИК

Кружится вихрь
сметая лето
с садов
уоставших от хлопот
и инея седая мета
на землю утром упадёт
прозрачно выцветшее небо
поникли поздние цветы
подсолнуха печальный жребий
довёл до полной нищеты
и режут крыльями вороны
осенней горечи настой
а солнце утешает кроны
деревьев
плачущих листвой

Мне не дано случайно умереть
ни в авиа
ни в автокатастрофе
придёт мой час
и оторвётся твердь

от ног моих
ступающих к Голгофе
на жертвенный алтарь не положить
что отошло за точку невозврата
и непризнанья мне не пережить
и плоть не будет на кресте распята

и паруса не срезать кораблю
зелёный шум не остудить порошей
нет в мире чувства пламенней и горше
любви
а я любила и люблю

и мне дано любить на склоне дней
и мне дано любить тебя до срока
который обозначит Гименей
и не заставит выплатить оброка

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНЬЯ

Сегодня День Благодаренья
в природе умиротворенье
тепло
лишь свежий ветерок
тревожит высохшие листья
и неизвестных ягод кисти
карминно просятся в лубок
их даже птицы не едят
то ли невкусно
то ли яд

далёкий колокольный звон
стекает вниз по переулку
собак выводят на прогулку
малыш ползёт через газон
и жжёт висок стихотворенье
сегодня День Благодаренья

ОБЫВАТЕЛЮ

Тебе не перейти Майдан
и выйти на него не выйдет
в умах сгустившийся обман
не так-то просто правдой выбить
завеса плотно налегла
на голос разума
и песня
свободы мимо проплыла
и растворилась в поднебесье
немногим смысл её понять
удастся до скончания века
лишь тем
кто смог уста разъять
в себе упрочив человека
а ты сгниёшь в своей норе
смирившись с властью незаконной...

Уж лучше сгннуть на костре
чем в пасти гнусного дракона!

Пал первый Рим
за ним исчез второй
и третий упадёт
и будет крах бесславен
раздавлен всё сметающей толпой
и на века толпою обезглавлен
добра со злом как видно бой неравен
и обречён безжалостной судьбой

И нет страны в которой я росла
и близких нет
с которыми выросла
давно в земле истлели их тела
но по земле моё блуждает тело

ему блуждать ещё не надоело
пока планету не накрыла мгла

Мой Боже, береги планету
и мне дозвошь дожить до света...

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Ты носишь крест внушительных размеров
но Бога не было и нет в твоей душе
на трон взобрался ты разбойничьим манером
и разум твой снесло на вираже

и безнаказанностью власти опьянённый
ты мнишь
что завоюешь целый мир
но бьёт тебя приверженность влюблённых
в свободу
в независимый эфир

ты можешь лгать
но правда перетянет
с ушей спадёт прилипшая лапша
грядёт гроза
и очищенье грянет
взойдут глаза за истиной спеша

и правды луч прорежется сквозь тучи
коснувшись душ не тронутых враньём
и обоймёт возмездием летучим
метнув копьё в холопства окоём

И я тогда сполна открою веда
уверенная в собственной судьбе
которую с признанием изведав
запечатлею словом на губе

Марина Тюрина-Оберландер – поэт, прозаик и переводчик.

Член Союза писателей XXI века. Родилась в Ленинграде в семье выдающегося ученого-почвовед, академика И.В. Тюрина. По образованию филолог-скандинавист. С 2000 года живет в Вашингтоне.

Переводы печатались в «Литературной газете», журналах «Иностранная литература» и других, альманахе «Поэзия», антологиях «Современная датская поэзия», «Современная норвежская поэзия». Книги «На остром рубеже пространства» (Водолей Publishers, 2008 г.), «Музыка слов» (Водолей, 2013 г.).

В 2014 г. на стихи Тюриной-Оберландер вышел альбом романсов и песен «Когда врывается любовь», музыку к которым написал композитор Виктор Агранович.

Она – член редсовета журнала «Времена».

Виталий РОЗЕНШАЙН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ИЗ ФЕЙСБУКА

Наше компьютерное время раздвинуло творческие рамки, мы за редчайшими исключениями присутствуем в Сетях, опутаны ими, жадно обмениваемся новостями, обсуждаем события, спорим, ругаемся, иногда нецензурно, что не делает чести поклонникам ненормативной лексики.

Среди тех, кто весьма активен в Фейсбуке, выделяю жителя Нью-Йорка Виталия Розеншайна, чьими заметками и постами я нередко восхищаюсь. Непрофессиональный литератор, он тонкий наблюдатель быстротекущей жизни, со своим особым взглядом и отношением, умением подмечать смешное и поучительное в самых банальных ситуациях. И словом владеет не хуже нас, профи. И вот в мою запыленную редакторскую голову закралась крамольная мысль: почему бы не познакомить читателей ВРЕМЕН с фейсбучным творчеством этого человека? Да, аналогов в «толстых» литературных журналах я не встречал, но это ровным счетом ни о чем не говорит. Мало ли чего не было – так будет!

Надеюсь, вы, господа, меня не осудите за смелую инициативу и получите удовольствие от умных, ироничных миниатюр Виталия.

Давид Гай

СОВЕТСКОЕ...

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала...

Уже более двух лет как закончилась война. Я перешёл во второй класс. Каникулы. По вечерам в заводской столовой в 6:15 и 8:15 крутят фильмы. Столовая стоит на крутом волжском обрыве. Я жду первый сеанс. Сажу на обрыве и наблюдаю за тремя пацанами, которые внизу, подо мной, у самой воды возятся вокруг пушки. Они из

нашей школы: Витя Кесов из 4А – однокласник моего двоюродного брата, Донсков из 3Б и

Славка Вартахвостов-малолетка. Эту пушку я знаю давно, с лета 45-го. Её знают все пацаны нашего Нижнего Посёлка, прилепившегося между заводом «Баррикады» и волжским обрывом. Ржавая, ствол забит речным илом – в половодье её заливают – совсем не страшная. Почти каждый день мы играем вокруг неё в войну.

Пацаны пытаются ломом выбить из казённика латунную гильзу. Если её сдать в металлолом по 5 копеек за килограмм, то хватит на порцию молочного мороженого за 10 коп., но на пломбир за 15 коп. не хватит. За пацанами, кроме меня, безучастно наблюдает женщина ВОХР в синих галифе, зелёной гимнастёрке, с винтовкой на плече. Она стоит шагах в двадцати от пушки за оградой из колючей проволоки – охраняет заводскую водокачку.

Раздаётся взрыв. Взрывная волна бьёт в грудь, опрокидывая меня на спину. В нос ударяет запах пороха. Поднимаюсь на ноги. Дым относит в сторону. Вижу: Донсков лежит в стороне от пушки, Славка сидит на земле, закрыв лицо руками, а Витя Кесов стоит на коленях около воды, зачерпывая ладошкой воду, промывает глаза и плача повторяет:

– Тётя, я не вижу, тётя, я не вижу...

Он больше никогда ничего не увидит – взрывная волна вывернула ему белки. Донскова похоронят, а Славка останется со шрамом через всю щеку и 5%-ным зрением одного глаза.

Пушка с развороченным стволом ещё долго будет стоять на берегу Волги, пока её не заберут на металлолом. Больше мы никогда около неё не играли.

Кесовы. Вопрос к богу

Семья Кесовых жила в покосившемся деревянном домишке, уныло вросшим в землю позади наших кирпичных домов. Отец семейства, вернувшись с фронта, работал каменщиком-трубокладом в строительном управлении. Мать – уборщицей в хлебном магазине. Старший сын Витя, десятилетний в ту пору, учился в одном классе с моим двоюродным братом. Пятилетняя его сестренка нянчила полугодовалого братика Юрика.

Несчастье вползло в эту пролетарскую семью с волжского берега, где Витя ослеп от взрыва, когда он с пацанами выбивал застрявший в казённом пушки снаряд, чтобы сдать двухкилограммовую латунную гильзу в металлолом.

В этом же голодном 1947-м году арестовали мать. От недоедания она потеряла грудное молоко, украла буханку чёрного, пополам с отрубями хлеба, которую так и не донесла до троих голодных детей. Её судили. Приговор – пять лет лагерей.

Пятилетняя сестренка не углядела за шустрым братиком-ползунком, и он свалился с печки, повредил позвоночник и остался на всю жизнь горбуном, инвалидом-колясочником.

Добралось несчастье и до отца. Ещё до выхода жены из заключения он сорвался с лесов при кладке 30-метровой дымовой трубы, разбился, был похоронен за счёт пролетарского государства и оплакан тремя сиротами. Жену на похороны из лагеря не отпустили. Детей поместили в разные детдома. После лагеря мать долго их разыскивала. Разыскала, забрала всех, и только старший остался в школе-интернате для слепых.

...В конце интервью журналист Владимир Познер от имени Марселя Пруста обычно задает своим гостям вопрос: «Что вы скажете богу, представ перед ним?» Я бы его спросил: «Их-то, Кесовых, ты за что?»

Что бы он мне ответил, если, конечно, он есть?..

Гражданская казнь

В первые послевоенные годы наша школа располагалась в наскоро восстановленном здании одного из заводских цехов.

Уже год как я ношу красный галстук пионера. Мне очень нравится его носить. Он такой красивый, шёлковый, в отличие от сатиновых, которые носят другие ребята. Май, скоро конец учебного года, на утренней линейке построены все четыре класса нашей начальной школы. Директор школы, как обычно, говорит о том, что надо хорошо учиться, любить Родину и Сталина, с честью носить пионерский галстук, быть достойным гражданином... Она ещё что-то говорит об учениках, которые не слушают учителей, невнимательны на уроках и тем позорят честь советского пионера.

Я улыбаюсь: такое ласковое солнышко, так густ и сладок аромат акаций и сирени, так близки каникулы, а директриса уже смотрит на меня и приказывает выйти из строя. Я ещё ничего не понимаю, а она на глазах у всей школы со словами, что я и есть тот, кто не достоин носить имя пионера, уже развязывает и снимает мой такой любимый галстук.

В стране разгоралось пламя борьбы с «безродными космополитами» и, скорее всего, директор начальной школы №31 Баррикадного района города Сталинграда Нина Ивановна Быкова, изгнав из пионеров еврейского мальчика, поставила галочку в отчёте о проделанной работе по борьбе с космополитизмом.

Как выглядит голод

Конец мая 1963-го – второго года и, по совместительству, половины срока моей армейской службы. Ещё не «дед», но уже и не «салага». Один из моих последних подвижных караулов – сопровождение химических боеголовок с Химзавода на один из испытательных полигонов в Саратовской области. В стране (на страницах газет и ТВ-экранах) разворачивается уборочная страда, наполняются закрома Родины, ширится социалистическое соревнование...

Наш эшелон медленно, буквально ползком, движется по выжженной степи. Подолгу стоим на каждом разъезде, полустанке – уж больно опасный груз, не приведи господь, если растрясёт и нарушится герметичность контейнеров или, того хуже, попадём в столкновение или какую другую аварию – страшно даже подумать.

Пересекаем на север Волгоградскую область. Редкие комбайны косят на солому сгоревшую пшеницу. Въезжаем в саратовские степи. Пейзаж – голливудский апокалипсис: серая сожжённая солнцем земля (а ещё только конец мая), разорванная трещинами, с редкими, как недельная щетина алкаша, засохшими колосками высотой в две ладошки, что и комбайну не срезать даже на солому, и бродящие по этому «жнивью» тощие колхозные коровы.

Станция Медяниково. Станционное здание – покосившийся с выбитыми окнами сарай. Людей не видно. Наш вагон с продукцией самой мирной державы и теплушку отгоняют в дальний тупик. Стоим день, стоим два... Сухой паёк кончился. Военного коменданта на

станции нет, пополнить паёк не у кого. Начальник караула сержант Иван Благородов – казак из станицы Вёшенская (рассказывал, что лично от Шолохова получил поллитру белой в оплату за уборку в приусадебном саду писателя) даёт команду:

– Свободная от караула смена – рядовой Глинянов, рядовой Уджуху и рядовой Розеншайн – ко мне. Слушать мою команду. Двое с правой стороны, третий с левой стороны станции одновременно и как можно быстрее подняться к чердачным окнам, проникнуть на чердак и распределиться так: рядовые Глинянов и Уджуху закрывают собой чердачные окна, чтобы не дать голубям улететь. Рядовой Розеншайн ловит как можно больше голубей. Выполняйте!

Голубей на чердаке уйма. Взбудораженные нашим вторжением, они вихрем заметались по чердаку. Почти во тьме я хватал их на лету и засовывал за пазуху гимнастёрки.

Почти до вечера мы общипывали и разделявали с десятков голубей, что удалось поймать, чистили и отстирывали с одежды следы борьбы с ними. Потом варили из них бульон и под рассказ сержанта о том, что в голодном 47-м их семья выжила за счёт станичных голубей, сытые уснули с набитыми желудками.

А утром-то есть опять охота, а есть-то нечего. Сержант зовёт меня:

– Витя, сходи в деревню. Может, в сельмаге чем разживёшься. А может, у людей, должны же они понятия иметь.

От станции до деревни километра три. У крайних изб на куче брёвен сидят небритые мужики. В синих застиранных дырявых майках, в портках, заправленных в носки и обутых в галоши, на головах мятые кепки с поломанными козырьками, дымят козьими ножками. Прохожу мимо. Они, как по команде, приподнимают кепки. Один из них мне:

– Ты чей? Не Мерзляковых будешь?

– Нет.

– А чо к нам?

– В сельмаг. Поесть купить надо.

Мужики переглядываются и усмеваются:

– Он у нас третий год как закрыт.

– А чо же мне теперь делать?

С брёвен поднимается один из мужиков:

– Пойдём со мной.

Идём широкой и пыльной деревенской улицей. Полдень. Жара. На улице пусто – ни людей, ни живности. Какие-то убогие избы за покосившимися заборами. По дороге рассказываю мужику о наших проблемах. Заходим во двор. Мужик кричит кому-то:

– Клава, собери чего-нибудь, солдата покормить надо.

Из дома выходит женщина:

– Пойдём на кухню, я тебе уши налью, муж утром наловил.

По земляным ступеням спускаемся на кухню, что слева от дома наполовину под землёй. Женщина ставит на стол миску с ухой, тарелку с мелкой рыбёшкой. Отрезает ломоть ржаного хлеба.

– Поешь, сынок.

Уха горячая, жидкая, без картошки. Жадно ем и думаю, что ребятам-то принесу. Доел. Женщина ставит на стол полную кружку:

– Попей, я из дичка компот сварила.

Компот кислый, без сахара.

Заходит мужик. Выкладывает на стол сайку чёрного хлеба, несколько луковиц и десяток яиц.

– Возьми, ребятам отнесёшь.

Выхожу со двора. Мужик догоняет меня:

– Погоди.

Достаёт из кармана огурец, обтирает его об штаны, протягивает мне:

– Первый, ещё не успели, только один нашёл.

Накормил я караул этими дарами, а к вечеру подцепили нас к составу и уже утром мы, как деликатесом, наслаждались перловой кашей с мясом в солдатской столовой части нашего назначения.

Бабушкины страхи

Моя жена перед нашей свадьбой поехала в Ленинск Волгоградской области сообщить любимой бабушке Пелагее о скором замужестве.

– За кого же выходишь? – спросила бабушка.

Жена назвала мои имя и фамилию.

– Больно чудная фамилия. Он, чо, не русский?

– Он еврей.

- Яврей, – с ужасом произнесла бабуля, – и ты не боишься?
- А чего бояться-то?
- Они ж нашего Христа распяли, – прошептала бабуля.

Я написал «бабуля», потому что я очень любил её и не только за её вкусные шанежки. Она никогда больше не поднимала эту тему, видимо, убедив себя в том, что муж её любимой внучки не мог участвовать в этом деле.

Пусть земля будет ей пухом.

«Кто-то теряет, кто-то находит» – спела когда-то Пьеха

Как же она была права! Был у меня давний, с молодых ногтей, знакомец. И был он гигант секса, т.е. имел всё, что двигалось и до чего мог дотянуться. К слову, смолоду и до сей поры женат одним браком. Всю жизнь жена знала о его похождениях (ну невозможно спрятать то, что не прячется). Ни скандалы, ни просьбы не помогали, и она смирилась. Пока не грянул гром, то бишь, не хватил его кондратий, в смысле инсульт.

При выписке из больницы врач печально сказал жене, что, мол, речь и двигательные функции со временем восстановятся, а вот, добавил он скорбно, мужская функция утеряна навсегда. Жена глубоко вздохнула. Доктор подумал: «переживает», она подумала: «наконец-то». Этот день стал самым счастливым днём в её жизни.

Проверка на правительственной трассе

Случилось это в Волгограде в конце 60-х или начале 70-х. Работал я тогда прорабом на строительстве завода «Пьезокерамика», что до сих пор стоит на Самарском разъезде. Завод строился вдоль дороги, что вела от аэропорта к центру города (по-моему, называлась Шоссе авиаторов). В народе у дороги кликуха была правительственная трасса (не хухры-мухры).

Выглядела эта дорога прискорбно, как любая такая же окраинная дорога любого провинциального города. От аэропорта, по обочинам слева и справа, тянулись деревянные кособокие, за покосившимися заборами, домишки посёлка Гумрак, а ближе к городу, за

плотном начиналась промзона, тоже мало радовавшая глаз серыми фасадами заводских цехов. Только после поворота от Самарского разъезда начинались жилые пятиэтажки, чуть скрашивающие вид с дороги.

И должен был посетить город-герой какой-то президент, не то Франции, не то ..., я уж не помню. Подготовку начали за неделю. В Гумраке снесли все заборы и в одну линию, что вдоль дороги, поставили новые, сплошные, дощатые, метра три высотой, чтоб, значит, скрыть nepотpeбcтвo зa ними, выкрасили их голубой краской и всё за счёт государства (так тогда говорили). Уже готовую километровую траншею, глубиной шесть-семь метров, под городской канализационный коллектор засыпали, а подготовленные для укладки трубы выравнивали по ниточке. Мне же начальник участка, незабвенный первый мой учитель на производстве, Виктор Константинович Шидловский, поручил к приезду проверяющего из горкома партии повесить на фасаде строящегося заводоуправления огромный транспарант, где на красном полотнище белым горело: «Да здравствует Такая-то-Советская дружба!»

Вывесили мы с бригадой монтажников эту здравицу, и только я вышел из здания, как на стройплощадку въехала чёрная «Волга». Машина остановилась, и из неё вышел мой одноклассник Алька Ревин по прозвищу Гарри Ржавый за огненно-рыжий цвет волос.

– Привет, Ржавый, – говорю я.

– Привет. А ты чо тут делаешь?

– Да вот прорабствую здесь. Щас ждём с проверкой какого-то х... из горкома. А ты-то, Ржавый, чо здесь делаешь?

Алька покосился на открытое окно водителя, взял меня под руку, отвёл от машины и виноватым голосом прошептал:

– Это я проверяющий.

Уже нету Виктора Константиновича, как и дорогого Леонида Ильича, и этого, который приезжал, президента уж давно нету на этом свете. Давно исчезли горкомы; не знаю, завод работает или угроблен, а заборы, поди, до сих пор стоят.

Питие на Руси

Работали мы с женой недалеко от Северного Полярного Круга: она в школе учила местных детей английскому, а я строил разные здания. Жили мы в большом селе, которое было основано 160 лет назад, а сейчас ему уже лет под двести. Школа была большая, хоть и сельская, потому как село это служило райцентром. И были у жены коллеги-«англичанки» из местных. Каждое воскресенье вечером они ставили выварку бормотухи (браги, если кто не понимает) и за следующие субботу и воскресенье вдвоём выпивали всю выварку под одну и ту же рвущую душу песню со слезой после первых пяти литров: «То не ветер ветку клонит...» А их мужья в это время рыбалили, если летом, или охотились, если зимой.

Неправ был князь Владимир Святославович, сказавши: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти.» Питие на Руси тоска есть.

Остяки – советские индейцы

Мы с женой, как я писал выше, на Севере работали: она в школе, я на стройке. Там разные люди живут. Две училки английского еженедельно за выходные 20-литровую выварку браги выпивали. Эти русские женщины придерживались правила: в будни ни-ни. Была у жены ещё одна коллега. Остячка, не то из хантов, не то из манси. Она играла на аккордеоне и преподавала пение. Пила же она без перерыва на выходные.

Часто на уроке, когда сильно растягивала меха, центр тяжести её тела перемещался, она сваливалась со стула и, лёжа на полу, терпеливо ждала, пока дежурный по классу позовёт директора – крепкого мужчину-охотника из русских, который возвращал её на стул и, убедившись в вертикальности её тела, со словами «продолжайте урок» степенно уходил в свой кабинет.

Ученики в это время не шалили и не шумели – входили в положение. Училку пения нельзя было уволить, так как она находилась под защитой закона о развитии культуры народов советского Севера и была заслуженным деятелем культуры. Дети же с малых лет находились под обаянием этой культуры. И что из них могло вырасти?

Советский интернационализм

Это было время борьбы за свободу Анжелы Дэвис. Она была чёрная, и белые упекли её за это в тюрьму. Упекли её в США, а боролись за её свободу в СССР, потому что все советские люди любили негров и ненавидели белых расистов.

Однажды в нашем большом дворе, огороженном семиэтажками, я встретил светленькую, миловидную, чуть за шестьдесят, неброско, но опрятно одетую женщину, ведущую за руки очаровательных чёрных погодков 7-8 лет – мальчика и девочку. Я ещё несколько раз встречал их, идущими через наш двор.

Как-то жена, возвратясь с нашими погодками из детской поликлиники, спросила меня:

– Ты встречал в нашем квартале белую женщину с двумя чёрными малышами?

– Да, говорю, несколько раз.

– Я сейчас познакомилась с ней в поликлинике. Представляешь, её дочь по большой любви вышла замуж за однокурсника из Африки. Молодой муж переехал из общежития в квартиру жены, где они жили с мамой. Жили дружно. Родили двух детишек. Защитили дипломы в мединституте. Решили, что жить будут на родине мужа в Африке. На полгода оставили детей маме, чтобы поехать обустроить новое место к приезду тётки с малышами. Там дочка заболела какой-то лихорадкой, её не спасли и буквально за месяц она сгорела. Я, продолжает жена, спросила, а что же отец не хочет их забрать? Как не хочет, говорит она, ещё как хочет. Он очень хороший, помогает мне – посылки всё время присылает, а когда и деньгами. Я не отдаю. Это же память о дочке.

– А как ты с ней познакомилась? – спрашиваю.

– В очереди к врачу. Вижу, она сидит и так горько плачет. Я начала её успокаивать. Она и рассказала мне всё.

– Ну, а плакала-то почему?

– Говорит, сейчас какая-то встречная тётка на улице бросила ей в лицо, – старая блядь, с негром нагуляла.

Бура, урология, ракеты – три в одном

Народные средства лечения иногда приводят к обратному результату. В начале 70-х я простыл: кашель, сопли, температура. По совету доброхотов решил быстро вылечиться самым распространённым народным средством: стакан водки, ложка красного перца и баня.

Уже через день я лежал в кардиологическом отделении больницы Ильича с диагнозом ревмокардит. В палате нас было двое. Соседом оказался пожилой интеллигентный человек, который почти каждую фразу начинал выражением «Как вы думаете?» Когда меня навестила мама, она по-дружески поздоровалась с моим соседом и обменялась с ним несколькими фразами, указывающими на то, что они хорошо знают друг друга. «Ты знаешь, кто твой сосед, – спросила мама, когда он вежливо вышел из палаты. – Это же главный конструктор ракетного производства нашего завода».

Ракеты ракетами, а мы с ним, убивая больничную скуку, часами резались в поддавки, а по вечерам я уходил на третий этаж в урологическое отделение, где часто дежурил мой друг детства – опытный уролог – и мы до полуночи в ординаторской гоняли под медицинский спиртик буру, секу, очко и другие столь же интеллектуальные игры. Главному конструктору в такие вечера было невыносимо тоскиво, на что я по молодости беспечно не обращал внимания. Однажды он обратился ко мне: «Как вы думаете, можно ли мне вечером присоединиться к вам? « Я зачистил: «Конечно, конечно.» Он заговорщицки и как-то смущённо: «А могу ли я попросить жену принести чекушку водки?»

В ближайшее дежурство моего друга мы с главным конструктором и чекушкой под полой халата поднялись в урологию. Если бы кто-либо мог видеть радостно увлечённое выражение лица главного конструктора, когда мы, после того как он принял 50 граммов, учили его играть в буру, не поверил бы в то, что этот человек – кузнец ракетного щита нашей Родины.

Мой друг Лёнька

Он был невысок, по-боксёрски сутул, как бы всё время в стойке, а он и был чемпионом Москвы среди юношей и всё время как-то виновато улыбался: улыбался когда слушал – он умел слушать, улыбался когда говорил, а говорил он мало, медленно и очень тихо, улыбался когда пил, а пил он много, по-детски, вытягивая губами до последней капли водку из рюмки. Работал он по распределению после окончания факультета журналистики МГУ замом ответственного секретаря в «Волгоградской правде».

Был он из очень интеллигентной семьи профессиональных революционеров (так было записано в графе «социальное происхождение» в паспортах его родителей). Он любил всех, и все его любили. В нашей буйной молодой компании он был незаметен, но никто из неё не мог представить себе, что можно собраться без него. Он тихо сидел за столом, тихо напивался, тихо засыпал на стуле и тихо просыпался с виноватой улыбкой. Когда мы пригласили его на нашу свадьбу, он тихо отказался: «Я люблю вас и хочу, чтоб ваш брак был вечным, а то я вот был у Ёськи Кобзона и Роньки Кругловой на свадьбе, а они возьми да и разведись вскоре».

На следующий день он пришёл с подарком и цветами поздравить нас и потом часто бывал в нашем доме. Он писал удивительные рассказы. Один из них был о его близком друге, талантливом клоуне Леониде Енгибаров. Как-то на гастролях в Сочи Енгибаров с другом шли из гостиницы в цирк на репетицию. Впереди них шла девушка с длинными, развевающимися на ветру волосами. Изящную фигурку подчёркивало обтягивающее шёлковое платье, а туфельки на высоком каблуке удлинляли и без того длинные и стройные ножки. Ну и как молодым парням не обратить внимание на такую прелесть.

«Девушка, а девушка, подождите, куда вы так торопитесь? – начали парни атаку, – не торопитесь, можно ведь и каблук сломать».

Девушка ускорила шаг.

«Куда же вы, давайте познакомимся», – настаивал Енгибаров.

Внезапно девушка остановилась и резко оглянулась: «Ну давайте познакомимся», – сказала она.

Ребята онемели. Лицо девушки было обезображено жутким ожогом.

«Может, вы меня и на свидание пригласите?» – в голосе насмешка, в глазах слёзы.

«Давайте встретимся в шесть на Ривьере. Меня зовут Леонид, а вас?» – спокойно сказал Енгибаров. Девушка помолчала, вглядываясь в его лицо, видимо, узнавая, кто с ней разговаривает: «Хорошо, я приду».

Был понедельник, представления по понедельникам не проводились и Енгибаров с лёгким сердцем репетировал, пока к нему не подошёл администратор: «Значит, так, товарищ Енгибаров, сегодня у нас шефское представление в пригородном совхозе. Прибыть к автобусу в пять вечера».

Как ни уговаривал Енгибаров провести представление без него, администратор был непреклонен: быть к пяти и точка.

Клоун к автобусу не пришёл. На следующий же день на профсоюзном собрании был гневно осуждён рвач Енгибаров, который работает только за деньги и игнорирует бесплатные шефские мероприятия.

С того момента великий Енгибаров стал невыездным.
Вот такие рассказы писал мой друг Лёнька Лейбзон.

Несгибаемый ленинец

В далёкие советские времена, когда мои дети ходили в детсад, а их воспитательница Дина была подругой моей жены и делилась с ней не только информацией о том, как они поели, как поспали и как вели себя в группе, но и конфиденциальной инсайдерской информацией о детсадовских делах. Так вот, однажды она поведала жене такую историю.

– Недавно, – заговорщицки сказала Дина, – к нам приходил логопед и провёл занятие с двумя мальчиками, которые картавят. Так ты представляешь, – она перешла на шепот, – на следующий день папа одного из мальчиков устроил директрисе скандал и запретил заниматься исправлением речи у его сына.

Жена в недоумении и тоже шепотом:

– Почему?

Дина ещё тише:

– Он сказал: Ленин картавил, и мой сын будет картавить.

НА СОПКАХ МОНГОЛИИ

Смерть стихотворца

В Монголии у меня прорезался стихотворный зуд. Я с семьёй находился там в загранкомандировке и работал прорабом на строительстве горнодобывающего комбината в Эрдэнэте.

Вдруг захотелось писать стихи, да так, что в голове постоянно рождались рифмы, стихотворные строчки, многотишья... Со мной теперь всегда была тетрадь, и я, где бы не находился: в машине, на совещании, на объекте, записывал всё, что роилось в голове. Ночью вскакивал с постели, чтобы записать пришедшую рифму или метафору. Я был как в лихорадке... По вечерам читал друзьям свежие стихи. Друзья хвалили, советовали печататься. Жена гордилась. Я скромничал, дескать, я не поэт... Близилась очередная годовщина Октябрьской Революции, и мой друг, он же секретарь парторганизации управления, попросил написать что-нибудь, прославляющее героику труда, дабы прочесть это на концерте художественной самодельности.

За ночь у меня родилась «Баллада о бетоне», воспевающая процесс непрерывного бетонирования насосной станции очистных сооружений.

Стихи поручили прочесть со сцены передовой отделочнице, хорошо говорившей по-русски монголке из интернациональной бригады штукатуров.

Там были такие строчки:

*Самосвал за самосвалом льётся серою рекой,
И уже почти не стало сил, чтоб пот стереть рукой!*

Идёт концерт, объявляют номер и автора баллады, я чувствую, как от гордости пунцовеют мои щёки... Монголка с выражением читает балладу, доходит до этих строк и пафосно произносит:

...И уже почти не стало сил, чтоб поц тереть рукой!

Зал взрывается хохотом, переходящим в истерику.
С тех пор я стихи не пишу.

Убивец Вася

Начиналась эта история так: однажды в субботу по северной Монголии ехали с работы водитель бортового ЗИЛа одессит Вася Огородников, главный механик нашего стройуправления Николай Картавый из Кременчуга и прораб из Волгограда в моём лице. Вася рулил, а мы с Николаем обсуждали проблему заготовки продуктов на первую в нашей загранкомандировке наступавшую зиму.

– Я, – говорил Николай, – сторговался с монголом из Цэцэрлэга на шесть листов ДСП за кабана. Он просил восемь. Ты как, сможешь списать эти шесть листов?»

– Как два пальца об асфальт. А кто кабана будет резать?

И тут наступил Васин звёздный час: – Да ты чо, Давидыч, я их у отца в деревне под Рязанью, почитай, каждый год на зиму забивал. Даже не бери в голову, сделаю как надо.

На другой день в воскресенье по утру мы, загрузив в кузов ЗИЛа листы ДСП, выехали в Цэцэрлэг. Приехали к обеду. Нашли нужную юрту. Хозяин – невысокий пожилой монгол в дели, гутулах и карабином на плече – вышел из юрты и на довольно чистом русском языке сказал, что кабан пасётся в сопках и он сейчас его пригонит. Он взобрался на лошадку и затрусил в сопки. Через полчаса его жена позвала нас из юрты:

– Хозяина идёт.

Мы вышли встречать. Хозяин шёл с прутиком в руке, за ним понуро следовала засёдланная лошадка. Впереди него, как корова с пастбища, семенил кабан, которого он погонял, изредка похлопывая прутиком по бокам. Когда они подошли ближе, мы обомлели: то, что нам хотели представить домашним кабанчиком, росту было монголу по пояс, покрытое редкой бурой щетиной животное с непомерно длинным носом и чёрным пятком. Два длинных клыка обрамляли этот нос. Почти двухцентнерный монстр добродушно похрюкивал. Вася побледнел:

– Он что, домашний?

– Дамасняя, дамасняя, – успокоила хозяйка.

Хозяин прутиком загнал кабанюку в узкий проход, ведущий к свиарнику. Вася расправил плечи, сунул длинную отвёртку за голенище и молодецки перепрыгнул в загон. Кабан с интересом по-

смотрел на Васю и приветливо хрюкнул. Вася нагнулся над мордой кабана, достал отвёртку из-за голенища и всадил её кабану под левую переднюю ногу. Кабан сделал шаг назад и угрожающе хрюкнул. Отвёртка торчала из него и колебалась? как маятник от ходиков.

– Щас, щас, – обнадёжил нас Вася, – щас я его в сердце кончу, чтобы кровь не вышла.

С этими словами он ногой, как заправский футболист, с размаху «щёчкой» ударил по ручке отвёртки, загоня её в глубь кабаньего естества. Раздался дикий визг, неуловимым движением морды кабан подбросил Васю вверх. Перевернувшись в воздухе, Вася плюхнулся на землю. Кабан нагнул голову и с клыками наперевес собрался атаковать обидчика. Вася беспомощно сучил ногами, пытаясь отползти. Срывая с плеча кавалерийский карабин системы Мосина образца 1891-1907 гг., с которым ещё дивизия барона Унгерна ураганила в этих местах, хозяин рванулся к загону, вставил дуло кабану в ухо и нажал на курок. Грохнул выстрел. С ближней сопки поднялась стая ворон. Кабан всей тушей рухнул на Васю, заливая его кровью.

С помощью монголов из соседних юрт, подошедших на выстрел, мы вытащили Васю из-под кабана, разгрузили ДСП и с трудом затащили тушу в кузов.

Всю обратную дорогу мы угрюмо молчали, переживая случившееся. В Эрдэнэте возле барачков, где мы жили, на берегу ручья нас ждали жёны с заправленными с вечера паяльными лампами. Улыбки на их лицах враз погасли, когда они увидели спрыгнувшего с подножки Васю. Он весь был перепачкан засохшей кабаньей кровью, в кирзовых сапогах, чёрных сатиновых трусах, кепке и с узлом залитой кровью одежды в руках.

До полуночи мы палили, скребли, мыли и разделявали тело монстра, чтобы потом всю зиму наслаждаться копчёной ляжкой, засоленным салом толщиной в полторы ладони, холодцом на Новый год и всякими рёбрышками и отбивными.

Вася от своей доли, которую мы ему выделили за перенесённые страдания, отказался и свои услуги по забою кабанчиков больше не предлагал. А мы больше и не заготовливали продукты на зиму.

ИЗРАИЛЬСКИЕ МОТИВЫ

Русский день в ОВиРа

Будучи многолетним отказником, я пытался получить выделенную выездную визу, добираясь в этих попытках до ОВиРа СССР. Когда в очередной раз, по приезде в Москву, с тоскливым предчувствием неизбежного отказа я зашёл в приёмную, то оказался свидетелем происшествия, которое полностью развеяло мою тоску.

На скамейках по периметру приёмной кучно сидели посетители, а на четырёх скамьях, стоящих в центре спинка к спинке, как в вагоне метро, одиноко сидела молодая пара. Их карапуз трёх-четырёх лет носился по всей приёмной, обрушивая на всех лавину криков, смеха, визга и, скорей всего, отвоевавшего эти скамейки в центре у других посетителей. Сказать, что эта пара сильно отличалась от основной массы, это ничего не сказать. Курносые, без извечной еврейской печали в голубых глазах под белыми бровями, белогловые со здоровым румянцем на всех шести щеках они громко выясняли отношения с самим полковником Зотовым – начальником союзного ОВиРа. Муж кричал:

– Мы не пойдем в кабинет, пусть все видють и слышуть. Пачаму явреям можно, а нам нет? Никуды мы отсюда не уйдём, покуда не отпустите.

Не подумайте, что я их передразниваю – они так и говорили.

А вокруг сидели евреи и грустно улыбались. Они понимали, что если у них ещё и есть надежда на выезд, то у этой семьи её даже не предвидится.

Сом – рыба некошерная

В начале нашей израильской жизни мы снимали квартиру в доме над обрывом. Под обрывом плескался Кинерет, по чьим водам парнишка из Назарета когда-то ходил аки посуху. Этого парня мы, естественно, когда по крутой лестнице бегали купаться, встретить не могли, зато однажды на берегу встретили толстого человека. Человек сидел на песке у костерка и жарил ароматные колбаски. Одет человек был в пропотевшую, дырявую майку, мятые шорты, по из-

раильской манере спущенные ниже ватерлинии, и стоптанные сандалии. Был он небрит и мрачен.

Соседка Циля, составившая в этот раз нам компанию, испуганно косила глазом в сторону толстого человека и делала нам знаки головой: мол, лех ми по (пойдём отсюда).

В этот момент человек у костра поднял над головой большой тёмный предмет и кивнул головой – давайте ко мне. Предметом оказалась бутылка анисовой водки ёмкостью 0.75л. Сочетание острого запаха колбасок с видом бутылки победило даже опасения Циля от соприкосновения с историческим врагом. Исторического врага звали Али и был он рыбаком из Назарета. Мы весело под обоюдное мычание, жестикуляцию (языка ещё не было) и обрывки английского смели колбаски под анисовую за 8 шекелей.

Однажды, после этого саммита на берегу, Али на своём разбитом пикапчике привёз нас с женой к себе в гости в Нижний Назарет, где мы, обжигая гортани наперченными арабскими блюдами, пытались общаться с его женой и восьмью еладим (детьми).

С тех пор и до нашего отъезда из Тверии я, убегая утром на работу, спотыкался о здоровенного свежего сома, которого Али раз в неделю оставлял у нашего порога.

Сом – рыба некошерная, и скупщики с базара или ресторанов её не принимали.

Пёс по имени Пунч

Эту историю рассказала нам невестка – мама Лена, когда мы сидели за столом в небольшом доме нашего сына – папы Максима. За окном озеро Кинерет уходило во тьму, вино застоялось в бокалах, а мама Лена всё рассказывала и рассказывала...

В их маленькой мошаве на краю северной Галилеи лет десять тому обосновалась многодетная еврейская семья выходцев из Марокко. Отец с матерью допоздна на работе, детям для развлечения завели щенка. Беспородного, рыжего с коротенькими кривыми ножками. Детей было четверо. Они любили своё рыжее развлечение, а оно в свою очередь обожало всех четверых. Назвали рыжего Пунчем. Он потихоньку подрастал, носясь по мошаву в догонялки с детьми.

Однажды весной он вернулся вечером домой после randevu с дамой из соседней арабской деревни, поскрёб лапой дверь, предвкушая поскорее добраться до своей миски с харерой и вкусной косточкой. Дверь не открывалась, за дверью не было слышно любимых голосов. Он поскрёб дверь ещё и ещё раз. Дверь оставалась закрытой. Он положил голову на лапы и приготовился ждать до утра – уж утром его любимые пойдут – кто на работу, кто в школу, и тогда дверь откроется, и миска с остывшим мясным супом и косточка будут на месте, и он совсем не обидится на хозяев – он понимает – они же устают, им отдыхать надо. Наверно, крепко уснули, думал он, засыпая перед закрытой дверью.

Утром его разбудили голоса мошавских детей, бегущих к школьному автобусу. Неужели проспал? – подумал он. Как я мог? Они, наверно, торопились в школу и не заметили меня, ничего, я подожду – после школы уж точно дверь откроют, затеребят меня в восемь рук и я прощу им эту задержку – ведь миска с супом и косточка никуда не денутся. Он лежал перед закрытой дверью день, ночь и ещё день и ночь, и снова день и ночь... Он уже почти перестал отличать день от ночи, когда к нему подошёл соседский мальчишка. Мальчишка положил перед ним бутерброд с колбаской. Пунч щёлкнул зубами и бутерброд исчез. Он виновато посмотрел на мальчишку – спасибо, но я не отожду от двери, ведь она обязательно откроется, а я могу это пропустить.

Мама Лена стала замечать, что с некоторых пор Давидка стал просить сделать ему бутерброд с колбаской вдобавок к коробочке с едой, что она давала ему с собой в школу. Зачем тебе это? – спрашивала мама Лена. А там кошечки голодные, лукавил Давидка. Он знал – мама Лена не разрешает водиться с уличными собаками, а уж кормить их... Через несколько дней мама Лена надумала проследить, что же это за кошечки и увидела, как Давидка кормит собачку у дома, жильцы которого давно перебрались в центр страны. Она вспомнила, что уже больше недели постоянно видит эту собачку перед этим домом. Так значит, они её бросили, подумала мама Лена. С этого дня по утрам Давидка стал получать дополнительный бутерброд, а то и кусочек мяса, без маминого вопроса – мама не спрашивала зачем, а Давидка не говорил. Никто не считал, сколько прошло времени с тех пор как Давидка начал подкармливать пёсика, а пёсик всё не

уходил и не уходил от безжизненного дома. И в один из дней мама Лена сказала Давидке – ты его приведи, пускай у нас живёт. Давидка к пёсику – пойдём скорей, мама разрешила. Пунч так посмотрел на Давидку, что ребёнок понял – пёс от дома не уйдёт. И опять никто не считал, сколько дней Давидка уговаривал Пунча, пока однажды пёс не встал и не пошёл за ним. За недолгую дорогу к давидкиному дому пёс много раз останавливался и долго смотрел в сторону покидаемого дома. Давидка не торопил его. Так дошли они до дома, на пороге стояла мама Лена. Она посторонилась, и Пунч с опаской вошёл в новую жизнь. «Спать будешь здесь», – строго сказала мама Лена и показала на роскошную собачью постель (когда это мама купила? – подумал Давидка) у окна между диваном и горкой с посудой.

По утрам Пунч уходил вместе с Давидкой. Давидка уезжал в школу, а Пунч ложился ждать у заветной двери. Возвращался в новый дом поздно вечером, виновато скрёбся лапой в дверь, бочком проскальзывал к мисочке, ел без аппетита, укладывался на подстилку и долго смотрел в пустоту, засыпая под утро.

Три года домашние терпеливо ждали, когда Пунч оттаит. В один из дней Пунч, проведив Давидку до автобуса, повернул в сторону пустого дома и не увидел его. Дома не было. Его надежда, что дверь откроется, рухнула в одночасье (строители за ночь снесли дом для новой постройки). Он ничего не понимал, не видел, не ощущал. Куда-то брёл. Куда? Стой – там опасно. Никого не было, чтобы остановить его, и он даже не понял, как очутился в железной клетке, увозившей его в сторону от двери, которая так и не открылась и от нового дома, от Давидки, мамы Лены и других домашних, которые, как он думал, вместе с ним ждали, когда она откроется.

Лиечка вернулась домой с поста на ливанской границе в конце недели, сунула М-16 в шкаф и... Давидка а слезах кинулся к ней – Пунч пропал. Самаль (мл. сержант) Армии Обороны Израиля Лиечка взялась за дело по-военному – две недели телефонных поисков и заветное в трубке – да, есть тут у нас один задохлик в красном ошейнике, ничего не ест, забирайте быстрей, а то сдохнет. Когда Лиечка с папой Максимом примчались в пункт передержки бродячих собак, Пунч их не узнал – у него не было ни сил, ни желания жить – дверь не открылась, зачем жить.

Больше недели домашние по очереди на руках носили Пунча

и кормили его с ложечки – Давидка после школы, мама Лена после работы, Лиечка по вечерам, свободным от армейской службы, папа Максим все пятницы и субботы по приезде с работы из Тель-Авива.

Пунч встретил нас приветливо, но без заискивания. Посмотрел в глаза, как спросил: – А вы не предадите меня?

Спасибо деду за Победу!

Позвонила внучка из Ришон-ле-Циона.

«Дед, – деловито начала она, – кто из наших воевал и кем мне гордиться? У меня задание: найти героя-еврея в семье».

Я, говорю, не воевал, твой прадед – мой отец – тоже, он в войну заводы строил, чтоб было чем воевать, мой дед был кабланом, строителем то есть, он мог в Первую мировую воевать, но не пришлось. Может, кто из моих предков воевал под началом Иосифа с войском декуриона Эбуция, но у Флавия я свою фамилию не встречал. Так что, говорю, гордиться нечем. Правда, один из моих дядьёв партизанил и пропал без вести в 42-м, но им лучше не гордиться – неизвестно куда пропал. Вот мой двоюродный брат Марик по возрасту начал воевать на Эльбе в 44-м командиром танка, однако тебе он двоюродный дедушка и я не знаю, подходит ли он по родству для гордости. Хотя, вспомнил, твой прадед – бабушкин папа – отвоевал с первого до последнего дня войны. Вот им гордись. Он хоть не еврей, но воевал не хуже евреев.

МОЙ БРУКЛИН

Из чего делают трубы в Америке

Для многих наших эмигрантов конца восьмидесятых – начала девяностых первой работой была «шофер в кар-сервисе». Кар-сервис – это такой упрощённый вид такси. Я тоже начал мою американскую эмиграцию с этой работы. В ожидании заказа от диспетчера зубрил таблицу неправильных глаголов и образование будущего длительного времени в прошедшем. Дома по вечерам печатал на пишущей машинке «Remington» резюме и десятками рассылал их по адресам из объявлений в «Нью-Йорк таймс». С этой машинкой мы родились в один довоенный год. Машинка верно служила более пя-

тюдесяти лет, и у неё, как и у знаменитой машинки из конторы «Рога и копыта», отсутствовала одна буква, но не «е», а «о», и я дорисовывал её от руки.

В резюме я на разные лады перечислял свои должности и названия советских учреждений, в которых работал за свою 33-летнюю карьеру в стране Советов. Ответы приходили редко. В них мне объясняли, что рады моему выбору и желанию работать в их компании, однако не могут воспользоваться моими услугами, потому что я «overqualified», т.е. сверхквалифицированный для работы в их коллективе. Ответы расстраивали, но признание моей «высокой квалификации» грело душу и окрыляло.

Мои усилия длились почти девять месяцев и могли длиться ещё очень долго, если бы не случай.

В газете «Новое русское слово» однажды я прочёл объявление: «Американец, доктор философии, разговаривающий по-русски, помогает недавно прибывшим из СССР в составлении резюме и поисках работы. Недорого.» Доктором философии оказался сорокалетний безработный американец, довольно сносно говорящий по-русски, почитатель Зощенко и архитектуры Ленинграда, где он дважды стажировался, будучи аспирантом отделения русской филологии Чикагского университета. Но об этом я узнал не сразу. Для начала я показал ему своё лучшее, как мне казалось, резюме с обилием самостоятельно переведённых на английский длинных названий должностей и советских организаций, как-то: Начальник Производственно-технического отдела Строительного управления №1 объединения Сибгражданстрой или Главный инженер Строительно-монтажного треста Калмсельстрой Главнижневолжскстроя и несколько писем-ответов. Резюме вызвало у него гримасу ужаса, а письма скорбную улыбку.

– Американскому работодателю, – объяснил он, – не понять, что значит «Head of Production and Technical Department of the Construction Management of Association Sibgrazhdanstroy». Это чудовищная абракадабра споспешествовала с первых же слов отправлять твои резюме в мусорную корзину. Ответы же с употреблением эпитетов типа «сверхквалифицированный» – это вежливая американская издёвка, – втолковывал он мне. Расскажи, что ты конкретно делал вот на этой, например, должности «Главный инженер». Я пе-

речислял ему обязанности главного инженера треста, и это вводило его в состояние ступора: обеспечивать выполнение и своевременно предоставлять в вышестоящие организации отчёты о внедрении передовой техники, прогрессивных строительных материалов и конструкций, об экономии горюче-смазочных материалов и организации социалистического соревнования между подразделениями и применении передовых методов труда и заработной платы.

Он с ужасом спрашивал, что значит «внедрять передовую технику и передовые методы труда» и как отличить прогрессивные материалы от непрогрессивных. Значение одного понятия я так и не смог ему объяснить: что такое социалистическое соревнование или, как он говорил, социалистический чемпионат. Он с трудом составил из этих загадочных непереводаемых обязанностей типовое резюме, которое через несколько дней помогло мне найти работу в первой строительной компании на американской земле.

Моего первого американского работодателя звали Джон Берген. А какое ещё имя мог носить потомок пилигримов с «Мейфлауэра»? Только Джон. К тому же, был он из династии строителей и очень гордился тем, что его отец-плотник строил Эмпайр Стейт Билдинг. Сам он был Профессиональным Инженером (Есть в Америке такое звание PE – Professional Engineer) и этим тоже очень гордился. Компания, в которой он был владельцем и президентом, была невелика, но входила в число компаний, лицензированных вести сложные строительные работы в трёх главных аэропортах Нью-Йорка.

На интервью он выглядел благообразным пастырем, улыбчивым и радушным проповедником железного закона капитализма – можешь не платить за работу, не плати. Это вылилось в такой диалог:

– У вас нет американского опыта работы и потому я должен проверить, на что вы способны. Вы согласны?

– Да, я согласен.

– Я вам не скажу, как долго будет длиться проверка. Вы согласны?

– Согласен.

– Я не могу терять деньги и потому не буду оплачивать вашу работу до конца проверки. Вы согласны?

– Да, я согласен.

– И не скажу сколько я вам буду платить, если приму решение оставить вас. Вы согласны?

– Согласен.

– Окей, в понедельник приступайте к работе.

Он спрашивал «Вы согласны?» с такой доброй улыбкой, с какой спрашивают: «Не хотите ли ещё кусочек торта?» Однако я не испытывал к нему неприязни и до сего дня благодарен ему, что через срок три дня после интервью он зашёл в мой офис и с той же улыбкой, с которой он спрашивал, согласен ли я бесплатно работать, положил на мой стол конверт с первым чеком, тем самым давая понять, что с этого момента я стал американским строителем.

А теперь о трубах. Обычно Джон разговаривал тихо на классическом английском, а не на американском английском и не употреблял бранных слов типа *shit, son of a bitch, fuck, jerk*.

Однажды из офиса Джона разнёсся крик. Он орал в телефонную трубку фальцетом, переходящим в визг. Из всего разговора я только успел разобрать, как Джон несколько раз повторил слова «пеймент» и «факин пайп».

Через полчаса я зашёл к нему в офис. Он успокоился, но краска с его лица ещё не сошла.

– John, may I ask you? (Джон, могу ли я спросить тебя?)

– Sure. Come in. (Конечно. Входи.)

Я как можно искренней произнёс загодя подготовленную и отрепетированную речь:

– John, I'm old builder and know a lot of type of pipes material: steel, cast iron, precast concrete, copper and plastic. What is that a material of fucking pipes you named half hour ago. Could you please rise my salary to give me a stimulus to learn this material? (Джон, я старый строитель и знаю много типов материалов для труб: сталь, чугун, сборный железобетон, медь и пластик. Что это за материал для труб – факин, который вы назвали полчаса назад? Не могли бы вы поднять мою зарплату, чтобы дать мне стимул изучить этот материал?)

Ни до ни после я не видел, чтобы пожилой, сдержанный, даже чопорный джентельмен так по-детски хохотал, чуть не вываливаясь из кресла и хлопая руками по крышке стола.

Зарплату, однако, он мне не повысил, и я вскоре ушёл в другую компанию, но наши дружеские отношения с Джоном это обстоятельство не изменило.

Критерии матримониального выбора

Владельцем компании, второй по счёту, в которой мне довелось работать, был итальянец с красивым именем Луи Еванджелиста. Маленький и кругленький, с огромным сицилийским носом и постоянно дымящейся дорогой сигарой, которую он иногда вынимал изо рта жестом наших зеков – огоньком в ладонь, он любил, чтобы всё было красиво и потому фойе, его кабинет и закусную (lunchroom) компании украшали чучела голов кабана, оленя и волка. Изредка он заказывал из дорогих ресторанов пиццу или лазанью за счёт компании, и тогда мы в закусной сдвигали столы и садились за один общий стол. Луи садился во главе и, попыхивая неизменной сигарой, по-отечески смотрел, как мы с удовольствием поглощали халяву. Сам он никогда не ел, но внимательно слушал весёлые разговоры расслабившихся от халявы сотрудников.

Однажды я во время такого общего ланча с целью повеселить коллег рассказал анекдот о том, как корреспондент одной из ТВ-компаний вёл репортаж с улицы, спрашивая пары о критериях, по которым женщины выбирают себе спутников жизни. Одна из женщин, указывая на спутника, сказала:

– Видите, как он высок и красив? Я хотела, чтобы мои дети были красивыми.

Другая, показав на своего лысоватого, с высоким лбом очкастого мужчину, ответила:

– Видите, как он умён? Я хотела, чтобы мои дети были умными.

Наконец, обратившись к женщине огромного роста и веса, которая нежно держала за руку маленького, тщедушного мужичку, корреспондент с удивлением спросил:

– Ну, а вы-то по каким критериям выбирали? И женщина густым басом снисходительно ответила:

– Я знала, что все мужики говно и выбрала кучку поменьше.

Коллеги грохнули хохотом, а Луи без улыбки, молча посмотрел на меня длинным и тяжёлым взглядом.

На Рождество Луи по традиции пригласил всех сотрудников в дорогой итальянский ресторан на Лонг-Айленде. Это было моё первое в Америке рождественское застолье, и я с интересом расспра-

шивал соседа по столу – вице-президента нашей компании о приглашённых из других компаний гостях.

Шум, смех, стук приборов, звон бокалов... Вдруг всё смолкло. В тишине все повернулись к входной в зал двери. Вошла она. Сказать, что она была красива – ничего не сказать: волосы, лицо, глаза и губы, осанка, походка, украшения и платье... Всё было царственно красивым. Но больше всего поражали её рост (под метр восемьдесят пять) и вес (105-110 кг как минимум). Луи, широко улыбаясь, уже колом катился ей навстречу.

«Кто это?» – спросил я соседа.

– Жена Луи.

В этот момент Луи повернулся в мою сторону и посмотрел на меня тем же взглядом, как тогда в закуской после рассказанного анекдота.

Трубач в стоптанных шлёпанцах

Первые девять лет американской жизни я снимал студию в частном кондо на Avenue I в Бруклине по соседству с квартирой довольно молодого, холостого офицера полиции, раньше времени вышедшего на пенсию в связи с отклонениями психического характера. Кроме него? в квартире жила его незамужняя сестра и их отец. У наших квартир было общее крыльцо, а веранды, выходявшие на задний дворик, разделял сетчатый заборчик.

Жили мирно, не ссорились, хоть отец семейства иногда досаждал, когда по вечерам на веранде в мятой майке, полосатых пижамных штанах и шлёпанцах на босу ногу громко играл на трубе. Возраст его в то время был далеко за 70 и мне, 53-летнему, это обстоятельство мешало сделать ему замечание или попросить играть в рабочее время. К тому же, многие мелодии, которые он наигрывал, мне нравились и казались очень знакомыми.

В одно из воскресений я встретил его на крыльце. Он был весь какой-то парадный: гладко выбрит, в белой крахмальной рубашке с чёрным галстуком бабочкой, в смокинге, в чёрных отглаженных брюках с чёрными же атласными лампасами и лакированных туфлях. Редкие седые волосы были тщательно причёсаны и набриолинены. В руках он держал изрядно потёртый кофр для трубы. Он

по-особенному чопорно, с полупоклоном поздоровался и неожиданно начал рассказывать мне о том, что каждый год старики, в молодости игравшие в одном оркестре, собираются в Манхэттене на jam-session, то есть джазовую импровизацию, посвящённую их безвременно ушедшему руководителю, с которым он сам играл почти четыре года до самой его смерти и что сейчас он ждёт такси, которое запаздывает.

Для приличия я спросил, давно ли умер руководитель оркестра. Он печально ответил: «В 44-ом». Я спросил, как его звали. Он, уже спускаясь по ступенькам к подошедшему такси, ответил: Гленн Миллер.

Большое сердце маленького человека

Весна уже вовсю по-хозяйски расположилась в Марин-парке. Ну всё ласкает глаз: свежая-пресвежая зелень дубов и газона, огромные белые цветы на невысоких деревьях пока ещё без листьев и сумасшедше голубое небо. И всё это радостно переливается в глазах бродящих по дорожкам людей и собак. Мы старожилы этого парка, и большинство гуляющих собак знают нас и не упускают возможности, прогуливаясь мимо скамейки, на которой мы сидим, получить свою долю ласки и восхищения, а их хозяева – наполниться гордостью за своего бэби: 100-килограммового дога с безупречной родословной или 500-граммового чуда в перьях хрен его знает какой смеси. Ласкаем всех подряд и восхищаемся по-русски, но, что характерно, и собаки и их хозяева – представители «коренного населения» в этом случае прекрасно понимают заморскую речь.

Они шли по дорожке и нежно болтали: незнакомые нам маленький пузатенький человек и маленький карликовый пудель. Человек что-то рассказывал, размахивал руками, останавливался, наклонялся к ухоженной, подвижной собачке, которая не отрывала поднятую мордочку от лица хозяина. Это была демонстрация полного слияния душ. Они поравнялись с нами, и пудель потянулся за своей порцией ласки.

Я спросил хозяина: «May I caress him?» «Конечно, конечно. Он любит это дело», – по-русски ответил он. Ну и началось: «Ой, где наш пузик (почёсываем ему в две руки животик), ой, где наша спин-

ка (почёсываем спинку), ой, какая головочка, ой какие сладенькие ушки (почёсываем за ушками), а где наши глазки, пытаюсь разгрести густую шерсть на мордочке, где наши глазки, разгребаю и разгребаю шерстку и не могу найти глаза собаки. Где глазки?» – обращаюсь к хозяину.

– У него нет глаз, – спокойно ответил маленький человек, – я его глаза.

Маленький человек сел рядом.

– Понимаете, мы его взяли двухмесячным, а сейчас ему девять лет. Когда ему было два года, у него начались проблемы с глазами. К каким только врачам мы его не водили, сколько операций он перенёс – не сосчитать. Через два года его мучений врачи сказали, что это редкое неизлечимое генетическое заболевание и надо выбирать – либо усыпление, чтоб не мучился, либо удаление глаз с перспективой жить слепым. Мы выбрали второе.

Всё время, пока маленький человек с тихой улыбкой рассказывал эту историю, жена всхлипывала, я с трудом сдерживал комок в горле, а пёс неотрывно смотрел в лицо маленькому человеку своими защитными глазницами.

Вашингтонское болото и монгольская рыбалка

Обсуждаем с женой историческое событие, о котором, как о своей победе, радостно сообщил Трамп на митинге в Западной Вирджинии – переход губернатора этого штата в республиканцы и возникшую в связи с этим возможность 34-м штатам, т.е. 2/3 от 50-ти, ставших республиканскими, созвать Конституционную Конвенцию для изменения Конституции, если Конгресс по какой-либо причине окажется недееспособным как нынешний, даже если Конгресс или Верховный Суд будут против.

Жена говорит: – Может он, наконец-то, взорвёт это вашингтонское болото. Я не нашёлся, чем ей ответить, но разухабистые методы работы нашего президента напомнили мне об одной рыбалке в Монголии. Командир батальона советских солдат-строителей, которые работали на моём участке, пригласил меня на рыбалку. Приехали к живописному небольшому озерцу. Расположились, расстелили плащ-палатки, расставили бутылки, закуски, стаканы.

Майор говорит лейтенанту: – Давай, организуй нам рыбки на уху, а мы пока выпьем по маленькой и закусим чем начпрод послал. Лейтенант и двое рядовых сели в надувную лодку. Я обратил внимание, что у них нет удочек, а погрузили в лодку лишь какой-то ящик. С сетями, подумал я. За первой пошла вторая, а там и третья... Тут возвратились лейтенант с солдатами. Лейтенант что-то сказал майору, наверно? доложил, что рыба поймана и скоро будет уха, но что-то быстро они наловили, – мелькнуло у меня в голове. Майор поднялся и говорит мне: – Пойдём за сопку прогуляемся. Не хочет мешать подчинённым варить уху, – подумал я. Только мы отошли, как на озере рвануло, да так, что я долго не мог услышать, что говорит майор, обращаясь ко мне. Пока шли обратно к озеру, звон в ушах прошёл. Подошли, а озера нету. Совсем. Ни воды, ни рыбы. Взрывом динамита вынесло и разметало всю воду с рыбой. – Не рассчитал, – виновато развёл руками лейтенант в ответ на вопросительный взгляд майора. Так с карты Монголии исчезло красивое озеро....

...Как бы эта победа нашего республиканского президента не привела к подобному взрыву в вашингтонском болоте.

Флаг на велосипеде

Сегодня гулял с женой на пирсе. Увидел чернокожего человека с велосипедом. К седлу велосипеда был приторочен высокий флажок с развевающимся нашим звёздно-полосатым. Подошёл к нему. Спросил, могу ли сделать фото. Он согласился. Я сказал, что «хочу послать его фото друзьям в Россию и, если они спросят, зачем ты привязал к велосипеду флаг, что мне им ответить?».

– Потому, что я люблю свою страну, – сказал он буднично.

Американец

Его зовут Тони. Ему 82 года, и он мой сосед по кооперативу – живёт в доме напротив. Каждое утро в любое время года, если нет дождя, его можно увидеть сидящим на лавочке у дома со свежей Daily News. До этого он успевает прошагать четыре-пять миль по ещё спящим улицам.

Он очень давно вышел на пенсию после сорока лет работы мойщиком окон, успев за это время купить в Бруклине по дому двум сыновьям и дочери, а себе с женой – квартиру в нашем кооперативе. Сам он родом из Пуэрто-Рико, приехал в Нью-Йорк шестнадцатилетним и с первых дней до пенсии мыл окна небоскрёбов Манхэттена. Десять лет назад похоронил жену, погоревал и женился на милой, тихой Марине – иммигрантке из Кишинёва. Она моложе его на тридцать лет. Живут душа в душу.

Мне нравится беседовать с ним и, продираясь сквозь его частые *You know what I mean?*, слушать «голос рабочего класса» Америки. Однажды он спросил меня: *What do you think about Putin?* Я ему сказал, что этот *son of a bitch* для меня Джо неуловимый (*Joe elusive*), потому что он, как и Джо, мне и на хрен не нужен думать о нём. Он меня не понял, но больше к этой теме не возвращался. А я понял, что аллюзии в русском и английском языках не совпадают так же, как и судьбы мойщиков окон в Америке и в России.

Камо грядеши, Америка?

В нашем подъезде на шестом этаже жила белокурая дама и четверо её детей. К моменту нашего переезда в этот дом она носила на руках младшего, а старшей было лет восемь. Через 2-3 года стали замечать эту старшую в окружении стайки таких же пацанов. Ещё через пару лет мама и старшая дочь одновременно забеременели и через какое-то время стали появляться с новорожденными на руках. В лифте они всемером заполняли всё пространство кабины, были веселы, шумны, беззаботны и доброжелательны. Мужчин в их семье замечено не было.

Ни на какой работе мать семьи не числилась. К моменту их исчезновения из нашего дома одна из подросших дочерей уже пятый месяц (по наблюдениям жены) носила под сердцем. Ну и что? – спросят меня. А то, – отвечу я. Два дня назад, щёлкая по каналам, наткнулся на предвыборное выступление Берни Сандерса. С ужимками местечкового портного он бросал в толпу очередной лозунг об увеличении помощи многодетным матерям-одиночкам за счёт увеличения налогов на богатых. Зал вставал и громом аплодисментов выражал единодушную поддержку. CNNовская ка-

мера крупным планом показывала счастливые многодетные лица за спиной оратора, и во втором ряду я разглядел лицо нашей бывшей соседки.

Что есть истина?

«Мне не нравится, когда наши эмигранты просто лижут свою новую родину – тоже противно. Я всегда хочу доискаться до истины». Так в личку написал один из моих фб-друзей. Я, как Иешуа га Ноцри, попробую притчей помочь моему другу «доискаться до истины».

Жил в эсэсэсэре тихий, бледненький мальчик-последыш в ну, очень небогатой еврейской семье. Учился в школе средненько, не шалил. После школы под предлогом невозможности из-за пятой графы поступить в институт по месту жительства в одной из республик с помощью родственника поступил и закончил провинциальный институт в средней полосе России, где вроде как антисемитизма было чуток меньше. Вернулся к маме с папой и братьям в маленькую квартиру для работы на маленьком заводе в маленькой должности с маленькой зарплатой и маленькой ответственностью. И ничего у него не было: ни своей квартиры, ни денег, ни машины, ни перспектив занять всё это в обозримые годы. Бабы хорошей – и то не было.

Долго ли, коротко ли жил он так, но тут евреям подфартило – стали выпускать как бы на историческую, но девяносто процентов с заездом в Италию выгребали в Америку. Наш мужчинка этим путём, с одним хреном в поношенных штанах, и приплыл в столицу мира.

Когда по приезде в Нью-Йорк я сидел за его столом в его собственной two-bedroom apartment (по советским меркам четырехкомнатной квартире) в хорошем месте Бруклина, куда после работы в городском департаменте, где он служил в маленькой должности с маленькой ответственностью и небольшой зарплатой с бенефитами и полным медицинским покрытием, он привёз меня на своём Buick le Sabre и мы подняли хрустальные рюмки с Hennessy Black, первый тост он с чувством произнёс «За Америку».

Ну и кто скажет, что это не его истина?

Раздумья о похоронах

Она живёт в большом и красивом доме, в дорогом и престижном районе Бруклина. Её дочь замужем за очень успешным человеком. Человек этот родом из одной из восточных республик бывшего СССР. Он женился на её дочери с условием, что она – мать его будущей жены – станет еврейкой и, стало быть, её дочь автоматически превратится в еврейку, рождённую еврейской матерью. Она согласилась, и будущий муж её дочери купил ей нужные документы, а она, спрятав подальше крестик, в одночасье из Поповой стала Каган (именно Каган, а не Коган).

Всё у неё замечательно: внуки, любящие дочь и зять, достаток с медикейдом. А ночью наползает жгучая тоска, и видится ей на чужом кладбище памятник с чужой фамилией и чужим символом. И так до утра. И так почти каждую ночь.

Благодарность

Полетели мы с женой встречать новый 2009 год в Лас-Вегас. А там недалеко Гранд Каньон, правда, в другом штате, Аризона. Ну мы и дунули туда автобусом. На границе между штатами Невада и Аризона погранично-таможенный пункт – проверяют, нет ли перебежчиков из Мексики. Остановились. Заходит пограничник. Под два метра ростом, косая сажень в плечах, бицепсы рвут рукава униформы, в ковбойской шляпе, на отдельном от брючного ремне висит кольт 38-го калибра, взгляд стальной из-под насупленных бровей. Его первая фраза валит нас с женой от умиления:

– Ladies and gentlemen, thank you, that you brought your money to our state.

Sex в большом городе или проблемы русскоязычного населения Бруклина

Недалеко от нашего кооператива находятся так называемые прожектсы (projects) – дома для малоимущих граждан. Населяют эти дома на восемьдесят процентов чёрные семьи и на двадцать процентов семьи разных прочих цветов, в том числе и семьи моих соотеч-

ственников по бывшей родине. И хоть родина не бывает бывшей, в моём случае вполне применимо это определение, потому что страны, в которой я родился и прожил пятьдесят лет, давно не существует, а на её месте – другая страна и по названию, и по размерам.

В одном из этих домов проживает мой знакомец, недавний разговор с которым дал мне возможность прикоснуться к проблемам русскоязычного населения Бруклина.

Познакомился я с ним в очереди к кассе в «русском» магазине. После, во время редких встреч наши разговоры ограничивались приветствиями и вопросами о здоровье. Несколько лет назад мы с ним разговорились и на мой вопрос: мол, жильцы не хулиганят ли, он очень тепло отозвался о своих чёрных соседях. А тут давеча встречаю его, и он на дежурный вопрос – как дела? – почти с отчаянием произносит:

– Представляешь, просто невозможно стало жить! У меня проблемы со сном, я допоздна не ложусь и сижу у окна. Так теперь не могу и этого сделать!!

– Что, говорю, камни бросают в окна или стреляют?

– Если бы. Трахаются.

– ?

– Под моим окном лавочка, так они на ней каждую ночь повадились и лёжа, и стоя, и...

С особым трагизмом он перечислял позы и звуки, которые ему «в его возрасте» приходится наблюдать и слушать.

Я успокоил его – лишь бы не стреляли, и посоветовал повесить на окно занавеску. Он автоматически ответил – да занавеска-то есть.

Я с ним попрощался и уходя подумал, что его проблема бессоницы не из неизлечимых.

Каково иметь чёрных соседей?

Наш дом с красивым названием «Nostrand Gardens», построенный в 50-е годы для военнослужащих, возвращавшихся с Корейской войны, ещё до нашего вселения был однажды отмечен как лучший по уходу за строениями и прилегающей территорией среди кооперативов города Нью-Йорка. Так написано в сертификате, который в красивой рамке висит на стене в офисе кооператива рядом

с вырезанной из The New York Times и тоже в рамке статьёй об этом событии. Мы об этом не знали, когда 16 лет назад покупали здесь квартиру. Нас привлекла цена, близость к транспорту и огромное количество магазинов, банков и всяких других сервисов вокруг. Брокер предлагая нам купить жильё в этом кооперативе, кроме перечисленного, заметил: «и ни одной чёрной семьи».

Тема цвета кожи жильцов в разговорах с соседями никогда не звучала, если соседи были из второго и более поколений живущих в стране, а вот от некоторых наших, так сказать, «русских», приходилось слышать: «слава богу, что чёрные здесь не живут».

Лет пять назад стал я встречать на нашем этаже двух чёрных, приветливых, скромно одетых женщин средних лет. Ограничивались «Hello. How're you? Today is nice weather. Isn't it?» Не более. Ни мужчин, ни детей рядом с ними никогда не было видно.

...Сегодня воскресенье и с утра после завтрака я занялся чистой огромной клетки нашей какаду или какадуньи Ксюши. Занятие это, как правило, на час, и жена на это время отправилась за покупками в продуктовый магазин. Я ещё не закончил чистку, как позволила жена. В голосе чуть дли не рыдания:

– Что делать?! У меня полная коляска продуктов, а лифт не работает! Спускаюсь вниз. Вижу – в коляске продуктов килограмм тридцать. Прикидываю, сколько же это выйдет рейсов на 4-ый этаж пешком с несколькими пакетами в руках и с моей постоянной болью в пояснице? Вижу невозможность осуществления доставки подобным способом и начинаю звонить в службу помощи, суперу, в лифтовую компанию и после многочисленных переговоров понимаю, что ждать починки лифта предстоит, в лучшем случае, 2-3 часа.

Мимо налегке проходят соседи. Сочувствуют, глядя на нашу коляску с горой продуктов. Один даже предложил отнести наверх трёхкилограммовый пакет свиных рёбер. Обречённо сели с женой на ступеньки ждать ремонтников. Слышим – сверху кто-то спускается. Весело щебечут, смеются... Да это же чёрные соседки с нашего этажа. Поздоровались, быстро оценили ситуацию, молча закинули свои сумки за спину, подхватили на руки нашу коляску и...

На нашем этаже, еле отдышавшись, я от полноты чувств расцеловал обеих в губы и под их смущённый смех предупредил: «This is not a sexual harassment».

Брайтон, он и есть Брайтон

Весь вчерашний день провёл в застольных разговорах с другом из столицы мира – мидтаун Манхэттена, обмывая переход из виртуальной дружбы в реальную сперва в «Татьяне» на набережной с последующим переездом ко мне в Шипсед Бей, и потому поход на Брайтон за продуктами был женой перенесён на сегодня.

Знаменитое «Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа» сегодня трансформировалось в «Подъезжая к Брайтону, у меня чуть не слетела бейсболка» от децибел музыки, окутавшей всё пространство Кони Айленд Авеню от перекрёстка с Брайтон Бич Авеню и до набережной. Пока искал парковку, материл про себя и вслух долбаный и распеваящий в преддверии Дня Победы Брайтон, веселящийся вместо скорби по сорока двум миллионам убиенных. А тут ещё, когда шёл от парковки к веселящемуся пространству, повстречал пару молодых с полосатыми георгиевскими лентами в петлице, ошалело застыл, но внятно и громко произнёс: «Ну не ё... вашу мать!» Они ускорили шаг, а я в окончательном расстройстве дошёл до места веселия, где высилась огромная сцена, откуда мегаваттные динамики несли залихватскую лезгинку, влился в толпу и с удивлением стал отмечать полное отсутствие чёрно-рыжих лент, ветеранов-вся грудь в орденах (дай бог им до 120-ти) и плакатов типа «Thanks grandpa for victory» или «We can repeat».

Вдоль улицы с обеих сторон стояли столы всяких компаний, призывающих покупать только их товары или пользоваться только их услугами – обычная весенняя рекламная ярмарка. Душа моя наполнилась благолепием, и глаза мои увлажнились от действия на сцене, где два десятка мальчишек и девчонок в настоящих ярких черкесках, мохнатых папахах и длинных красных платьях самозабвенно летали в грузинском танце. Барабаны смолкли, детишки замерли в красивых позах, а Брайтон взревел от восторга. Отгремели овации, на сцену шустро выкатилась ведущая и восторженно со знакомыми брайтонскими нотками заверещала: «Вам понравилось?» и после громового Yes!!! продолжила: «А что вы думали? Даже солнце вышло посмотреть на этот чудный танец из солнечной Джорджии».

Её голос, усиленный громадными динамиками, взлетел под облака: «Слава Джорджии!» «Слава!» громыхнул Брайтон в ответ.

Бездомный патриотизм

Как обычно, в конце недели приезжаем на Брайтон закупить продукты на следующую неделю. Жена по магазинам с коляской, я – на лавочку на набережную. Часа через полтора жена звонит: «Жду тебя возле машины». Подхожу к машине, начинаю выгружать продукты в багажник. Жена рассказывает:

– В «Золотом ключике», пока стояла в колбасный отдел, слышала разговор двух наших бомжей – они сбоку стояли, ждали, когда Степан (продавец) им колбасных обрезков на закуску насыплет. Рожи небритые, чумазые, руки грязные, а одеты в чистое, пакет в руках, из пакета бутылка торчит. Один другому говорит: «Глянь, в этот раз в синагоге шмотки почти новые давали, а Колян в Россию вернулся и там Америку обсерает, падла».

ПОПУГАИ И ЛЮДИ

Судьба австралийского попугая в Калмыкии

Шёл четвёртый год нашего «отказа». Я не работал, жена не работала. Её сразу, после подачи нами документов на выезд, уволили из школы. Директор школы сухо оповестил, что педагог, стремящийся уехать из страны, не достоин обучать советских детей.

Я уволился ещё до подачи документов, чтобы оградить руководителя предприятия от необходимости объяснять «товарищам», почему его зам. хочет уехать в Израиль. Несколько моих попыток устроиться на работу по специальности оказались безрезультатными, но зато меня регулярно вызывали в исполком на комиссию по трудоустройству и после угроз привлечь за тунеядство давали направление на работу. Я ехал на указанное предприятие, где начальник отдела кадров предлагал мне работу грузчика на складе или помощника кочегара в котельной. Я отказывался по причине низкой квалификации для подобной работы, и на три месяца меня оставляли в покое. Деньги за проданную «Волгу» кончились. Это только в Советском Союзе подержанная машина стоила в 2-3 раза дороже новой (информация для тех, кто хочет back to the USSR). Надо было что-то предпринимать.

Подфартил случай. Меня взяли на работу в один из двух стро-

ительных трестов в Калмыкии. Выделили двухэтажный коттедж, и я перевёз весь коллектив – жену, детей, собаку, кошку и австралийского попугая на новое место – родину Велимира Хлебникова в Малые Дербеты. Собака и кошка и человеческие члены семьи быстро привыкли к новой окружающей действительности, а вот попугая новый пейзаж за окном, особенно когда соседские куры забредали во двор, приводил в крайнее возбуждение. Он сутками сидел на подоконнике, глядел в окно, а если куры подходили ближе, начинал биться и орать что-то сексуально-матерное. Однажды мы не углядели, и он вылетел в открытую дверь, и только Митькой его звали, хоть имя его было Чарлик.

Через какое-то время соседи в разговоре со мной стали отмечать, что молодые куры как-то по-другому кудахчут. С австралийским акцентом, подумал я.

Попугай правдоруб

У моего знакомого умерла жена. Он погоревал и вскоре женился на другой – в эмиграции трудно без жены, да и не в эмиграции тоже. У родителей мужа жил попугай, и они в его присутствии резко высказывались против женитьбы сына на этой женщине. Но кто ж слушает родителей, когда тебе под пятьдесят, да и молодые-то не всегда слушают. Прошло время, страсти улеглись и молодожёны начали приходить к родителям мужа на воскресные обеды. Как только они входили в дом, раздавался радостный крик попугая: «Люська-блядь пришла!»

Нам об этом рассказывала сама Люська и при этом заливисто хохотала.

В Америке есть всё

Несколько дней назад в подъезде на доске объявлений вывели трагическое объявление о том, что в доме выявлено появление клопов и, чтобы ситуация не вышла из-под контроля (get out of hand), менеджмент – наша жилищно-коммунальная контора – привлёк специально обученную собаку, которая будет работать во вторник с 10 до 3 часов и что в это время кто-то должен находиться в квартире.

Во вторник жена в 9 ушла из дому со словами:

– Не могу смотреть, как бедную собачку будут пять часов заставлять нюхать клопов.

Собака пришла около 12-ти. Не одна, с ней пришёл проводник и супер (мастер из ЖКК). Маленькая симпатичная собачонка деловито ввела в квартиру такого же симпатичного проводника – лицензированного инспектора. Супер остался стоять в раскрытых дверях. Инструктор весело произнёс «work – работай», и собачка весело кинулась к дивану на предмет выявления наличия...

И тут началось то, ради чего я и пишу этот пост. Наша Ксюша-какаду с размахом крыльев под метр, обычно днём мирно сидящая снаружи клетки, взмыла под потолок и с воплем «Hello! Суки! М-а-а-а-м-а!!!» спикировала на голову инструктора и вцепилась ему в волосы. Собака кинулась под стол, инструктор от неожиданности согнулся пополам, нелепо размахивая руками, супер тоже согнулся пополам от хохота, а я заорал, перекрывая дикий визг собаки и иерихонскую трубу ксюшиного боевого клича:

– Шукрат, закрой дверь – три тыщи улететь могут!

Ксюша отпустила волосы инструктора и, не переставая орать, перелетела ко мне на плечо. Я начал её успокаивать, инструктор с собакой обнюхали диван и пошли в спальню. Я ему говорю:

– Закрой дверь, а то мой орёл тебя и там достанет.

Он мне:

– Не положено нам находиться в комнате без хозяев.

Говорю ему: «Я тебе доверяю».

Ну он и закрыл дверь, а через минуту вылетает с собакой из спальни под дикий крик нашего шиншилла Шушика с воплем:

– Why didn't you notify me about your animals? My dog is not able to work under these conditions. He works with bed bugs but not with chinchillas and parrots! (Почему вы не сообщили мне о ваших животных? В этих условиях моя собака не может работать. Она работает с клопами, но не с шиншиллами и попугаями!)

Короче, обнюхав кровать во второй спальне, собачка с инструктором бочком-бочком мимо Ксюши, сидящей у меня на плече и мимо Шукрата, никак не могущего разогнуться от хохота, проскользнули за дверь и оттуда прокричали мне:

– Your apartment is clean! (Ваша квартира чистая!).

Положительное в этой истории то, что Ксюша впервые (и, что характерно, по делу) произнесла слово по-русски. Hello и мама она выучила у предыдущих хозяев-американцев. Значит, она всё-таки обучаемая, а я узнал, что Шушик с перепугу может орать, пугая нервных собак с инструкторами. И второе, что у нас в квартире клопов нет, а в Америке они есть, раз на них собак натаскивают. Стало быть, в Америке есть всё.

Виталий Розеншайн родился в Киеве. В марте 1944-го из сибирской эвакуации с родителями прибыл на восстановление Сталинграда, в котором и прожил вплоть до отъезда на ПМЖ за рубеж. В строительстве прошёл все ступени: от прораба до руководителя отраслевого главка. Строил по всему Советскому Союзу. С 1993 года живет в Нью-Йорке, где после 20 лет работы консультантом на строительстве различных объектов, в том числе на восстановлении разрушенного терактом Всемирного Торгового Центра, вышел на пенсию. С женой справил золотой юбилей. У них двое детей и четверо внуков.

Елена ЛИТИНСКАЯ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

К...

Зимою нам ниспослано так мало
Тепла и света. Долог путь к весне.
Я знаю, что кого-то заменяла
тебе. Ты заменял кого-то мне.
Движеньем быстрым повернуть к стене
портрет того, кого вчера не стало.
Смахнуть слезою жертвенность весталок
и замереть, запутавшись в тене-
тах рук твоих. Я жадно согревала
себя тобою. Краткий миг провала
в блаженство. Одиночество на дне
его. А там на крутизне
перед паденьем Солнце танцевало
насмешливо. Мы приблизились к весне.

Февраль. Достать чернил. Не плакать
О злой судьбе.
И голову не класть на плаху –
Сама себе.

Видать, февраль свое отвьюжил.
Такая тишь.
Я – память в узелок потуже.
Меня простишь?

Прости, что больше я не в силах
В слезах стареть.
Пришлю цветы тебе с посыльным.
Так проще ведь.

Там над земным последним кровом
Тебя хранит
Невозмутимый и суровый,
Как страж, гранит.

А я храню твою улыбку,
И смех, и грех.
Как ты умел играть на скрипке
Моих утех...

Умел сбежать, запутав тропы,
Так... не со зла.
А я – примерной Пенелопой –
Ждала, ждала...

Ждать больше нечего. Ты сгинул.
Как кожуру,
Пытаюсь траур вдовый скинуть.
Не отдеру.

Служа судьбы своей капризам,
Твержу одно:
«Люблю тебя... или твой призрак.
Не все ль равно?»

Ночная метель

Снег упрямо валит и валит
с необъятного черного неба.
Все прошло. Ни морщины гнева.
Я – спокойствие каменных плит.

Я устала искать черепки
на раскопках нашего детства.
Снег идет. И некуда деться
от щемящей снежной тоски.
Стихни, вьюга, замри, приглуши
свой невидимый адский оркестр.
И печаль мою болью не пестуй,
и светилам мерцать разреши.

Ушедшие и забытые

Нас больше нет. Мы камни, травы, лес.
Мы – облака, гонимые ветрами.
Мы – вам напоминание Небес
О шаткости ступеней под ногами.
О пьяной иллюзорности мечты,
Что в судорогах бьется, как в падучей.
О том, что если вы с судьбой на «ты»,
Она вас грубо вежливости учит.
Мы – ваши тайны, сны, иконостас,
В пути за славой – камень преткновенья.
Споткнетесь – значит, вспомните о нас,
В рутинном дне прорвав цепочку звеньев.

Привязанность

Пишешь, у тебя ко мне привязанность.
Слово-то какое отыскал.
Недочувственность и недосказанность.
Ретро-ребус, робость и тоска...

Как понять мне это слово зыбкое?
Привязаться сам ты захотел?
Или повязали по ошибке
и вели ко мне, как на расстрел?

Может, цепью ты ко мне прикован:
день и ночь тебя я стерегу?
Ничего кошмарного такого
я не пожелаю и врагу.

Коли ритмика твоя сердечная
этой привязью угнетена,
кандалы разбить, чтобы навечно
ты свободен – все четыре на...

*Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать...*

Иосиф Бродский

Три страны, три погоста.
Так сложилось, родня...
Далеко ехать в гости.
Вы простите меня!

Там у вашей обители –
ни молитвы, ни слёз.
За разлуку обидели.
Кто б цветочки принёс!

Время надписи стерло.
Ни звезды, ни креста.
И хватает за горло
пустота...

В стихах, что я не сочинила,
не будет горечи и боли.
Не расплывутся в них чернила
от слёз, не выпланных боле.

Не покачнутся пьяно строчки
в веселье дерзко-бесшабашном.
И не погонит муза прочь их
на поэтическую пашню.

Не будет там цветов засушенных
на память о сплетенье буден,
когда одна лишь мысль о суженом.
Напрасно не ищи. Не будет.

Раскаянья, о том, что было
и перед кем теперь в долгу я,
не жди. Вот пегая кобыла.
А где Пегас? Нашёл другую?

Елена Литинская родилась в Москве. Окончила славянское отделение филологического факультета МГУ имени Ломоносова. В 1979-м эмигрировала в США. Издала 8 книг стихов и прозы. Стихи, рассказы, повести, очерки, переводы и критические статьи Елены можно найти в «Журнальном зале» <http://magazines.russ.ru/authors/l/litinskaya>, периодических изданиях, сборниках и альманахах США и России.

Литинская – призер и лауреат нескольких международных литературных конкурсов. Она – заместитель главного редактора литературно-художественного журнала «Гостиная» (gostinaya.net). Живёт в Нью-Йорке.

Андрей ОСТАЛЬСКИЙ

ИНОСТРАНЕЦ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Журнальный вариант

*«От жажды умираю над ручьем,
смеюсь сквозь слезы и тужусь, играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом.
Чужбина мне – страна моя родная...
Я всеми принят, изгнан отовсюду».*

Франсуа Вийон,

«Баллада поэтического состязания в Блуа».

Перевод И. Эренбурга

Пролог

В тот темный январский вечер три шикарных машины с дипломатическими номерами выстроились в ряд в зоне прибытия аэропорта Абу-Даби. Все они приехали встречать меня, и я должен был сделать выбор: в какую из них садиться. Выбрал я неправильно. И пропал.

Ну то есть не совсем, не буквально пропал. Но угодил в серьезный переплет, с далеко идущими для меня, моей семьи, а может быть, и для некоторых других людей последствиями. Подумать только: от чего порой зависят повороты, зигзаги и даже итоги нашей жизни. Если бы я только знал, как много будет определено тем моим выбором, то я бы, конечно, потрудился серьезно подумать, прежде чем решить, в какую из трех машин сесть. А я просто поддался импульсу.

Приключения, часто пугающие, сопровождали меня всю жизнь. Впервые попал за пределы родины только в 1978 году и сразу – с корабля на бал – оказался посреди ливанской гражданской войны. И долго потом отправляли меня исключительно на Ближний Восток –

проклятие арабистского образования. И только во второй половине жизни сумел избавиться от него, превратиться в «арабиста-расстригу» и вдоволь наездиться по совсем другим регионам и континентам. Больше чем в 60 стран ступила моя нога, и в некоторых из них удалось даже пожить! Но разного рода приключения все равно преследовали меня, хоть я к ним нисколько не стремился – видно, планида у меня такая. В конце концов я просто устал от них. Надеюсь, что удастся теперь на английском морском берегу, с которого в ясную погоду хорошо видна Франция, наконец отдохнуть, спокойно предаться воспоминаниям.

Но все же самое важное приключение, круто изменившее жизнь, началось именно тогда, в январе 1991 года.

Опасная комедия ошибок

Закрываю глаза и вижу: трое солидных господ, вернее, в те времена еще товарищей, поджидают меня в зале прилета. Двое стоят вместе и разговаривают, третий, значительно старше остальных, седой, коренастый, восточной внешности, держится особняком. Он единственный, кого я знаю в лицо, но вот ерунда какая: его-то здесь увидеть я никак не ожидал. Это для меня сюрприз, даже шок, может быть, у меня челюсть отвисла в буквальном смысле этого выражения. Наверно, он встречает не меня, а какого-то другого пассажира из Москвы, думаю я – и ошибаюсь. Он делает мне шаг навстречу и широко, во все лицо, улыбается. Он здесь именно по мою душу.

– Привет! – говорит он.

– Привет, – выдавливаю я из себя. – Никак не ожидал тебя здесь увидеть.

– Меня Витя попросил подменить его и встретить тебя. А то у него жена срочно в Москву собралась, он ее провожает в зале вылетов. Кстати, познакомься, это Саша, первый секретарь посольства, а вот этот юноша – Сергей, заведующий бюро АПН.

Седовласый легонько подталкивает меня в сторону двух незнакомых мне советских заграничников, я улыбаюсь, жму руки. Симпатичный апээновец Сергей расплывается в улыбке в ответ, дипломат Саша сохраняет выражение серьезной сосредоточенности, подходящей его официальному статусу.

– Видишь, сколько народу тебя встречает, тебе надо выбрать, с кем из нас ты поедешь, – говорит тем временем седовласый, и за его любезной интонацией мне чудится легкая скрытая насмешка.

Я растерян. Перевожу взгляд с одного на другого, потом на третьего. Сережа все еще приветливо улыбается, а двое остальных сохраняют невозмутимое выражение лиц – сфинксы, да и только. Что же, черт возьми, делать?

Моя газета – «Известия» – отправила меня на арабский восток освещать грядущую войну в Заливе – все считали ее неизбежной. Весь вопрос был только в том, когда и как начнутся боевые действия. И никто не знал, как долго они продлятся, сколько времени понадобится коалиции 35 государств во главе с США, чтобы заставить иракскую армию уйти из оккупированного Кувейта. Редакция решила, что мне надо попытаться попасть в Саудовскую Аравию, которой отводилась важная роль в предстоящей операции «Буря в пустыне» и которая считала себя следующей целью в экспансионистских планах иракского диктатора Саддама Хусейна, а потому была кровно заинтересована в успехе коалиции. К тому же Саддам грозил в случае начала военных действий нанести удары по саудовской территории. Короче говоря, эта страна находилась практически на передовой. Там и было самое место журналисту. Но фокус состоял в том, что дипломатических отношений между СССР и королевством в то время не было, и для советского гражданина получить саудовскую визу считалось делом почти невозможным. Заместитель министра иностранных дел СССР Владимир Федорович Петровский, с которым у меня сложились дружеские отношения, считал, что легче всего добыть заветную визу было бы в Абу-Даби, учитывая теснейшие союзнические связи между Эр-Риядом и Эмиратами.

– К тому же там посол – Харчев, наш человек. Вы же знаете его историю, – сказал мне Петровский. – Я ему напишу, попрошу сделать все возможное, чтобы вам помочь.

«Наш человек»? Я с полуслова понял, что Петровский имеет в виду под этим термином. История Харчева была в Москве на слуху. Малопримечательный партаппаратчик, он волею слепого случая оказался в годы перестройки во главе Совета по делам религий, сменив на этом посту генерала КГБ, ярого сторонника уничтожения церкви Куроедова. (Его мечтой было «показать последнего попа по

телевизору»). Александр Яковлев, секретарь ЦК по идеологии, подталкивал Харчева к тому, чтобы постепенно начать давать церкви побольше свободы, вывести Совет по делам религий из-под контроля КГБ. Харчев, видимо, принял эти слова как руководство к действию, но то ли не проявил достаточного дипломатического таланта и политической хитрости, то ли дело это в любом случае было безнадежное, но факт в том, что кагэбэшники вместе с реакционной частью аппарата ЦК сильно на него осерчали и провели многоходовую интригу: уличили Харчева в каких-то выдуманных, а может, и реальных ошибках. Яковлев не смог его защитить, председатель КГБ Крючков пожаловался Горбачеву, в политбюро его поддержал главный противник Яковлева, негласный лидер консерваторов Егор Лигачев – в общем, как говорили записные московские остряки, «чекисты Харчева схарчили». В результате в общественном сознании сложилось четкое представление о нем как о смелом реформаторе, павшем жертвой реакционного заговора.

По правилам аппаратных игр проигравшему полагался утешительный приз – какая-нибудь менее важная, но все же престижная должность. Харчева, моряка по основному образованию (который тем не менее еще при Брежневем успел побывать послом в Гайане), снова «двинули» на дипломатическую работу, и чисто случайно вакантным в тот момент оказался пост совпосла в Объединенных Арабских Эмиратах. Глупое назначение, если задуматься, поскольку в Абу-Даби в те сложные времена требовался опытный, профессиональный дипломат, желательно владеющий арабским языком и разбирающийся в специфике региона. Между тем, особых талантов на международном поприще Харчев не продемонстрировал, да в Гайане, стране, лежащей на самой дальней периферии политических интересов великих держав, они и не требовались – то была полная синекура.

Впрочем, это было вполне в духе советских традиций: не знаем, что делать с провинившимся деятелем, – пошлем его в первую попавшуюся страну. Такие послы становились довеском, бременем, ложившимся на коллективы посольств, профессиональные дипломаты должны были отдуваться за них, делать всю работу, а руководители считали своей обязанностью и правом лишь произносить официальные речи и важно надуть щеки. Но даже это не всегда у

них удачно получалось. Никакими иностранными языками они, как правило, не владели, на встречи с местными «ВИПами» и послами других государств ходили в сопровождении переводчика – как правило, первого секретаря посольства, который не только исполнял обязанности толмача, но и удерживал посла от явных глупостей, подсказывал формулировки вопросов и ответов. А по завершении встречи дипломат должен был письменно изложить суть беседы, и запись эту посол затем редактировал, вносил какую-нибудь косметическую правку для подтверждения своей важности (но при этом коррективы не всегда меняли текст к лучшему).

Конечно, среди послов встречались и высокие профессионалы, как, например, Анатолий Добрынин, 24 года представлявший СССР в США и внесший большой личный вклад в предотвращение мировой ядерной войны, или легендарный Сергей Виноградов, благодаря которому в значительной степени между Москвой и Парижем в 60-х установились особые отношения. Думаю, что без него такого мы бы не достигли. Нужно было не только обаять де Голля и его министров, но и своих руководителей постоянно направлять в верное русло, удерживать от ошибок и идиотских поступков. Чего стоил один эпизод с гениальным танцором Рудольфом Нуреевым, попросившим в 1961 году политического убежища во Франции! Если бы Виноградову, при поддержке советника посольства по культуре Вдовина, не удалось помешать КГБ провести показательную акцию наказания-устрашения «предателя» (резидентура предложила сломать ему ноги), то об особых отношениях и дружбе с французами можно было бы забыть. При чем для этого требовался не только здравый смысл, но и личная отвага: ведь выступая против воли мощественного комитета, послы немало рисковали...

Но даже при хороших послах на советников и первых секретарей ложится особая нагрузка. Герой моего любимого эпизода – первый секретарь посольства СССР в Мозамбике Александр Смирнов (в будущем – посол в Португалии), которому довелось переводить переговоры Брежнева с мозамбикским лидером Саморой Машелом. Пока африканский гость долго и страстно говорил о богатом потенциале своей страны, Брежнев заснул, но через несколько минут вдруг проснулся. С изумлением и ужасом уставился он на иссиня-черное лицо на другой стороне стола переговоров и, резко

прервав речь Машела, спросил: «А ты сам-то откуда?». Александр Смирнов, ни на секунду не запнувшись, произнес по-португальски нечто совсем другое: придумал некий вежливый уточняющий вопрос, показывающий, как якобы внимательно глава СССР слушал собеседника. Потом, переводя на русский ответ Машела, вставил в него слова: «У нас в МОЗАМБИКЕ, товарищ Брежнев...».

Переговоры были спасены, присутствовавший на них посол Вдовин (от которого я и слышал эту историю) был в восторге от находчивости своего первого секретаря и сделал все от него зависящее, чтобы помочь потом его карьере – в итоге Смирнов тоже дослужился до посла, и это более чем справедливо. Но все же в советские времена образованные и профессиональные послы встречались не так уж часто. Ничто вроде бы не давало оснований полагать, что Харчев может быть одним из них. Помимо всего прочего, до меня доходили слухи о его, типичной для партработника, грубости, о публичных «порках»-унижениях, которые он учинял дипломатам на глазах коллектива.

Но вот эти магические слова – «наш человек» – вынудили меня допустить, что дурные слухи преувеличены. Так ведь тоже бывает: в МИДе и вокруг него злопыхательские сплетни – дело обычное. Ошельмуют человека за здорово живешь. Большинство московских либералов и западников верили, что Харчев искренне пытался наладить новые, перестроечные отношения между государством и церковью и на этом погорел, стал невинной жертвой реакционных чекистов и цекистов. Из этого я и исходил. «Ну и не может же такой опытный дипломат, как Петровский, сильно обмануться в человеке», – думал я.

Но вернемся в зал прилетов аэропорта Абу-Даби. Почему все-таки там у меня оказалось сразу трое встречающих? Дурацкая это была история.

Почему-то мне не пришло в голову, что после телеграммы из МИДа посольство пошлет машину – да еще и со старшим дипломатом! — встречать меня в аэропорту. А потому я связался со своим старым знакомцем и в прошлом коллегой по ТАССу Виктором Лебедевым, тот обещал обо всем позаботиться.

Тем временем мой заботливый друг Дмитрий Осипов настоял на том, чтобы все же подстраховать Виктора, и попросил свое-

го близкого приятеля Сергея Канаева, возглавлявшего в Абу-Даби бюро АПН, тоже подключиться к заботам обо мне. Вот почему и он, и первый секретарь посольства оказались в тот день в зале прилетов аэропорта Абу-Даби.

Но что же насчет третьего встречающего, старого знакомого, чье появление там вместо Лебедева так меня поразило?

Лет так примерно за 11-12 до описываемых событий, когда я еще трудился в редакции Востока ТАСС, меня вызвали в некий кабинет, куда нормальные люди старались попадать пореже. Там обычно либо давали взбучку за какой-нибудь проступок — типа легкой аморалки или злоупотребления алкоголем, и даже за рассказ какого-нибудь не то чтобы совсем антисоветского, но все же политически не совсем выдержанного анекдота (за по-настоящему антисоветский выгнали бы сразу) и так далее. Из этого кабинета за нами, журналистами-международниками, внимательно присматривали. Ходили слухи, что там иногда могли и несколько более зловещие разговоры вести — заставить сделать кое-что сомнительное с точки зрения общечеловеческой нравственности. С другой стороны, и для совсем безобидных вещей — скажем, для того, чтобы отпроситься в короткий отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам — туда же надо было сходить и получить там разрешение.

На этот раз у стола «присматривающего» сидел незнакомец — коренастый восточный человек с мягкой обаятельной улыбкой, немолодой уже, но пока еще не такой седой, каким он предстанет передо мной в 1991 году в Абу-Даби. «Андрей, хотим попросить тебя о помощи — причем совершенно конфиденциально, — сказал «присматривающий». — Товарищ Ш. должен через недели две-три оказаться в качестве журналиста-тассовца в одной важной арабской стране. Времени на нормальную подготовку нет. И вот мы решили просить тебя его подготовить — памятуя, что ты и сам относительно недавно осваивал все нюансы профессии и, как нам кажется, немало в этом преуспел. А наш товарищ Ш. никогда с журналистикой связан не был. Короче говоря, научи его тому, чему учили тебя, только в очень быстром темпе. Родина тебя не забудет».

К тому моменту я уже имел возможность наблюдать с достаточно близкого расстояния коллег «товарища Ш.», использовавших «крышу» ТАСС для разведывательной работы. Но обычно они при-

ходили в редакцию на достаточно долгий срок: несколько месяцев, а то и год. Те из них, кто не ленился и был достаточно грамотен, без особого труда осваивали азы тассовского ремесла. В конце концов далеко не всем из нас приходилось (да и не всем хотелось) писать что-то более сложное, чем сухое изложение официальных документов или пересказ газетных статей.

Одно из далеко не главных, но очень типичных проявлений ма-разма советской системы заключалось в том, что мы, «чистые» журналисты ТАСС вроде как не должны были знать, что это за люди, которые вдруг появляются среди нас и, просидев в редакции гораздо меньше, чем мы (некоторым из нас приходилось ждать командировки годами), сразу же отправляются за границу. Причем почему-то всегда заведомо известно, куда именно они поедут работать, в то время как нас, простых смертных, отправят туда, где возникнет вакансия, причем решится это чаще всего в последний момент. Все три моих командировки – в Ливан, Йемен и Ирак – возникали совершенно неожиданно и спонтанно.

Не догадаться об особом статусе и функции этих, других, было совершенно невозможно. К тому же, они держались отдельно, особняком, частенько о чем-то перешептывались, замолкая при нашем приближении. Мы в свою очередь обсуждали их за спиной, откуда-то все знали, кто из них «ближний» (КГБ), а кто «дальний» (военная разведка – ГРУ). Некоторые из разведчиков даже не скрывали своей истинной профессии, видно, им нестерпимо хотелось похвастаться. Но все должны были притворяться. С нас, в результате, даже подписок о сохранении секретов не брали, потому что предполагалось, что мы, идиоты, ничего такого не замечаем и ни о чем не догадываемся.

Были эти «подсадные утки», конечно, очень разные: обаятельные и не очень, умные и не очень, злые и не очень. Но почти всем им было свойственно некое высокомерие, с написанным на лице тайным знанием своего превосходства над обыкновенными людьми, принадлежности к особому ордену.

У «товарища Ш.» ничего подобного я не заметил. Он был приятным и забавным собеседником, по внешнему впечатлению мягким и интеллигентным, без малейших признаков фанфаронства и высокомерия, с отличным чувством юмора. И даже странной для

своей профессии самоиронии он не был лишен. Мы почти подружились — насколько это было возможно в такой своеобразной ситуации. Был он и прилежным учеником, хотя сразу стало ясно, что журналистских звезд с неба хватать не будет никогда. Но для элементарного обеспечения правдоподобной «крыши» этого и не требовалось, у нас и некоторые «чистые» коллеги не особенно блистали стилистическим мастерством. Никаких тайн своей настоящей профессии он мне не раскрыл, да я и остерегался спрашивать. Потом он исчез, и я думал, что скорее всего, не увижу его больше никогда.

И вот вдруг встреча: много лет спустя, в другой стране, в совсем другой политической ситуации в мире и на нашей родине. У меня круто шла карьера в перестроечных «Известиях», я примкнул к самой либеральной фракции в газете, негласным лидером которой был Игорь Голембиовский. Это были яркие, талантливые люди, большие мастера, мне льстило, что они приняли меня как своего. Привечали меня и в яковлевской части отдела пропаганды ЦК, привлекали, неофициально и бесплатно, к подготовке речей и документов. Из озорства стал я давать интервью радио «Свобода» и Биби-си. Для КГБ я стал врагом. И я этой организации по-прежнему побаивался, но уже не так, как прежде.

И вот черт меня дернул: я решил сесть в машину к «товарищу Ш.». Какие-то странные, сентиментальные чувства меня обуяли, ведь мы действительно расстались очень по-дружески, а остальных встречавших я видел впервые. И любопытство тоже имело место быть: что же стало с моим «воспитанником», как он здесь, в Эмиратах, оказался? Ясно, что уже давно не корреспондент, бери выше. Но я, разумеется, понятия не имел, какую именно должность он занимает. Знал бы, держался бы от него подальше. А так вышло, как вышло.

– Знаешь ли ты, Андрей, кто я? – спросил «товарищ Ш.», как только мы отъехали от аэропорта.

– Понятия не имею.

– Имей в виду: я здешний резидент.

Широкая публика часто считает слово «резидент» просто синонимом слова «разведчик» или «шпион». На самом деле «резидент» – это начальник резидентуры, главный представитель разведслужбы в данной стране, ему полностью подчинены все остальные ее

сотрудники, работающие под крышами различных организаций. Как правило, числится резидент советником посольства, но считает себя почти равней послу. В советское время власть их была велика, в их силах было сломать карьеру, сделать перешедшего им дорогу навсегда «невъездным». Их побаивались даже послы, хотя в послесталинские времена последние стали считаться номенклатурой политбюро и были отнесены к категории неприкасаемых. В Йемене КГБ накопил компромат на посла (большой был ловелас), но когда так называемый «офицер безопасности» послал эти материалы в центр, его без разговоров отозвали в Москву и выгнали из органов, говорят, даже без пенсии. Я знал несколько случаев, когда посол воевал с резидентом, но это могло кончиться плачевно для обоих.

Мой крайне опытный во всяких таких делах тесть учил меня: если резидент или его люди будут приставать с просьбами, принуждать к сотрудничеству, то ни в коем случае прямо не отказывайся. Притворись дурачком, скажи: «Ну, конечно! Я же советский патриот! Но вот только я пойду к послу, получу у него разрешение, мне же в ЦК говорили, что во всех деликатных случаях с послом надо советоваться, он здесь, в стране пребывания, мой начальник и представитель политбюро. От него не может быть тайн». «В подавляющем большинстве случаев просьба тут же отпадет, – говорил тесть, – чекисты не захотят, чтобы посол был в курсе их дел...» Я следовал совету тестя, и он срабатывал.

В те годы – во времена Перестройки – кагэбэшники вынуждены были действовать осторожно, с оглядкой. Власть их пошатнулась. А после падения СССР, по крайней мере в первые постсоветские годы, дело дошло до того, что некоторые посольства и вовсе стали избавляться от «дипломатов в погонах», так, например, поступил посол в Великобритании Борис Панкин. В мои последние известинские годы перед отъездом в Лондон начальники разведки КГБ передо мной чуть ли не заискивали, и один раз дело дошло до того, что самый что ни на есть главный начальник советской разведки задал мне полупшепотом невероятный вопрос: на кого я бы посоветовал сделать ставку: на Горбачева или на Ельцина (дело было в короткий период двоевластия в конце 1991-го года).

Долгие, долгие уже годы не имею я, к счастью, никаких отношений с российской государственной системой, но доходят до меня

слухи о том, что вроде как старые времена возвращаются, причем политбюро теперь нет, спецслужбы всемогущи, и послы все чаще вынуждены лебезить перед резидентами.

В тот жаркий эмиратский вечер я еще барахтался в странном межеумочном пространстве, застрял на ничейной полосе, погряз в чистилище, потому что оставался отчасти еще советским журналистом, у которого мурашки бежали по спине. И дело было не в мощном кондиционере, установленном в шикарной машине, которая плавно несла меня к советскому посольству. Боже мой, меня везет по городу сам резидент КГБ собственной персоной. «Хорошо ли это?», – спрашивал я сам себя. И сам себе отвечал: «Нет». Во-первых, кем меня сочтут следящие за резидентом местные спецслужбы, обменивающиеся к тому же информацией со спецслужбами западными? А во-вторых...

«Товарищ Ш.» был само радушие, расспрашивал о московских новостях и политических сплетнях, ясно давал понять, что мне бояться нечего и что он вообще считает себя в некотором роде моим должником и будет рад помочь. И в общем-то я ему интуитивно поверил.

– Но послушай, – сказал я. – Меня вот что беспокоит... Ты ведь теперь поведешь меня к послу, будешь меня с ним знакомить?

– Ну да, он сидит, ждет у себя в кабинете. Показывает, как самоотверженно трудится до поздней ночи.

– Не выйдет ли недоразумения? Что он подумает обо мне, если ты меня ему будешь представлять? Пожалуйста, очень тебя прошу: объясни ему сразу четко, что мы вовсе не коллеги, так случайно получилось, жизнь свела в какой-то момент, подружился – в личном исключительно плане.

– Да не волнуйся ты, все объясню ему.

И я успокоился (а напрасно!). Стал глядеть в окно, на это чудо из чудес – выросший в пустыне благодатный мираж.

...Посол Харчев действительно ждал меня в своем кабинете, под уютной настольной лампой с абажуром, перед ним лежала какая-то, судя по всему, невероятно важная бумага, от которой он с видимым трудом оторвался, когда мы вошли. Но переворачивать ее «вниз лицом», как полагалось, почему-то не стал. «Товарищ Ш.», он же резидент КГБ в ОАЭ, бодро и ясно доложил, как мы и договаривались: так-то и так-то, мы с Андреем знакомы по ТАССу, в насто-

ящий момент коллегами ни в каком отношении не являемся, никакой общей работой не объединены. Андрей – известный журналист, видное место занимает в «Известиях», приехал по их линии в командировку, но я его встретил в аэропорту и привез в посольство — по старой памяти и по просьбе Виктора Лебедева, корреспондента ТАСС. В общем все правильно и четко было изложено. Только посол слушал как-то странно, вроде бы и не слыша, кивал головой рассеянно, а мыслями, казалось, парил где-то далеко-далеко.

– Я могу оставить вас вдвоем с Андреем? А то у меня есть срочные дела, – спросил посла мой старый знакомец.

– Идите, – милостиво разрешил Харчев. И за сим «товарищ Ш.» откланялся.

А я воспрял духом. «Ну теперь все, ситуация разрядилась, – думал я с облегчением. — Теперь окончательно ясно, что я к «Конторе» никакого отношения не имею. Иначе с чего бы это начальник резидентуры ушел по другим делам во время нашего разговора с послом? Ведь когда кто-нибудь важный приезжает из, скажем, Минвнешторга, торгпред в стране пребывания обязательно присутствует на беседе. Корреспондент газеты или информационного агентства непременно будет участвовать в разговорах посла с гостем из штаб-квартиры этого СМИ в Москве и так далее и тому подобное. То же самое происходит при появлении любых других значительных фигур из того или иного ведомства. Отсутствие местного представителя на такого рода встречах – это нечто странное, нелогичное и даже чрезвычайное. Я о таких случаях даже не слыхал. Вывод: резидент ушел, я не из его конторы!

После обмена несколькими дежурными любезностями посол Харчев взял быка за рога.

– Москва поставила передо мной задачу оказывать вам всевозможное содействие, – сказал он. – Чем конкретно я могу помочь?

– Если бы вы могли посодействовать мне в получении саудовской визы, я был бы вам крайне признателен, – отвечал я.

– Разумеется. Завтра же запрошу встречу с саудовским послом. У меня с ним отличные отношения, думаю, что удастся визу вам добыть. Но, наверно, ему придется обратиться в Эр-Рияд. Пока там будут решать, пройдет несколько дней, а то и пара недель... Что бы вы хотели сделать тем временем?

– О, найду чем заняться, интересно посмотреть страну, я ведь до сих пор бывал только в Дубае, да и то проездом. Может быть, и материал для статьи удастся собрать, – сказал я.

И вот тут... до сих пор глаза на лоб лезут, когда вспоминаю.

Харчев вдруг возьми и скажи:

– А еще у меня в ближайшие дни встреча с начальником местного генштаба. Могу договориться, чтобы он дал вам интервью. Хотите?

Я, честно говоря, опешил.

– Спасибо, Константин Михайлович, это очень любезно с вашей стороны, но я... Я не знаю... это так неожиданно... Мне надо подумать и посоветоваться с редакцией, – бормотал я.

А сам я сидел и думал: вроде бы журналист должен хвататься за любую возможность взять интервью у официального лица, да еще такого, которое обычно никаких интервью не дает. Но с другой стороны, как странно это... И почему «Известия» должны стремиться к публикации материала такого рода? Да если местный генерал вдруг и согласится на интервью, то наверняка по сути ничего интересного не скажет, повторит официальные заявления своего правительства и МИДа – и это в лучшем случае. А нам придется все это потом печатать, ведь иначе будет конфуз... Нет, весь накопленный опыт говорил мне: не надо с этим связываться. А Харчев, как-то странно посмеиваясь, продолжал:

– Вот-вот, посоветуйтесь с редакцией, ха-ха... Но мой совет: воспользуйтесь случаем, начальник генштаба тут человек интересный...

И после паузы добавил, как гвоздь заколотил:

– Заодно и завербуете.

– Что, простите? – мне показалось, что я ослышался.

Харчев смотрел мне в глаза и странно улыбался стеклянной полуулыбкой, полуусмешкой. А я глядел на него и думал: «Нет, не может быть! Это шутка, наверно, была такая, дурацкая. Даже если он все же думает, что я какой-то невероятно важный чин из КГБ, он все равно не полный же идиот. Не может же он не понимать, что попытка ни с того, ни с сего, с налету, завербовать начальника генштаба относительно дружественной, но все же вовсе не союзной страны, может закончиться только одним – чудовищным скандалом, немедленной

высылкой совершившего такой кретинский шаг. И колоссальными неприятностями для посольства и лично для него, посла. Тем более, если именно он такого горе-вербовщика генералу представит!».

Даже куда менее дерзкие шаги кончались катастрофой. Например, в одной стране, где мне довелось работать, сотрудник КГБ всего лишь начал разрабатывать подходы к брату президента – то его сразу же выслали, а послу дали нахлобучку. А тут такое...

«Нет, думал я, это он не всерьез, это розыгрыш, издевается, веселится. Ну юморной такой посол попался. Бывает, наверно, хотя я таких пока и не встречал».

Я ей-богу, не знал, как на такой юмор реагировать.

А Харчев тем временем переменял тему. Но как!

– Андрей Всеволодович, – проникновенным голосом сказал он. – у меня к вам встречная просьба. Хочу воспользоваться вашим присутствием и посоветоваться.

– Ну конечно, Константин Михайлович! Если чем-то могу быть вам полезен... Хотя не могу себе представить, чем... Но, пожалуйста, буду рад...

– Я вот, видите, засиделся допоздна, мучаюсь с телеграммой, которую должен отправить срочно в Москву – это о делах военных... Возникла неожиданная возможность продать Эмиратам большую партию кое-какой техники. И много валюты для нашего государства заработать, а заодно наши позиции здесь укрепить. Будьте добры, взгляните на то, что я тут написал. А то ведь я в этих делах несведущ, никогда с продажами оружия не сталкивался, не знаю толком, как все это поточнее сформулировать, на какую реакцию и каких ведомств рассчитывать.

Я не мог поверить своим глазам и ушам: посол пытался подсунуть мне ту самую, исписанную ровными строчками бумагу, что лежала перед ним на столе...

Я в ужасе отпрянул. Ведь это проект сверхсекретного донесения, которое посол скоро передаст шифровальщику. И он, посол, намеревается совершить уголовное преступление, караемое, кажется, длительным сроком лишения свободы! Разглашение государственной тайны весьма высокой категории. Да и я, кажется, тоже могу быть обвинен в нарушении закона, если хоть слово прочту!

– Нет, Константин Михайлович, прошу вас, не надо, я не стану этого читать...

Но посол упорствовал, все решительнее протягивал ко мне злополучную бумагу. Я отодвинул свой стул подальше от стола, отвернулся. Даже глаза на всякий случай закрыл.

И тут меня осенило! Вот, наверно, как он понял заверения резидента КГБ, что мы с ним не коллеги и вместе не работаем. Он вообразил, что я из другой разведывательной структуры, из ГРУ – военной разведки! Вот почему акцент на военные дела, вот откуда идиотская (все равно идиотская!) мысль о возможности вербовки начальника генштаба! Ох, черт возьми, как это мы с «товарищем Ш.» не доперли, что он может именно так его слова истолковать. Хотя, с другой стороны, ведь должен быть в посольстве и резидент ГРУ, почему же он в таком случае не появился на авансцене? Нет, никак концы с концами не сходятся.

– Константин Михайлович, поймите, я журналист «Известий», – бубнил я. – Приехал сюда, чтобы попасть в Саудовскую Аравию и оттуда освещать события...

– Да, да, я понял насчет Саудовской Аравии... Я же сказал вам, что все сделаю, не беспокойтесь, – отвечал он, но в его голосе теперь чувствовалось раздражение.

Убрал он, наконец, злополучную бумагу подальше от меня, даже, кажется, перевернул лицевой стороной вниз.

«Ну, слава богу!», – подумал я с облегчением.

Но тут беседа приняла новый и снова неприятный оборот.

– Одного не могу понять. – тоном праведного возмущения, словно с трибуны, заговорил посол. – Как вы, в вашей организации, можете позволить, чтобы в нашей стране замахивались на святое – на партию! Как вы можете спокойно наблюдать эти гнусные антисоветские нападки... Эти возмутительные, подлые происки, которые играют на руку нашим врагам...

И он даже стал отбивать ритм в такт своей инвективы.

«Надо срочно уйти!», – понял я. Вскочил на ноги, пробормотал:

– Константин Михайлович, это недоразумение, я из газеты «Известия», которая, наоборот... – Я хотел сказать, что наша газета и сама, в каком-то смысле, участвует в этих «нападках» – осмеливается публиковать острые критические материалы, но смешался, сло-

ва застряли у меня в глотке, все-таки это был шок. Вопреки всякой логике и всем моим надеждам, Харчев, видно, держал меня таки за какого-то невероятно важного чина КГБ или за советского Джеймса Бонда, имеющего право и умеющего магическим образом вербовать всех подряд, хоть бы и начальников генштабов. Настолько, видимо, секретного, что даже резиденту нельзя было знать о моих делах! Бред полнейший, конечно, но как еще можно было посла понять? И еще, думал я, выходит, Петровский все же ошибся. Никакой Харчев не «наш». Он кровь от плоти партийной бюрократии, злобно огрызающейся на гласность.

Или – еще одно объяснение вдруг пришло мне в голову — может быть, он просто напуган на всю жизнь произошедшим с ним в Москве, смертельно боится, что органы и здесь до него доберутся, и от испуга всякого разума лишился? Принимая меня за высокопоставленного чекиста, столь нелепым образом доказывает свою полнейшую лояльность? А черт его знает, в любом случае надо скорее уносить ноги!

Пробормотав от двери уже какие-то бессвязные благодарности, я пулей выскочил из посольского кабинета.

«Товарищ Ш.», видно, находился где-то неподалеку, потому что появился в коридоре почти сразу же.

– Ну как прошло? Все в порядке? – спросил он.

– Какое там! Полная катастрофа! Он то ли тебя не слушал, то ли не поверил... Умоляю тебя, как можно скорее переговори с ним один на один, объясни, только потактичнее, что это полнейшее дурацкое недоразумение.

– Хорошо, объясню. Да не нервничай ты так...

– Как же не нервничать? Он же теперь меня возненавидит смертной ненавистью – за то, что выставил себя законченным идиотом и чуть не выдал государственную тайну щелкоперу...

«Товарищ Ш.» меня успокаивал как мог, но я твердо решил впредь держаться подальше и от посла, и от посольства, да и от своего старого знакомца и его коллег тоже. Сережа Канаев – симпатичный друг моего закадычного приятеля Димы Осипова, а значит, точно не разведчик, а «чистый», нормальный человек! Вот кто мне поможет. И еще Виктор Лебедев есть, у которого, говорят, невероятные связи среди местных, в том числе людей весьма влиятельных, а

через них можно и на саудовцев выйти и, если повезет, и заветную визу обрести. А на посла и посольство теперь рассчитывать нечего.

Последний вывод полностью потом подтвердился: посол Харчев передумал мне помогать, впрочем, и другие способы не сработали, и в Саудовскую Аравию я так и не попал. Пришлось освещать «Бурю в пустыне» из Абу-Даби. Но я старался изо всех сил и, кажется, не так уж плохо справился. По крайней мере, в редакции меня хвалили, а я, скромно потупясь, делал вид, что считал те похвалы заслуженными. Хотя в глубине души знал, что писать о войне, пользуясь эмиратовскими источниками, местной прессой, мировыми агентствами да телевидением – это, конечно, совсем не то. Но что поделаешь, не надо было в машину резидента садиться... Но это было не единственное и даже не главное последствие неудачного выбора, сделанного мной в аэропорту.

Проснувшись утром на следующий день от яркого, теплого света, я увидел в окне чистое синее небо, сходил поплавать в открытый бассейн при гостинице, вкусно позавтракал. Жизнь продолжалась, и вокруг меня была богатая, интересная и неизведанная страна. Что еще нужно путешественнику и журналисту для счастья? Да черт с ним с Харчевым и всеми разведками мира заодно!

Но 13 января 1991 года звезды встали в роковое противостояние – для СССР, для мира и для меня. С утра в тот воскресный день в Абу-Даби давал пресс-конференцию министр иностранных дел Великобритании сэр Дуглас Хёрд, приехавший обсуждать с шейхами судьбу оккупированного Кувейта. На всякий случай я аккредитовался на ту пресс-конференцию заранее, хотя и не рассчитывал, что услышу там что-то достойное репортажа: военные действия вот-вот начнутся, но политики и дипломаты держали рот на замке. Правда, стало известно, что британцы вроде бы собираются организовать эвакуацию из Эмиратов членов семей своих работающих там экспатов, что само по себе подтверждало неминуемость и скорое начало военных действий. Об этом стоило попытаться узнать поподробнее.

Но утром я о полученной аккредитации пожалел. Голова была, словно мешок с опилками, потому что я ночью совсем не спал. Да и вообще, сдался мне британский министр, да и война в Заливе, к чему мне буря в пустыне, когда в душе бушевал свой собственный

шторм? Всю ночь смотрел я в гостиничном номере телевизор, в основном CNN, которая передавала репортажи из Вильнюса, где расстреливали мирных жителей, защищавших свободу, где кагебешный спецназ устроил кровавую бойню.

Я понимал, что ненавидеть КГБ нет смысла – они были лишь орудием в руках партии, а потому в глазах моих стояло лицо не «товарища Ш.», а лицемерная физиономия посла Харчева. И в ушах гремели его злобные выкрики о «нападках на святое». Теперь это самое «святое», то есть партийная империя, наносила ответный удар. Наверно, он торжествовал. Для меня же это был кризис сознания: ведь я был членом КПСС и до последнего времени бегал после работы в ЦК помогать «яковлевцам», а Горбачев совсем еще недавно был моим героем.

Моя вселенная рушилась, и это было больно.

В таком не совсем нормальном состоянии я все же поплелся на пресс-конференцию Дугласа Хёрда. Сидел там и слушал вполуха, как британские журналисты пытаются министра насчет судьбы членов семей экспатов и перспектив развития военно-политической ситуации – меня все это не слишком волновало. И почему-то внутри все звучал голос Харчева, проклинавшего «замахнувшихся на святое». Для меня он стал символом всего того, что я возненавидел в тот день. Из-за него голова моя лопалась, из-за него, когда Хёрд принялся отвечать на вопросы, я, сам себя видя и слыша словно со стороны, вдруг вскочил и сказал: «Господин Хёрд, знаете ли вы, что произошло минувшей ночью в Вильнюсе? Не кажется ли вам, что это даже важнее, чем надвигающаяся война в Заливе? Что вы можете сказать по этому поводу?»

Я заранее готов был презрительно улыбнуться, услышав, как британский министр иностранных дел будет трусливо уходить от прямого ответа – куда ему, ведь он же тут занят исключительно иракско-кувейтской историей, ему не до Литвы. И всему Западу не до Литвы. И Горбачев – их любимец, никогда они плохого слова про него не скажут. Будет сейчас крутиться аки уж на сковородке... Скажет, разумеется, что-то невразумительное...

Но Хёрд меня потряс. Нет, не зря, наверно, Итонский Колледж и Кембриджский университет слывут на весь мир кузницами блистательных политиков и государственных деятелей, равно как ученых,

экономистов и так далее. Ему и секунды не понадобилось, чтобы сформулировать ответ. И какой! Еще не отзвучало в зале эхо моего голоса, как уже громко и уверенно разливался по залу его мощный баритон: «Мы внимательно следим за тем, что происходит в Вильнюсе. Могу сказать, что наши дальнейшие отношения с Горбачевым зависят от того, чем закончатся эти события, как разрешится этот кризис».

Меня поразило, что он не сказал: «отношения с СССР» или «с Москвой». Нет, четко, однозначно и вполне персонифицировано: «с Горбачевым». Значит, британцы, по крайней мере, ясно понимали, что в советской системе ничто не делается без согласия, если не прямого распоряжения первого лица. Зная горбачевский стиль, я не сомневался, что письменного распоряжения о применении огнестрельного оружия против мирных жителей не существует, но какой-то однозначно понятый устный намек председателем КГБ Крючковым наверняка был получен. Иначе бы он никогда не решился действовать. Это ведь знаменитый синдром Томаса Бекета. «Неужели никто не избавит меня от этого беспокойного священника?», – раздраженно сказал король Генрих II, и придворные бросились убивать святого.

Но король потом каялся: пришел в Кентерберийский собор в рубище и босиком, пал ниц у алтаря и смиренно позволил священникам высечь себя.

Горбачев не только официально не покался, его не только никто не выпорол, но он даже толком не извинился. Нес в свое оправдание что-то совершенно невнятное: ничего, дескать, знать не знал. Даже исполнителей не наказал. У английского короля была хотя бы отговорка, что убийцы скрылись в независимой в те времена Шотландии, но Крючков и его спецназ были рядышком, под рукой...

А потому не могло быть Горбачеву прощения...

...Когда я приехал с пресс-конференции в гостиницу и пошел в бизнес-центр посмотреть сообщения мировых агентств, то с изумлением увидел, что и Рейтер, и АП, и Франс Пресс поставили на первое место в сводке главных мировых новостей часа ответ Дугласа Хёрда на мой вопрос. Оказывается, это была первая официальная реакция Запада на вильнюсские события. А я, сам того не ведая, стал соавтором сенсации.

Но за минуту славы пришлось и заплатить. На пресс-конференции присутствовал кто-то еще из моих сограждан и побежал стучать к Харчеву. А у того появилась сладкая возможность отомстить мне за то, что оказался по моей милости да по собственной глупости в идиотском положении.

Как рассказал мне позднее Виктор Лебедев (да и другие источники подтвердили), на следующее утро посол созвал экстренное и секретное совещание старших дипломатов. На повестке дня был один вопрос: «Что делать с провокацией Остальского?». Посол склонялся к тому, чтобы послать срочную шифрограмму, чтобы ее прочитали все члены политбюро. Но послу хотелось на всякий случай заручиться поддержкой столь резких действий. Вообще-то большинство оперативно-дипломатического состава всегда с послом согласны. Себе дороже с ним спорить. Но бывают редкие исключения. И вот одно из них случилось в тот день в советском посольстве в Абу-Даби.

Когда очередь дошла до резидента КГБ «товарища Ш.», тот, осудив, как полагается, «провокацию Остальского», высказал мнение, что с таким шагом как посылка такой громкой депеши, может быть, и не стоит торопиться. «Остальский ведь человек Яковлева, а в политбюро, как говорят, сейчас сложилось некоторое напряжение между последним и товарищем Лигачевым... Нужно ли нам высовывать в этой ситуации голову и вступать в политические дискуссии на высшем уровне? Принимать стороны в этом споре? Или, может быть, лучше подождать, пока ситуация станет более определенной? Я бы проявил осторожность и склонился ко второму решению», — вроде бы сказал главный советский шпион в Абу-Даби. (За точность изложения не ручаюсь, но что-то в этом духе было произнесено). И Виктор Лебедев, присутствовавший там как секретарь парторганизации, его поддержал.

И Харчев испугался. Представил себе, наверно, что станет личным врагом Яковлева. А заодно и Петровского. Да еще с резидентом на этой почве размолвка выйдет. Вспомнил, что с ним произошло в Москве, какую там провели против него интригу. И решил не рисковать, отложить сладкую месть до лучших времен. «Вы так считаете? Значит, нам пока не нужно высовываться? Подождать?». И вдруг получилось, что это чуть ли не всеобщее мнение.

А ведь уйди такая телеграмма в Москву, думаю, даже в то перестроечное время меня из «Известий» как пить дать уволили бы. Ну или выдавили бы. И никакой Яковлев меня бы не спас. Я не был уверен даже, помнит ли он мою фамилию, несмотря на то, что я действительно сотрудничал с его людьми в ЦК.

Да, получается, что «товарищ Ш.» с лихвой со мной за старый должок расплатился. Больше я никаких дел с посольством не имел. Работы было много, но при этом жизнь была интересной и достаточно комфортабельной – даже при скромных известинских командировочных. В трехзвездочной гостинице был отличный открытый бассейн. Вкусно и дешево поесть тоже не было проблемой, а в барах гостиниц немусульманам продавали коктейли и прочие алкогольные напитки – причем, на удивление недорого. И главное: в январе месяце здесь было так же тепло, как в Москве в июне, почти все время сияло солнце, повышая настроение. Работа оставляла все же немного свободного времени, и с помощью Сережи Канаева и Виктора Лебедева я осваивал эмираты, ездил по городу и – немного – по стране.

...«Товарищ Ш.» все это время тоже меня не беспокоил, и никаких своих подчиненных ко мне не подсылал. Только на прощание, перед самым отъездом, позвал пообедать, и я не решился ему отказать. Боялся, честно говоря, что последуют какие-нибудь сомнительные просьбы, но он меня еще раз удивил: его предложение никакого отношения к разведывательным делам не имело. Он спросил, не готов ли я, с большим повышением, перейти на работу в одну новую газету, тоже вроде как демократического направления, под крыло к известному в те времена деятелю. Мне показалось, что деятель тот приходится резиденту то ли близким другом, то ли даже родственником. Но я честно сказал: подумаю, но маловероятно, что соглашусь.

Вспомнили мы и идиотское недоразумение с послом, и «товарищ Ш.» беззлобно посмеивался, свою роль в моем спасении никак не выпячивал. Ну а крики посла про «нападки на партию» я с ним обсуждать не стал. Но для меня они прочно соединились с предательством Горбачева и вильнюсским позором.

Если бы эти злобные возгласы Харчева не звучали постоянно у меня в голове, я, может быть, не отправился бы сразу после возвра-

щения в Москву к секретарю партбюро «Известий» Игорю Абакумову – выходить из КПСС. А сходил бы еще разок к друзьям в ЦК, и они бы меня, может, и уговорили не спешить. Обычный в те времена тезис звучал так: если все прогрессисты и либералы и что-то умеющие люди из КПСС уйдут, то там останутся одни реакционеры и бездарности. И борьба будет проиграна.

Но я больше не хотел ничего подобного слушать.

Вообще в моей жизни не раз случалось, что наступал вдруг какой-то момент – и некое резкое, радикальное, рискованное решение, чреватое большой переменной в жизни, принималось не на уровне рациональных размышлений, а инстинктивно. Когда я бросался в драку, не задумываясь о последствиях.

Ну вот и с выходом из КПСС тоже было что-то похожее. Возмущенный разум тоже кипел, но все-таки не так сильно. Не вовсе отключая всякую соображалку. Тут все же дело касалось радикальной неопределенности, когда развитие событий невозможно было просчитать. То есть умом я понимал, что, скорее всего, огребу неприятностей. Но все же был и какой-то шанс выйти из этого положения и с гордо поднятой головой, и не слишком сильно поврежденным.

Тесть уговаривал меня не торопиться с выходом из партии, он вроде бы рассуждал рационально, но на самом деле – исключительно на основе своего прошлого опыта. Однако, как убедительно показал Джон Мейнард Кейнс, прошлое – не пролог, а статистическая частота того или иного события может и не помочь предсказать будущее. Так что бывают моменты, когда с тем же успехом можно действовать безотчетно. Так я в середине 80-х ушел в «Известия», хотя ТАСС предлагал скорый отъезд в длительную престижную и материально выгодную командировку в США. Так потом, вовсе этого заранее не планируя, оказался в 90-х в Англии. И вот так же в один момент я решил покинуть ряды КПСС, движимый не расчетом, а каким-то внутренним чувством, острым разочарованием в Горбачеве и партии, а также, наверно, реакцией на поведение посла Харчева. Не хотел, нет, просто физически не мог я больше состоять с Харчевыми в одной партии, и баста! Противно было, вот и все.

Но к Игорю Абакумову, нашему великому сельхознику и по совместительству партийному боссу, я относился как раз с большим уважением. Отличный был журналист (я много лет спустя очень хо-

тел заполучить его в свой отдел в «Ведомостях», но это отдельная история, к которой я вернусь в середине этой книги) и в высшей степени порядочный человек и, что всегда для меня было важным обстоятельством, не обделенный юмором. За редкими исключениями, именно чувство юмора отделяет для меня «своих» от «чужих».

Партийных обязанностей Игорь слишком всерьез не воспринимал. Но все же у него было заведено всех желающих партию покинуть довольно энергично отговаривать. А в то время таких желающих было немало, правда, только во внутренних отделах — в консервативном и блатном международном таких до меня не нашлось. Как на экскурсию, потом ходили на меня смотреть.

Отговаривая народ покидать КПСС, Игорь Абакумов использовал примерно ту же аргументацию, что и мои приятели из аппарата ЦК: дескать, нельзя отдавать партию реакции, надо бороться за реформы изнутри. Но я об этом знал и заранее подготовил текст заявления. Смысл его сводился к тому, что под влиянием вновь открывшейся информации, я пересмотрел отношение к партии и ее идеологии. «Я пришел к выводу, что идея коммунизма является вредной утопией. Я не согласен с программой партии и не признаю ее устава, который не могу выполнять. В такой ситуации мое дальнейшее пребывание в КПСС будет непростительным лицемерием», — написал я.

Посмотрим, что скажет Абакумушка, когда прочтет такое, думал я.

Игорь слов не нашел. Сказал: «Против такого мне возразить нечего». Потом забрал мое заявление и партбилет и швырнул их в ящик стола, где, видимо, собирал другие подобные документы. Встал, с чувством пожал мне руку и пожелал успехов в новом качестве.

Семья моя нервничала, но поначалу в жизни нашей ничего не изменилось. Я все так же ходил на редакционные собрания и летучки, писал материалы в номер, брал интервью. Первые несколько дней коллеги по международному отделу посматривали странно, перешептывались за спиной. Иногда я и сам вдруг ловил себя на том, что не до конца верил в то, что натворил: да не приснилось ли мне это? И неприятный холодок пробегал по загривку. Ведь на протяжении всей моей сознательной жизни исключение из КПСС было ве-

личайшим наказанием для провинившегося международного. Чаще всего за этим следовало и увольнение, и в любом случае перекрывались вождеденные выезды за рубеж, ради которых, собственно, и шли советские люди в международную журналистику. А тут человек взял и устроил себе исключение по собственной инициативе. Но времена были другие, начальники и отдел кадров не знали, как со мной обращаться: как с прокаженным или делать вид, что ничего не случилось? Ждали разъяснений от верхов, но они не поступали.

Если бы пришлось жить заново, то того идиотского, бессмысленно рискованного противостояния с толпой гопников я бы, конечно, не повторил. Унял бы гордыню и шмыгнул бы в свой подъезд, пережил бы как-нибудь унижение. Но из партии вышел бы снова, причем еще раньше. А, может, даже и не вступал бы в нее никогда, обошелся бы без заграницы в первой половине жизни, глядишь, может, и писателем раньше бы стал.

Но в первой и, видимо, окончательной версии своей жизни я понятия не имел, что в 1991 году власти КПСС осталось каких-то жалких шесть с половиной месяцев, почти все мы тогда считали, что СССР – это все еще всерьез и надолго. Мало того, атмосфера сгущалась, это ощущалось физически. Шеварднадзе ушел в отставку, публично предупредив об опасности государственного переворота. Александр Яковлев, формально сохраняя свои позиции в руководстве, был фактически изолирован и больше не участвовал в принятии политических решений. Позднее он рассказывал мне, что Горбачев даже на его телефонные звонки не отвечал: помощники и прикрепленные не соединяли. Один канал забыли перекрыть — ВЧ связь в автомобиле генсека. И вот туда-то Яковлев и дозвонился. И успел сказать: «Михаил Сергеевич, они готовят переворот против тебя», прежде чем Горбачев, матерно выругавшись, бросил трубку.

Председатель КГБ Владимир Крючков, все более воспринимавшийся как один из истинных правителей страны, публично объявил всех лиц, сотрудничающих с радиостанцией «Свобода», изменниками родины и иностранными шпионами. Так я официально попал в черные списки – и еще какие...

В те дни меня останавливали в известинских коридорах люди, с которыми я был едва знаком, и, оглянувшись по сторонам, убедившись, что никто нас не слышит, говорили: «Андрей, брось ты это!

Все что угодно, только со «Свободой» не связывайся, пожалеешь!». Не знаю, выполняли ли они чье-то задание или на самом деле искренне хотели предупредить об опасности.

А опасность-то была вполне реальной. Clear and present danger.

Окончание – в следующем номере

Андрей Остальский на протяжении многих лет работал Главным редактором Русской службы Би-би-си. Много печатался в российской, британской, турецкой прессе. В постсоветское время возглавлял международный отдел «Известий», а до этого объездил почти весь Ближний Восток, Основатель газеты «Финансовые известия». Автор научно-популярных книг на экономические темы «Краткая история денег» и «Нефть: сокровище и чудовище», «Спаситель капитализма. Джон Мейнард Кейнс и его крест», а также страноведческих – «Англия: Иностранец Ее Величества» и «Иностранец на Мадейре».

Пишет и романы, главная тема которых – столкновение культур и национальных менталитетов: «Боги Багдада», «Жена нелегала», «Английская тайна». Есть в списке опубликованных книг и жесткая антиутопия («Синдром Л») и сатирическая альтернативная история («Контрэволюция») и даже современная детская сказка «Приключения мистера Крокера».

Андрей Остальский – дипломант премии «Просветитель» 2008 и 2009 годов.

Книга «Иностранец за границей» вышла в конце прошлого года в петербургском издательстве «Пальмира».

Вера КОРЧАК

ПУТИНИЗМ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Прошлое

Один из героев фильма «Крестный отец» мафиози Хайман Рот восклицает по поводу альянса мафии с кубинским правительством: «Нет больше предела нашим возможностям! У нас теперь есть все, о чем мы только могли мечтать: реальное партнерство с дружественным правительством.» И далее он рассуждает о том, что, создав плацдарм на Кубе, им остается сделать всего один шаг к исполнению заветной мечты – провести своего человека в президенты США. Вот тогда-то они развернутся! Но это – всего лишь фильм, и мечте Рота осуществиться не удалось. Ну а в реальной жизни? Возможно ли, чтобы преступный синдикат пришел к государственной власти, сумел ее удержать, создать бюрократический аппарат управления и хищнически паразитировать на целой стране (а не на каких-то слоях населения, как это делает «обычная» мафия)? Пожалуй, в XX веке ближе всего к этому подошел медельинский картель Пабло Эскобара в Колумбии. Встать во главе правительства Эскобару, конечно, не удалось, но он сумел его целиком купить и безнаказанно заниматься своим мафиозным бизнесом в течение по крайней мере десятилетия. Только усилиями нескольких стран, главным образом, США, в конце концов удалось обуздать этот картель.

Но вот наступает XXI век, и на другом конце земного шара преступному синдикату действительно удается то, о чем только могли мечтать и вымышленный герой «Крестного отца», и реальный колумбийский мафиози: провести своего человека в президенты страны. И это не удивительно, ведь организация, сумевшая это сделать, обладала семидесятилетним опытом борьбы за власть и поистине неистощимым терпением.

Основа этой организации, которая сначала называлась Все-

российской чрезвычайной комиссией (ВЧК, затем ГПУ-НКВД-КГБ и, наконец, ФСБ) была заложена в результате размежевания двух групп интересов в РСДРП, происшедшего после Февральской революции. По имеющейся информации нетрудно установить, что это размежевание вскоре после Октябрьского переворота превратилось в раскол между «справыми» (это – сторонники захвата прежде всего государственной власти) и «левыми» (эти стояли за мировую пролетарскую революцию, а революцию в России рассматривали лишь как этап).

У «левых» было два признанных лидера – Ленин и Троцкий, а «правые», действуя за кулисами, выдвигали в лидеры Сталина. Ленин до своей болезни пытался лавировать между теми и другими в надежде сохранить контроль над обоими и не допустить раскола партии. В таких условиях, еще до начала Гражданской войны, и возникла организация ВЧК во главе с Дзержинским. Она была создана для «борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией» методами террора и сразу же приняла участие в борьбе за руководство партией. Поэтому с некоторым основанием можно утверждать, что госбезопасность была создана в результате раскола. Восемь десятилетий спустя в результате еще одного раскола – теперь уже всей КПСС, за которым последовал «раскол» СССР – госбезопасность сумела, наконец, захватить государственную власть и установить режим правления, который теперь называют путинизмом. Но начнем по порядку.

Ленин не понял серьезности подспудно шедшего внутри большевистской партии процесса разделения на «правых» и «левых» и формирования вокруг Сталина сторонников власти и только власти (непростительная ошибка для политика!). Запоздавшее «завещание», в котором Ленин предостерегал «товарищей» против Сталина, являлось, по существу, признанием им своей ошибки и обращением в ЦК с просьбой ее исправить. Но «товарищи» в ЦК исправлять ее не пожелали. Поэтому и указание Ленина о роспуске ВЧК (он, видимо, почувствовал ненадежность Дзержинского) было выполнено ими лишь формально, поскольку организация сразу же возродилась под другим названием – ГПУ, затем ОГПУ. Более того, после этого организация не только значительно усилилась, но была превращена в отдельный наркомат под руководством того же Дзержинского.

Несомненной причиной такой ее эволюции было продолжавшееся после смерти Ленина противоборство «правых» и «левых», теперь уже Сталина с Троцким. В процессе политического лавирования Сталину удалось оттеснить Дзержинского от руководства ОГПУ и использовать эту организацию для борьбы со своими противниками. Таким образом, еще до окончания Гражданской войны эта по сути террористическая организация приняла самое активное участие в борьбе за государственную власть между Лениным, Троцким, Дзержинским и Сталиным.

На протяжении почти трех десятилетий (1926-53) Сталин единолично и бесконтрольно возглавлял госбезопасность, используя своих ставленников: Менжинского (1926-34), Ягоду (1934-36), Ежова (1936-38), Абакумова (1946-51), Игнатьева (1951-53), Берия (1938-45) и др., постоянно их меняя. Название госбезопасность (сочетание букв ГБ) появилось только в 1934 году, когда Сталин, расправившись с помощью ОГПУ со всеми своими противниками, стал единоличным диктатором и, объявив об окончательной победе социализма (17-й съезд КПСС), начал подготовку к внешней экспансии. Продолжая использовать госбезопасность как орудие удержания личной власти, Сталин добавил ей и внешнеполитические функции. Он превратил госбезопасность в злого пса, набрасывающегося по его приказу на любую неудобную политическую, экономическую или социальную структуру и на любого гражданина внутри страны и вне ее.

Важнейшее «изобретение» Сталина – это система его контроля над госбезопасностью. Госбезопасность, хотя она формально и находилась в подчинении у партаппарата, на протяжении всех трех десятилетий подчинялась только ему и была полуавтономной. Поголовно вооруженная, отдрессированная на насилие, эта организация постоянно бунтовала против формального подчинения партиерархии. Все эти десятилетия госбезопасность и КПСС под дирижерством Сталина взаимно пожирали друг друга, обеспечивая его единоличную власть.

Смерть Сталина освободила госбезопасность от подчинения кому бы то ни было, и она получила возможность захвата государственной власти. Берия в течение трех месяцев (с 5 марта 1953 по июль) единолично руководил ею и готовился стать преемником

Сталина. Известные и многократно описываемые обстоятельства смерти Сталина показывают, насколько госбезопасность, возглавлявшаяся тогда Берией, была близка к захвату власти. И только страх перед этим монстром объединил на время партийную и военную власть, и они общими усилиями сумели его обуздать. И если бы это им не удалось, то началась бы новый этап истории России, который историки назвали бы бериизмом. То, что не удалось Берии, удалось столетия спустя Путину. Но не будем забегать вперед.

Хрущев, казнив без суда Берия, подчинил госбезопасность себе, сделав комитетом при правительстве (впервые появилась аббревиатура КГБ). Кроме того, он лишил КГБ привычной и ставшей традиционной террористической функции: истребления чиновников КПСС. Он, иначе говоря, пытался надеть на злого пса намордник. Этого гэбисты не могли ему простить и сыграли немалую роль в его смещении. Обузданный на время монстр затаился и снова ждал своего часа.

А на шахматной доске властных баталий выдвигалась новая фигура – Андропов. Он возглавил КГБ лишь после того, как Брежнев окончательно укрепился у власти и смог выполнить условие Андропова: вывод КГБ из подчинения главе правительства СССР (т.е. восстановление автономии КГБ внутри КПСС). Сменив Семичастного, Андропов вывел госбезопасность из подчинения совету министров и затем, продвигаясь вверх по партийной иерархии (кандидат политбюро 1967, член политбюро 1973, генсек 1982), на протяжении полутора десятилетий усиливал ее автономность. После того, как Андропов возглавил компартию, госбезопасностью управляли его ставленники: Федорчук, Чебриков и Крючков, все выращенные им службисты госбезопасности. Он, иначе говоря, восстановил сталинское единоначалие над КГБ и КПСС. Восстановив сталинскую структуру госбезопасности, он сохранил хрущевский запрет на «отстрел» партийных чиновников, компенсировав гэбистам этот запрет прекращением вмешательства партийных чиновников в их дела, т.е. еще более ослабил контроль партиерархии над иерархией КГБ.

Восстановленная при Андропове сталинская структура КГБ дополнялась многочисленным контингентом внештатных сотрудников, выполнявших самые различные поручения от простых сбор-

щиков информации до доносителей. Этот внештатный контингент использовался руководством КГБ для внедрения в любые политические, экономические и социальные организации не только в СССР, но и в большинстве других стран мира. Для прикрытия тайной деятельности за рубежом использовались, как известно, коминтерн, коминформ, посольства и всякие зарубежные миссии.

Таким образом, через полвека после Дзержинского под контролем КГБ по-прежнему находилось все советское общество. Но к этому времени значительно потускнела объединявшая общество коммунистическая идеология и ослабла власть компартии. В связи с этим расшаталось единство в куполе власти и катастрофически упала эффективность госадминистрации (это показала начавшаяся через два года после смерти Андропова горбачевская перестройка). Поэтому было необходимо модернизировать всю систему власти применительно к изменившимся условиям. И Андропов, полностью контролируя КГБ, попытался начать ее со всеобщего укрепления дисциплины на всех уровнях госадминистрации и во всех сферах жизнедеятельности общества. Его неожиданная болезнь и затем смерть прервала эти начинания в самом начале. Два десятилетия спустя модернизацию власти завершили путинисты.

Ослабление контроля партиерархии над иерархией КГБ, начавшееся после смерти Сталина, создавало для гэбистов некоторую возможность теневой предпринимательской деятельности. Особенно благоприятные условия для этого возникли в связи с началом горбачевской перестройки и ельцинской приватизации. Госбезопасность начала обрастать теневой иерархией («жирком»), а на нижних уровнях срачивалась с организованной преступностью. Все попытки сначала Горбачева, а после него Ельцина реформировать КГБ оказались неэффективными. Закон Горбачева от 3 декабря 1991 «О реорганизации органов госбезопасности», расчленивший КГБ на несколько частей и лишивший его собственных войск, не принес желаемых результатов. Не принесло результатов и назначение Ельциным на пост главы КГБ партийного чиновника Бакатина. После второго избрания президентом Ельцин продолжал использовать КГБ для укрепления своей власти, замаскировав его названиями АФБ РСФСР (1991), МБВД (отмененный конституционным судом), МБР (1992-93), ФСК (1993-95) и, наконец, ФСБ. Это название закре-

пилось до конца ельцинского президентства и перешло к Путину.

...После распада КПСС освобожденные от двойного подчинения, вооруженные, молодые, информированные и выдрессированные на методах насилия гэбисты ринулись в экономику и занялись «реприватизацией» национализированной государственной собственности. Внедряясь во вновь создаваемые государственные и социальные структуры, они сохраняли свои связи, знакомства, традиции, и поэтому им было нетрудно восстановить свою прежнюю организационную структуру. Этим они и занимались на протяжении всего восьмилетнего ельцинского правления.

Началось восхождение всевозможных «альфа-псов», между которыми начался иерархический отбор, завершившийся к концу 90-х годов формированием немногочисленного, но сплоченного купола обновившегося КГБ во главе с «альфа-самцом» Путиным (названным так в депеше американского посольства в Москве). Все это стало возможным потому, что, в отличие от Германии, крах коммунистического режима в СССР не завершился ни его осуждением, ни осуждением преступной деятельности КГБ. Представим себе Гестапо, которое, если бы не было Нюрнбергского процесса, замаскировавшись, выжидало бы удобной возможности нового захвата власти в Германии. А ведь именно так выжидала своего часа госбезопасность.

Когда перед больным Ельциным встал вопрос о передаче власти, то госбезопасность оказалась единственной организованной силой, которая могла, по его мнению, противостоять экспансии и претензиям на власть бывшей компартии и в то же время гарантировать безопасное существование ему и его семье. Поэтому за два года до своей отставки (1998), он назначает Путина главой госбезопасности, а еще через год – главой правительства (1999). Это предопределило избрание Путина президентом в 2000 году.

Настоящее

Путинское поколение гэбистов вливалось в чекистскую организацию в юношеском возрасте, а воспитывалось и тренировалось на протяжении всего 15-летнего андроповского руководства КГБ (1967-82) в изолированных от общества гэбистских анклавах

– «аквариумах» (В.Суворов). Поэтому ничего другого, кроме подobia сталинско-андроповской пирамиды власти, это поколение и не смогло сформировать.

Но сталинско-андроповская пирамида власти объединялась с населением с помощью общегосударственной коммунистической идеологии¹. Это обеспечивало ее устойчивость, воспроизводство и легитимность. Помимо идеологии, устойчивость создавалась изоляцией власти от населения, а населения от мира, а также тотальными репрессиями. Динамизм пирамиды власти создавался ее направленностью на внешнюю военную экспансию, которой было подчинено все народное хозяйство страны. Но эти сталинские способы обеспечения устойчивости, воспроизводства и легитимности управления стали невозможными уже при Андропове. А за последовавшие два десятилетия общемировые условия (глобализация и интернет), а также положение России (потеря значительной территории и половины населения и приватизация общегосударственной собственности) изменились еще больше. Поэтому, хотя путинцы и создали пирамиду власти по подобию сталинско-андроповской, эта пирамида как бы парила в воздухе и могла рухнуть в любой момент. Было необходимо подводить под нее подпорки.

Одной из таких подпорок должна была стать идеология, которая заняла бы место дискредитированной коммунистической и объединила бы власть с населением. Однако сталинская власть обладала монополией на всю информацию в государстве, что (в комбинации с «железным занавесом» и карательными мерами) и позволило ей в рекордный срок внедрить в массы принудительную идеологию. Но со второй половины XX века удерживать эту монополию становилось все труднее в связи с началом научно-технической революции, общемировой кампанией за права человека и вынужденным замедлением экспансии коммунизма. Труднее стало поддерживать и изоляцию общества.

Путинцы, прекрасно понимая необходимость контроля над информацией, постепенно прибрали к рукам почти все газеты, телеканалы и другие средства массовой информации. Но мешает интернет. И на него ведется активная атака. Так называемый закон Яровой (2016) о «борьбе с терроризмом» обязывает всех интернет-провайдеров хранить и предоставлять российским спецслужбам инфор-

мацию о пользователях (адреса, фамилии, клички и т.п.) и по требованию ФСБ ее расшифровывать. При этом предусматривается и создание новой категории невыездных – т.н.»экстремистов», категории настолько расплывчатой, что в нее можно зачислить любого неугодного властям гражданина и любую организацию. В этом просматривается попытка восстановления контроля над въездом-выездом граждан. В июле 2017 Путин подписывает закон о запрете анонимайзеров и других технологий, позволяющих получать доступ к заблокированным властями сайтам. Список таких сайтов составлен в Роскомнадзоре, глава которого недавно заявил о создании специального департамента для изучения способов блокировки запрещенных сайтов. Показательными являются и попытки путинистов создать для россиян «суверенный» интернет. Список мер по ограничению доступа россиян к объективной информации можно продолжать.

Тем не менее, информационной изоляции в век глобализации и интернета путинцам вряд ли удастся достичь. Поэтому они надеются с помощью новой общегосударственной идеологии, которая находила бы достаточный отклик в массах, создать у населения информационную глухоту, то есть невосприимчивость к нежелательной властям информации. Более того, не надо забывать, что в СССР идеология не только маскировала антиобщественную и паразитическую сущность компартии, но и служила для оправдания экспансии СССР и многого другого: при формировании режима она была нужна для начального отбора подходящего контингента; позже – для дальнейшего отбора из этого разношерстного конгломерата будущих «выдвиженцев» в номенклатуру и палачей в госбезопасность. Все эти функции должна была выполнять и новая постсоветская идеология.

И путинцы удачно (и даже талантливо!) сыграли на чувстве растерянности и национального унижения населения после поражения в холодной войне, распада СССР и краха советской экономики. Новая путинская идеология – это идеология патриотизма, исключительности российского пути, восстановления статуса сверхдержавы. Ее носителем является партия Единая Россия. Если в 2002 году Путин говорил, что Россия – европейская страна и является интегральной частью европейской цивилизации (интервью

польской газете «Газете Выборчей»), то десятилетие спустя тон его высказываний изменился. В одной из своих предвыборных статей (2012) он заявил, что «...мы будем укреплять наше государство – цивилизацию... Великая миссия русских – скреплять эту уникальную цивилизацию». Тема идеологической обработки населения задана, и ее теперь усиленно развивают многочисленные преданные режиму публицисты. Восстановили государственное православие, заменили серп и молот двуглавым орлом и даже вернули гимн советских времен, заменив несколько слов. Вытащили из пыльных сундуков старого и хорошо знакомого всем, кто жил еще при СССР, врага – это западный капитализм, Европа и США. Это они поставили нас на колени и не дают выпрямиться. Правда, образ этот подновлен в угоду времени – теперь это не столько эксплуататор-капиталист, сколько морально разлагающийся бездуховный материалистический Запад, которому путинцы противопоставляют российскую идею национальной исключительности, «консервативной модернизации»², особого пути и православной духовности.

Новая идеология уже начинает выполнять фильтрующую функцию отделения «своих» от «чужих» при продвижении по иерархии власти. Подобно тому, как в СССР членство в КПСС было необходимо для занятия государственной должности, большинство чиновников (и многие топ-менеджеры крупных предприятий) путинской администрации – члены Единой России, так же, как и многие губернаторы, мэры и более мелкие должностные лица. Ей же принадлежит большинство мест в Думе. И хотя поначалу партия Единая Россия была непопулярна среди населения (партия «жуликов и воров»), непрекращающаяся пропаганда путинистов начинает оказывать свое действие, и рейтинги партии, хоть и медленно, но неуклонно растут (на 2-8% за 2016 год), как и рейтинги самого Путина (если им можно доверять) – 66% опрошенных, например, хотят видеть президентом в 2018 именно Путина.

Но создание более-менее эффективной идеологии и обуздание средств массовой информации – это еще только полдела. Вторым компонентом стабилизации сталинского режима, помимо монополии на информацию, была монополия на частную собственность (путем ее национализации и превращения в совместный общак). Эти две монополии обеспечивали монополию на политическую

власть во всем государстве, создавая тем самым триединство насилия. При этом большую роль играла номенклатура, ставшая главной опорой тоталитарной власти и ее кадровым резервом. На роли номенклатуры стоит остановиться подробнее для дальнейшего.

Номенклатура в первоначальном смысле этого слова означает «роспись имен». Такая «роспись», положившая начало формированию привилегированной и изолированной от населения категории советской бюрократии, была утверждена в 1923-25 годах и имела вид трех списков, содержащих перечень назначаемых должностей в партийном, государственном и ведомственном аппарате. Кандидатуры на эти должности подбирались высшими инстанциями большевистской власти заранее. Эти списки постепенно материализовались в виде реальной иерархии чиновников и дополнялись сложной системой их отбора и воспроизводства, а также системой материальных, социальных и властных привилегий. Окончательно номенклатура, как замкнутая система и главная опора тоталитарной власти, сложилась в СССР лишь незадолго до Второй мировой войны, просуществовала более полувека и перед роспуском насчитывала более миллиона чиновников³.

При формировании номенклатуры осуществлялся принцип совместного владения собственностью. Запрет частной инициативы и частной собственности компенсировался полным государственным обеспечением чиновника, включая его жилище, медобслуживание и досуг (спецсанатории, спецдачи, спецбуфеты, спецпайки, спецзарплата и т.д.). Все это давалось сверху, но сверху могло быть и отнято. Поэтому провинившийся чиновник терял сразу все.

Номенклатура сообща распоряжалась всей национализированной государственной собственностью и всеми богатствами страны. Сознание причастности к этой «совместной» собственности являлось компенсацией всевозможных запретов и сплачивало чиновников в единую корпорацию. Корпоративное чувство при Сталине усиливалось и практикой постоянных перемещений чиновника с одной номенклатурной должности на другую независимо от его образования, знаний, специализации и опыта. Эта практика была постепенно утрачена в брежневское время.

Номенклатура (вместе с идеологией) обеспечивала правящей верхушке полную коллективную безответственность перед насе-

лением с помощью формулы «от имени». Так, вождь (начиная со Сталина) принимал решения «от имени» политбюро (президиума), политбюро решало «от имени» ЦК, а ЦК – «от имени» всей партии. Властная цепочка обрывалась (и скрывалась) в официально не существовавшей номенклатуре, а между бесправным населением и принимавшими решения располагался многочисленный исполнительный аппарат. Прикрытием деятельности аппарата и его руководителей являлась многомиллионная партия ВКП(б) – КПСС, «от имени» которой «несуществующая» номенклатура бесконтрольно распоряжалась всеми ресурсами государства. Категорический запрет частной собственности, страх наказаний и харизма лидера обеспечивали высокую эффективность всего аппарата государственной власти в достижении поставленных ему правящей верхушкой целей и его монолитность, полностью утраченные в переходное хрущевское и застойное брежневское время.

После исчезновения страха репрессий, еще задолго до Путина, в рядах правящей элиты пробудился интерес к приобретательству, особенно среди более молодых партийцев и комсомольцев, которые с возрастающим вожделием присматривались к начавшей процветать теневой экономике. Это привело к тому, что внутри некогда монолитной организации начали появляться группы интересов, что вело к ее разложению, а отсутствие «корректирующих» и омолаживающих репрессий ускоряло старение системы. Старение перешло в самодезорганизацию, которая привела сначала к расколу КПСС (Горбачев – Ельцин), а затем – к распаду всего СССР.

Поэтому перед Путиным стояла задача восстановления монолитности государственной власти. Эта задача оказалась очень непростой в отсутствии сталинских репрессий, атмосферы всеобщего страха, изоляции и послушной номенклатуры. А ведь если нет номенклатуры – нет и эффективного отбора надежных «товарищей» в исполнительный аппарат власти. Более того, путинская «прото-номенклатура» (коррупцированное чиновничество) – не только не лишена частной собственности, но ей дозволено обогащаться любыми способами: «Обогащайтесь, кто как может. И это не пропаганда. Я и мои высшие приближенные являемся примером. Вы только не мешайте нам править, а мы вам обеспечим крышевание». Иначе говоря, Путин попытался оживить свою пирамиду власти и придать ей

динамизм путем введения, условно говоря, мафиозных принципов. Действительно, основой мафиозных организаций является обогащение путем какого-либо вида «предпринимательской деятельности» в обход обременительных государственных законов и правил. При этом каждый мафиози занимается своей деятельностью автономно, без подробных указаний сверху, и сам решает, как ему вести свое дело, а руководство обеспечивает «крышу». Это делает любую мафию поразительно эффективной, ведь она не страдает ни коррупцией, ни бюрократизацией, ни какими-либо другими пороками любой государственной организации.

Эта «мафиозная идеология» смогла худо-бедно связывать вертикаль власти воедино, и «альфа-псам» в куполе, очевидно, удавалось договориться и избежать раскола. Но все это – пока текут доходы и пока российские «предприниматели» удовлетворены предоставляемыми им условиями грабежа населения и крышевания. «Мафиозная идеология» предполагает, что любые препятствия, ведущие к падению доходов, должны быть устранены как можно быстрее. Этой цели и служат так называемые «разборки», в результате которых либо сметается тормозящая бизнес верхушка мафии, либо в ней происходит раскол, если соперничающие группировки не способны выработать компромисс и восстановить падающие доходы.

Соперничающие группы интересов возникли, вероятно, почти сразу после прихода путинцев к власти. Прагматики обогащения («правые») настаивали на приоритете обогащения ставшими уже привычными мафиозными методами. Им было выгодно «дружить» с Западом, пользоваться его удобствами и услугами, переводить туда свои капиталы. Они с неодобрением относились к агрессивным акциям режима, опасаясь (справедливо) наложения Западом санкций. «Фанатики власти» («левые») настаивали на приоритете укрепления власти и ее экспансии. Для этого им был нужен образ врага (Запад)⁴. Можно догадываться, что Путину, как в свое время Ленину, пришлось заниматься примирением «левых» и «правых». Прагматикам он, вероятно, говорил, что для их мафиозной деятельности необходима защита, так как они не смогут сохранить собственность, сидя на ней во враждебном окружении внутри ограбленного русского народа, а фанатикам власти – что для укрепления власти понадобятся материальные средства.

Создание «тандема», в котором Медведев представлял интересы олигархов и прочих «либералов», возможно, служило целью предотвратить или хотя бы оттянуть такой раскол, а также не дать российским «эскобарам» разгуляться, держать их под контролем. Но попытка создания «контролируемой мафии» (такой же оксюморон, как и «управляемая демократия», которую Путин пытался создать в первой декаде XXI века), конечно, не удалась, «тандем» не сработал и был отменен. Угроза расколов именно со стороны олигархов была отодвинута разгромом ЮКОСА и судом над Ходорковским. Олигархов удалось запугать и временно подчинить. Затем последовал процесс и удушение Магницкого. Удалось запугать бюрократию («Не суйтесь куда не надо со своими проверками»). Постепенно восстанавливаются политические репрессии и откровенное преследование оппозиции («болотное дело», «Открытая Россия» Ходорковского, обыски предвыборных штабов Навального) с целью запугать и подчинить оппозицию. Пока репрессии не носят массовый характер, но если поначалу они осуществлялись с помощью милиции и организованной преступности (наемные убийства), то в последнее время – в открытую силами ФСБ. Но отсутствие полной монополии на информацию приводит к тому, что акции режима против оппозиционеров не удастся утаить, а отсутствие былой обволакивающей изоляции правящей верхушки (нужна, нужна номенклатура!) приводит к таким неприятным последствиям, как появление фильма «Он вам не Димон» на YouTube. Все это не только пробивает брешь в попытках нового режима казаться легитимным, но и показывает Западу его истинное лицо.

Выдав своим приближенным «лицензию на обогащение», Путин как будто лишил себя возможности дирижировать ими с помощью раздачи и отъема благ и материальных подачек, как это делали его советские предшественники. Но это не совсем так. Он теперь раздает «лицензии» на обогащение лояльной «братве» или их ограничивает и даже отбирает у нелояльных. Но допуская самостоятельное обогащение чиновников всех уровней и в то же время ограничивая его внешним контролем, Путин увеличивает вероятность появления недовольных и возникновения оппозиции, особенно в верхних эшелонах власти.

Одним из остроумных изобретений Путина, которое компенсирует невозможность проведения репрессий в сталинских масшта-

бах, является избирательное преследование за «хищения в особо крупных размерах» и тому подобные преступления. Так как «воруют все», то над каждым чиновником-приобретателем постоянно висит домоклов меч путинской кары. Наглядным примером является дело бывшего министра экономического развития Улюкаева, а также недавно возбужденное дело против пресс-секретаря Роскомнадзора и двух его сотрудников, обвиненных в крупном мошенничестве. Поэтому создается впечатление, что Путин пытается восстановить советский принцип контроля над номенклатурой, которую Сталин держал в полной зависимости от подачек власти. Но кажется маловероятным, что Путину удастся это осуществить: для этого ему нужно не только остановить утечку капитала, но и конфисковать все накопления своих разжиревших «номенклатурщиков», которые те предусмотрительно переводят в западные банки.

Поэтому единственной опасностью для Путина является формирование за его спиной достаточно сильного и монолитного ядра оппозиции, подобного тому, которое сформировалось в свое время за спиной Ленина и, возможно, Сталина, ускорив смерть последнего в преддверии новых чисток. Путин, будучи талантливым политиком и прилежным учеником своих предшественников, несомненно имеет в виду такую возможность. На это указывают и заметно участвовавшие в последнее время кадровые чистки (такие, как замена губернаторов), и привлечение во властные структуры молодых «выдвиженцев». Все это напоминает сталинский метод омоложения администрации и пресечения формирования независимых центров локальной власти. Подобного рода массовые перестановки всегда предшествовали резким изменениям политического курса советских вождей и ничего хорошего никогда не сулили ни собственному народу, ни миру.

Будущее

Путинцам, чтобы удержаться у власти, необходимо решить клубок стоящих перед ними проблем. А таких проблем много, и они все взаимосвязаны: необходимо остановить продолжающуюся утечку капитала за границу, «декриминализовать» аппарат управления, обуздать аппетиты разжиревшего чиновничества и создать из него

однородный дисциплинированный исполнительный аппарат, и, главное, создать жизнеспособную экономику, основанную на свободной конкуренции и неприкосновенной частной собственности. Это последнее требует отказа от силовых методов и поощрения свободного предпринимательства. Необходимо создать и благоприятные условия для инвесторов, которых отпугивает чудовищная, даже по российским меркам, коррупция⁵.

Если путинцам удастся удержаться у власти, процесс ее легитимации примет характер вставания в общество и будет продолжаться, пока не состарится верхушка. Тоталитарный сталинизм просуществовал около тридцати лет и ушел вместе с поколением Сталина в процессе физического старения верхушки власти. Хрущев и Брежнев возглавляли СССР также около трех десятилетий. Это поколение тоже состарилось и ушло вместе с ними. Горбачев и Ельцин управляли Россией всего полтора десятилетия. Раскол тогдашней правящей верхушки начался именно с раскола между ними и завершился распадом всей коммунистической империи. Путинцы прошли половину срока своего поколения и, возможно, сумеют избежать раскола до его конца.

При этом не надо забывать, что в путинской России нет демократии, а все демократические институты являются всего лишь бутафориями. Например, Единая Россия – аналог КПСС – считается правящей партией государства, она имеет свои филиалы во всех автономиях и абсолютное большинство в обеих палатах парламента. Но глава государства даже не является членом этой партии, а возглавляет ее назначенный им ставленник (в настоящее время Д.Медведев). Это – бутафория демократии. Кроме того, эта демократическая бутафория провозглашает многопартийность, но при отсутствии демократических выборов и независимых СМИ. Бутафория эта маскирует автократически-бюрократический стиль правления. Бутафориями являются правоохранительные органы и судебная система, поскольку главной их функцией является не охрана прав граждан, а обеспечение свободы «предпринимательской» деятельности чиновничества. Бутафорией государственной власти является, в каком-то смысле, и вся «властная вертикаль» Путина, поскольку она оказывается реальной властью только при защите интересов самой власти.

Поэтому результат президентских выборов 2018 года, как и всех последующих, вполне очевиден: президентом будет оставаться Путин – до тех пор, пока (если) не произойдет раскол власти. Существующие законы и конституция – не помеха, так как они тоже бутафории, и их поменяют, если сочтут нужным. Сомневающимся в такой возможности напомним пример Александра Лукашенко, занимающего пост президента Белоруссии с 1994 года (пятый срок). Как долго удастся просуществовать путинизму, зависит от очень многих политических, экономических и социальных процессов не только внутри России, но и во всем мире. Действительно, падение мировых цен на нефть (главным образом, благодаря т.н. сланцевой революции) и экономические санкции Запада уже значительно дестабилизировали и без того слабую экономику России⁶. Это в свою очередь привело не только к дальнейшему падению жизненного уровня населения, но и к сокращению доходов российских «олигархов» и коррупционеров верхних эшелонов власти, а значит, к росту их недовольства условиями «крышевания». Это увеличивает вероятность раскола путинской «мафии».

Спасти Россию (и мир) от гнета этой банды может и резкое замедление экспансии мировой экономики, которое привело бы к дальнейшему падению цен на нефть; и усиление банковских и экономических санкций со стороны Запада, которые могли бы оказаться разрушительными для российской экономики; и изменение глобальной финансовой ситуации, которое в значительной степени определяется состоянием финансов и экономики США. Все эти «вызовы» Запада вместе и каждое по отдельности могут привести к дальнейшей дестабилизации путинской власти⁷. Тогда произойдет ее раскол, подобный расколу 1991 года, который повлечет за собой продолжение фрагментации многонациональной России на множество национальных автономных образований, завершая, таким образом, начавшийся еще при Николае II распад российской сверхдержавы.

Судьба России будет в значительной мере зависеть и от Китая. Россия и Китай почти с начала XX века оказались связанными в своеобразный «тандем». Сначала их связывала общая марксистско-ленинская идеология и общий путь в коммунистическое будущее, причем Россия была старшим членом тандема, а Китай у нее

учился. Во второй половине века между Россией и Китаем началось соперничество за лидерство в международном коммунистическом движении и даже оживились прошлые трения между Российской и Манчжурской империями вплоть до вооруженных столкновений 1969 года. Но потом обе державы опять объединились в поиске путей модернизации власти в новых условиях конца XX века, поддерживая друг друга и делясь опытом. При этом Китай постепенно становился старшим партнером «тандема», поскольку его население десятикратно превышает российское, а экономический потенциал уже сравним с американским. Теперь наступила очередь России опираться на сильный Китай.

Более того, население России убывает, а Китая – растет. Неизбежное демографическое давление будет выплескивать потоки китайских мигрантов (легальных и нелегальных) из переселенных пограничных провинций на территорию России. Действительно, население Дальневосточного федерального округа площадью 6.170 тысяч кв. км (две Индии!) – немногим более шести миллионов человек, а трех соседствующих с ним китайских провинций – 100 миллионов! Все попытки Путина заселить этот необъятный и пустынный регион с помощью т.н. «Федеральной программы поддержки переселения на Дальний Восток» не удалась. Остановить уже идущий полным ходом процесс его «окитаивания» при продолжающемся упадке российской экономики и при вырождении российского этноса вряд ли удастся.

Но пока путинцы продолжают удерживать контроль над политическими, экономическими и социальными процессами в российском обществе, используя при этом многовековой опыт и российской автократии, и сталинского тоталитаризма. Это – правители-временщики. Бесконтрольно распоряжаясь шестой частью суши, ядерным арсеналом и неизмеримыми природными богатствами, они могут принести и России, и всему миру еще немало бедствий.

¹ В сталинской модели устойчивость создавалась изоляцией немногочисленного купола власти от остальной партийной и государственной бюрократии (первая заградительная решетка), а также изоляцией главного кадрового резерва – номенклатуры – от общества (вторая заградительная

решетка). Надежность этих двух главных изолирующих барьеров купола власти дополнялась иерархическим отбором по всем государственным и партийным иерархиями и обеспечивалась тотальными репрессиями, которые создавали всеобщий страх своей неожиданностью и произвольностью. Это создавало предельную централизацию власти в руках одного человека – Сталина, и его немногочисленного подконтрольного ему окружения (политбюро и секретариат). Десятилетия хрущевского и брежневского правления ослабили эту устойчивость пирамиды власти, и генсеку Андропову предстояло ее восстанавливать и приспособлять к изменившимся условиям.

² Идея «консервативной модернизации» – не нова. Это всего лишь вариация популярной в странах Азии идеи «модернизации без озападнивания» (Modernization without Westernization).

³ Распущена в результате горбачевской перестройки решением ЦК КПСС от 10-10-1989 и затем указом первого президента России от 23-09-1993 г.

⁴ Внешняя экспансия, как известно, необходима всем авторитарным и тоталитарным режимам. Она не только является показателем мощи государства, но и той подъемной силой, которая удерживает власть от падения. Самодержавие, например, потеряло власть после того, как стало терпеть одно поражение за другим во внешних войнах. Царизм пал, так как был не в состоянии продолжать традиционную экспансию, которая отвлекала население от нерешенных проблем и как бы оправдывала насилие над народом.

⁵ Согласно данным Transparency International, по индексу коррупции Россия занимает 131 место из 176.

⁶ За последние два года рост ВВП России резко замедлился и составляет менее одного процента в год, а потребление на душу населения в Российской Федерации упало на 14%.

⁷ В качестве примера можно привести принятый конгрессом США в августе 2017 закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», позволяющий накладывать персональные санкции на высших путинских чиновников-международников и бизнесменов, связанных с правящей элитой России – вплоть до замораживания их счетов в американских банках, запрета въезда в США и тому подобных мер.

Вера Корчак – преподаватель, публицист, переводчик. Родилась в Москве, окончила физический факультет Московского государственного пединститута и Высшие курсы переводчиков при Институте те иностранных языков. Автор учебников русского языка для англоязычных студентов (*International Linguistics Corp.*).

Подготовила к публикации на английском языке две работы своего отца Александра Корчака: «*Contemporary Totalitarianism: A Systems Approach*» (1994) и «*Totalistic Organizations: From Mafia to Global Terror*» (2002), *Columbia Univ. Press*. Была соавтором многих его статей по общественно-политической тематике и двух книг, изданных за рубежом на русском языке: «Тотальные организации и терроризм: фатальная связь» (2008) и «Самоорганизация тотальной власти» (2016).

Автор многочисленных статей в зарубежной периодике («Литературный европеец», «Мосты», «Шалом», «Панорама»).

Живет в США.

От редакции

Полностью разделяя основные тезисы статьи Веры Корчак, полагаем, что будет не лишне внести некоторую детализацию в третью часть текста, касающуюся будущего России после Путина.

Как верно замечают некоторые публицисты и аналитики, никакой государственной идеологии путинский режим не создал, и создать в принципе не способен. Припадки имперства и милитаризма это не идеология, а сезонные помрачения, которые быстро лечатся голоданием. Путинский режим держится на апатии, равнодушии и ощущении безальтернативности, а не на фанатизме своих сторонников. Резкое ухудшение жизни большинства россиян в результате санкций создаст условия для обрушения этого режима. Условия необходимые, но недостаточные. Другим условием должна стать ясная и привлекательная альтернатива путинскому режиму, к выработке которой окажутся привлечены наиболее квалифицированные эксперты и политики современной России. Нужна убедительная и понятная дорожная карта, которая выведет страну из полного тупика, в который Путин и его холуи ее загнали.

Весьма точную и отчасти парадоксальную характеристику

правления Путина дает Виталий Портников. «Путин – выдающийся объединитель. Он помогает единению всех, кого встречает на своем пути, – украинцев, американцев, европейцев. Российское единство Путин, конечно, тоже обеспечивает – но только с помощью Бастрыкина, Бортникова и бессмысленной болтовни безумцев. И самое главное, что это единство основано на общенародной радости нападения, возможности замочить, нагнуть и обмануть. И в этом смысле для россиян Путин как яд, который приводит к постепенному и неотвратимому параличу всего государственного и общественного организма. А для иностранцев он самый настоящий антибиотик, инъекция которого позволяет выздороветь, укрепиться и реалистично посмотреть на свое состояние до приема кремлевского «лекарства».

«Сегодня внутри страны, среди тех, кому ненавистен путинский режим, пожалуй, преобладают настроения безнадеги и безысходности. Отсюда столь распространенные мемы: «поравалить» и «выходанет», – размышляет Игорь Яковенко. – Эмиграция – вполне нормальный шаг, и единственно правильный, если он связан с реальной угрозой, как в случае с Каспаровым, Пионтковским и Бабченко (добавим от себя Юлию Латынину, Ксению Ларину, Ольгу Романову и т.д. – **Ред.**). Но предлагать его как формулу массового действия для 140 миллионов сограждан несколько, скажем так, безответственно. К тому же эти настроения, приобретая массовый характер, могут стать самосбывающимся пророчеством, блокирующим любые перемены».

Серьезная проблема выздоровления страны – избавление от токсичного, весьма пагубного влияния СМИ на население. Прежде всего, государственного телевидения. За 17 лет в России сформировалась уникальная, никогда и нигде ранее не встречавшаяся медийная система, которая является фундаментом диктаторского режима фашистского типа. Смена этого режима невозможна без полного демонтажа уродливой, но весьма эффективной конструкции, которая не выполняет функций ни средств массовой информации, ни средств пропаганды, а является оружием для разрушения всех норм в обществе, включая правовые, моральные, профессиональные, эстетические и научные, с целью лишения общества потенциала сопротивления диктатуре.

Телевидение сегодня остается для большинства граждан России главным источником информации, которому граждане доверяют больше других. Поэтому первым шагом демонтажа путинской системы СМИ должен быть полный запрет государству создавать как собственные, как и аффилированные СМИ. Телеканалы Россия – 1, Россия -24, Первый канал, НТВ, ТВЦ и другие должны быть ликвидированы, а на их месте созданы несколько общественных телеканалов.

Принципиально важно, чтобы ни один из тех кто работал в путинских медиа, не перешел на работу в общественные телеканалы. А лидеров отряда пропагандонов должен ждать тюремный срок (Соловьев, Киселев, Шейнин, Корчевников и пр.). Изоляцию от общества заслудили и руководители перечисленных выше телеканалов.

«Россия устроена так, что общественное сознание в ней легко меняет свой вектор на противоположный. Это связано и с отсутствием традиций правового государства и с крайней слабостью гражданского общества и с отсутствием нормального среднего класса, место которого по факту занимает чиновничество, – пишет Яковенко. – В этих условиях роль СМИ оказывается гипертрофированной, поскольку тот, кто их контролирует, может развернуть страну фактически в любую сторону. Поэтому радикальная реформа сферы медиа, демонтаж путинских СМИ должен стать одной из приоритетных в реформировании России после Путина. В противном случае диктатура обязательно вернется».

Все перечисленное и многое другое может произойти только после ухода Путина с политической сцены. То есть не раньше 2024 года. Вот только вопрос: уйдет ли он на покой или продолжит тиранить впадающую в бедность и нищету страну, превратившись в классический тип тоталитарного правителя, правящего до самой смерти? И сколь агрессивной будет внешняя политика России, и какой отпор даст ей Запад? Сохранятся ли санкции, добавятся ли новые, вплоть до отключения от мировой финансовой системы? Ощутит ли нокаутирующий удар по своему награбленному богатству ближний круг властителя – силовики и олигархи? Мы пока этого не знаем и никто не знает. Можем лишь догадываться и строить предположения. А если Путин уйдет, то кого назначит

преемником? И наступит ли та самая вождеденная «оттепель», просветлятся ли затуманенные, по сути, изуродованные мозги населения, или все пойдет, как прежде, по-залаженному? Вопросы, вопросы...

Ясно одно: потребуются многие годы, чтобы попытаться избавить общество от яда путинизма. Просто так наследники бандитского режима не сдадутся, не отдадут власть, не уйдут с насиженных мест, не вернут награбленное. Борьба предстоит нешуточная – с непредсказуемым концом.

Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ

ВОЙНА ЦИТАТ

Эмигрировала Юлия Латынина, которую можно причислить к самым заметным журналистским перьям современной России. Заметный след в литературе и литературной критике оставили и уехавшие вместе с дочерью Алла и Леонид Латынины. Невмоготу стало переносить этой семье издевательские нападки неизвестных бандитов – обливание дерьмом, сожжение машины, опрыскивание ее веществом нестерпимого запаха... Страшно стало жить под прицелом отмороженных идиотов, ждать, что еще им подскажет безумная фантазия.

Латынины – не первые и не последние российские интеллектуалы, покидающие родину. Как сто лет назад, в годы первой волны эмиграции, принимает беглых россиян Рига и Берлин, Лондон и Нью-Йорк, вновь становящиеся центрами русской культурной жизни. Надолго ли уезжают представители нынешней эмигрантской волны? «Я еще вернусь», – говорит Латынина. Когда? Неизвестно. Видимо, когда жить в России будет безопасно, когда в стране произойдут перемены. А пока в берлинских и лондонских русских домах, в русскоязычных периодических изданиях, выходящих на Западе, идут бесконечные споры-разговоры о судьбах России.

В повести Фазиля Искандера «Думающий о России и американец» есть такой диалог: «Что делают в России?» – спрашивает американец. – «Думают о России», – отвечает русский. – В России многие думают о России, а остальные воруют...»

Этот многозначительный диалог, на котором построена вся повесть, полон печальной иронии.

Я вспомнил об этом диалоге, открыв четвертый в 2017 году номер издаваемого в Нью-Йорке русскоязычного журнала «Времена». В разделе «Полемика» опубликована статья Владимира Фрумкина под заголовком «Советские диссиденты – охранители путинского режима».

О чем это? Какие это советские диссиденты? И почему им, судя по всему, покинувшему Советский Союз в давние времена и живущим в США, нравится то, что происходит в нынешней России?

Владимир Фрумкин – известный музыковед и публицист, в свое время много сделавший для пропаганды творчества Окуджавы, Галича и других авторов-исполнителей, более сорока лет живущий в Штатах, принадлежит к российской интеллектуальной элите Америки. И ему ли не знать о настроениях и политических симпатиях и антипатиях этого слоя деятелей культуры? Он пишет о внутреннем конфликте между представителями разных ветвей русской эмиграции на почве отношения к русской действительности.

Ярким представителем негативного отношения к ней был ныне покойный поэт и эссеист Лев Лосев, чей текст приводит в своей статье Фрумкин, видимо, разделяющий его позицию.

«Когда рухнул Советский Союз, – писал Лосев, – в одночасье развеялся морок железного занавеса и в стране повеяло свободой. Да только порча зашла слишком уж далеко... Которые порасторопнее – кинулись воровать с небывалым даже в русской истории размахом: нефть – так целыми месторождениями, недвижимостью – так заповедными рощами и историческими кварталами, кино – так целыми студиями и госфильмофондами, и власть, власть, власть. Ну, а спившееся, нездоровое, не умеющее думать за самих себя большинство затосковало по родимому уюту несвободы – комната в бараке, с как-никак, но работающим центральным отоплением, выстоянная в очереди колбаса по два двадцать и знание, что завтра будет так же, как вчера. И стало чаять воссияния новых сапог на вершине власти: «Любимый вождь, наступи мне на харю!» 53% нынешних россиян относятся к Сталину «только положительно» или «скорее положительно, чем отрицательно».

Таково восприятие российской действительности одним словом русской эмиграции, тех, кого их оппоненты называют русофобами. Имена этих оппонентов Фрумкин не называет, обозначая лишь принадлежность к интеллектуальной элите – писатель, философ, искусствовед. Для них критерием любви к России является отношение к Крыму, Донбассу, к Путину, который в их восприятии – Цглавный (если не единственный) архитектор гуманной политики Кремля».

Надо сказать, что спор ведут люди образованные, прекрасно знающие русскую историю и литературу, и потому аргументация у них соответствующая, настоящая на культурно-исторических аллюзиях. Когда речь идет об украинском конфликте, приводится пушкинская цитата:

*О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?..
Оставьте: этот старый спор славян между собою...*

А когда речь заходит об отношении к президенту России, приводится пассаж с ссылками опять-таки на Пушкина: «Ну, не может интеллигент полюбить правителя – хоть ты его режь! Российский интеллигент – тем более. Разве что великий Пушкин в зрелые годы сумел с сочувствием взглянуться в судьбу Бориса Годунова, восхититься Петром I, даже найти слова одобрения для Николая I: «он честно, бодро правит нами».

А с другой стороны в ответ – цитата из Александра Герцена, из его статьи в «Колоколе» по поводу реакции русской общественности на второе польское восстание 1863 года: «Дворянство, литераторы, ученые и даже ученики повально заражены: в их соки и ткани всосался патриотический сифилис».

Такая вот война цитат идет в русской Америке. Позволю себе еще одну выдержку из статьи Фрумкина, многое разъясняющую в позициях сторон.

«Но теории теориями, споры спорами, – пишет Фрумкин, – а российский корабль плывет себе и плывет, все более отдаляясь от материка под названием «Западная цивилизация». Мои друзья, которые вдруг превратились в неосменовеховцев, ухитрились перебраться на этот материк в то время, когда на мачте корабля развевался красный флаг с серпом и молотом. Теперь там полощется триколор, который все большие смахивает то ли на красно-коричневый, то ли на черный, пиратский. Те, кому это активно не нравится, один за другим перемещаются в наши края, чтобы не повторить судьбу тех, кого сбросили с корабля, предварительно отправив на тот свет...

Между тем мой друг-философ, бывший диссидент, опубликовав-

ший в Сам- и Тамиздате труды, за которые мог получить до пяти лет лагерей, сегодня из своего безопасного западного далека призывает своих российских коллег уняться, не раскачивать лодку, обуздать свою патологическую страсть ниспровержения и посочувствовать пахану-капитану, взвалившему на себя труднейшую и неблагодарнейшую роль арбитра между трюмом и верхней палубой. Роль эта до того обременительна, что капитану на мостике порою чудится, что он заброшен в самый низ, в трюм, на самую тяжелую работу: «Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил». Это было сказано в Кремле 14 февраля 2008 года.

Девять с лишним лет минуло с тех пор, а он, болезненный, все еще пашет. И, надо думать, долго еще будет пахать, грести, рулить и отдавать приказы с капитанского мостика. Он ведь там – «наше всё», властная вертикаль в одном единственном лице, так что можно не тревожиться: арбитраж обеспечен, режим не рухнет. Корабль, правда, будет ржаветь, дно обрастать ракушками и водорослями, ход его замедлится, но потонет он не скоро. На их – капитана и его сатрапов – век хватит вполне».

В этой цитате примечательно одно будто сказанное невзначай слово – «неосменовеховцы», открывающее шлюзы памяти для тех, кто знает новейшую российскую историю. Но тем, кто не знает или забыл напомню: сменовеховство – идейно-политическое течение, возникшее в двадцатых годах прошлого века среди русской эмиграции первой волны. Название происходило от изданного в Праге сборника статей «Смена вех», в котором были сформулированы основные идеи этого течения. Сменовеховцы выступали за примирение и сотрудничество с Советской Россией, мотивируя свою позицию тем, что большевистская власть уже переродилась и действует в национальных интересах России.

Так что называть советских диссидентов, ставших охранителями путинского режима, неосменовеховцами вполне уместно. Так же как их предшественники сто лет назад, они полагают, что нынешняя власть действует в национальных интересах России. Вспомню слова Гегеля, часто приписываемые Марксу, о том, что «история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса».

Трагизм ситуации сменовеховцев заключается в гибели их лидеров в застенках Лубянки по возвращении в Советский Союз. Но нынешние неосменовеховцы как будто не торопятся в путинскую Россию, столь любезную их сердцу.

Радио СВОБОДА

Михаил Румер-Зараев – бывший москвич. Ныне живет в Берлине. Член Союза писателей Москвы. Работал в различных газетах и журналах – «Московской правде», «Сельской жизни», «Огоньке», «Векке». Его перу принадлежат несколько художественных и документальных книг. Публикует прозу и публицистику в ряде российских-литературных журналов.

Он – член редсовета журнала «Времена».

Григорий НИКИФОРОВИЧ

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН И ЕГО НЫНЕШНИЕ КРИТИКИ

Литературная судьба писателя Фридриха Горенштейна (Киев, 1932 – Берлин, 2002) сложилась так, что в СССР он был малоизвестен: лишь один его рассказ «Дом с башенкой» опубликовал журнал «Юность» в 1964 году. Все остальные произведения – среди них два больших романа «Место» и «Псалом» – при советской власти оставались лежать под спудом. Зато он успешно работал в кино: написал, например, для Андрея Тарковского сценарий фильма «Солярис» (премия Каннского фестиваля 1972 года), а для Никиты Михалкова – фильма «Раба любви». С 1980 года Горенштейн жил в Германии; его книги публиковались по-русски в эмигрантских журналах и издательствах и – неоднократно – в немецких, французских и английских переводах. В начале девяностых в России был, наконец, выпущен трехтомник Горенштейна и его произведения появились на страницах российских журналов. Тогда же несколько театров поставили его пьесу «Детоубийца». А потом Горенштейна в России снова забыли, несмотря на то, что его творчество стало предметом литературоведческих исследований в России и за рубежом – в Германии, США, Франции, Швейцарии, Венгрии, Польше, Израиле, Латвии. Многими он был признан крупнейшим русским писателем последней трети XX века; некоторые ценители ставили Горенштейна вровень с Достоевским, Чеховым и Буниным.

В московской литературно-театральной среде у Горенштейна была репутация мизантропа: он считался человеком тяжелым – неживчивым, недобрый, не почитающим признанные авторитеты, грубоватым, с неизжитыми провинциальными манерами, с характерным местечковым выговором. Это мнение автоматически переносилось и на его произведения, хотя прочли их как раз очень немногие. После ряда отказов, полученных от советских журналов

(в том числе и от самого прогрессивного тогда «Нового мира»), Горенштейн давал читать написанное им лишь тем, кому он доверял: Лазарю Лазареву, Виктору Славкину, Марку Розовскому, Юрию Трифонову, Фазилю Искандеру, Андрею Тарковскому, Владимиру Максимову – и все они восхищались его прозой. Остальным она была недоступна (самиздат Горенштейн не признавал), и о Горенштейне судили по его высказываниям о коллегах-писателях – с годами все более нелицеприятным.

Уже после развала СССР он говорил: *«Шестидесятые – фальшивый ренессанс. Они же люди были все фальшивые»*. А о песнях Окуджавы, Высоцкого, Галича – символах эпохи – отзывался так: *«застольные мелодии, не столько талантливые, сколько прилипчивые, которые хорошо не петь, а напевать»*. Кроме того, он крайне болезненно воспринимал отсутствие своих книг на прилавках московских магазинов, и объяснению *«Горенштейна не покупают, потому и не издают»* верить не хотел. По его мнению, беда была в том, что опять *«шестидесятники все заполонили»*, и в литературной жизни новой России *«всюду шестидесятнический дух, всюду шестидесятничеством пахнет, чувствами и мыслями облегченного типа»*.

Фридрих Горенштейн никогда не разделял идеалистического «народопоклонства» шестидесятников. Его героями были маленькие люди – прораб, нищенка, студент-недоучка, администратор захудалого театра, деревенский кузнец, шестнадцатилетняя школьница, старуха из очереди – но одномерных среди них не было. Правда характеров делала его персонажи живыми и, главное, долговечными. В них психологически убедительно сочетались свойства прямо противоположные: униженность раба и хамство выскочки, способность к нежной любви и к доносу «в органы», сочувствие угнетенным и махровая ксенофобия. Обиженного на весь мир мизантропа Гошу из романа «Место» легко представить себе вожаком нынешних нацболов, а нежная девушка Сашенька из повести «Искупление», умеющая лишь повторять затверженные лозунги, оказалась бы своей на Селигере. Герои же Аксенова, Гладилина или даже Трифонова – мятущиеся мальчишки с поднятыми воротниками и рефлектирующие городские интеллигенты – кажутся теперь надуманными. Их время,

которое так точно чувствовали и умели выразить шестидесятники, прошло – а новые времена породили новых героев, описанных и предсказанных Горенштейном. Он предсказал и другое: объединившись в разгневанную толпу, эти люди не станут прислушиваться к интеллигентам, проповедующим разумное, доброе и вечное – как бы ни верили шестидесятники в подспудно существующие в народе высокие идеалы добра и справедливости.

Согласиться с этим пессимистическим мнением для либеральной интеллигенции девяностых годов значило бы изменить своим убеждениям. Но найти веские художественные возражения тоже не удавалось. Горенштейн умел перевоплощаться в своих героев и отдавал им часть самого себя, хотя отчетливо сознавал все их несовершенства. Он видел их характеры – а значит, и свой собственный – как арену постоянной борьбы Добра и Зла, Божественного замысла и человеческой природы. Такой подход не располагал к легкому чтению, но зато давал возможность обвинить писателя в антигуманизме, в чуть ли не патологическом отворачивании к людям, в *«брезгливом чувстве к жизни»*. И литературная критика того времени окончательно установила, что Фридрих Горенштейн – писатель, может быть и выдающийся, где-то даже гениальный, но слишком уж мрачный, питающий отворачивание к человечеству.

Однако еще через двадцать лет Горенштейн, уже после смерти, оказался востребованным новым временем. Одна за другой вышли восемь больших его книг, были поставлены три кинофильма по его произведениям («У реки», «Искупление» и «Дом с башенкой»), спектакли по пьесам «Бердичев», «Волемир» и театральные инсценировки по «Искуплению» и «Дому с башенкой». Писатель возвратился в Россию. Новое поколение критиков, выросшее после шестидесятников, относится к Горенштейну уже по-новому, хотя кое-кто по инерции еще продолжает следовать прежним лекалам: мизантроп, антигуманист, любитель покопаться в отвратительных закоулках человеческой души, собиратель грязи...

Мог ли такой Горенштейн писать, скажем, о любви? Сомнительно; то ли дело Иван Тургенев – хотя репутация Тургенева у брать-

ев-писателей была, пожалуй, не лучше горенштейновской. Но вот совсем недавно под одной обложкой были собраны четыре повести: «Улица Красных Зорь», «Чок-чок», «Ступени» и «Муха у капли чая» – и каждая из них высветила разные грани этого чувства, без которого не бывает человека («Улица Красных Зорь», М., АСТ («Редакция Елены Шубиной»), 2017, предисловие Дм. Быкова). По-разному отозвались о книге и критики.

В «Улице Красных Зорь», открывающей сборник и давшей ему название, любовь поистине тургеневская. Затерянный на краю болот и лесов маленький поселок во времена «ворошиловской амнистии» 1953 года не похож на дворянские имения прошлых веков, но любовь певуньи Ульяны к своему суженому так же чиста, как и у тургеневских женщин:

«Когда говорила про Менделя, то всегда улыбалась чуть-чуть, уголками губ, таинственно, точно знала про него такое, чего другие не знали.

– Я знаю, – говорит, – что нам с Менделем вместе через реку по жердочке еловой идти. Вместе по досточке сосновой. Мне на станции ссыльная цыганка нагадала. А вместе по жердочке через реку – это любовь до гроба.

Эта любовь не умирает и после трагической гибели влюбленных. Их дочь, маленькая девочка Тоня, глядит в небо и ждет, когда прилетят придуманные ею ангелы и она услышит «чистый, заоблачный голос, как бы единый голос Ульяны и Менделя». Дух любви преодолевает плоть мира.

Зато «Чок-чок» весь, вроде бы, о любви плотской – о том, как разбиваются при столкновении с ней грезы о любви духовной. Невинный подросток Сережа, впервые увидев соитие, запоминает только женское «вывернутое наизнанку мокрое, красное мясо». В ужасе он думает: «Неужели я и Бэлочка будем так же, как вчера Кашонок с той женщиной под кустами?... Это сырое мясо...» – и первая попытка секса с девочкой, любимой с детства, позорно про-

валивается. И всю жизнь Сережу не покидает поразивший его от-вратительный образ в сочетании с другим: *«опухоль в промежности»*, которую распутная женщина Кира высасывает *«как насекомое пожирает насекомое, как хищник пожирает живое»*. А ведь Сережа – неисправимый романтик, и, умирая *«еще не стариком, но в возрасте уже перезрелом»*, он пишет трогательные стихи:

*«Медовое море небесной любви
Телесным испортили дегтем».*

Умильные эти строчки заставляют сомневаться в том, что автор намеревался изобразить несовместимость чистоты возвышенной любви и грязи плотского совокупления так уж всерьез, как трагедию. В самом деле, многие эпизоды повести балансируют на грани анекдота: кровь, пролитая на простыни не девственницей

Бэлочкой, как ожидалось, а из носа неврастеника Сережи; его ночное подглядывание за красивой библиотекаршей с высокой ветви тополя, на которой он сидит в офицерской шинели и носках из верблюжьей шерсти; прыжок с третьего этажа из окна той же дамы, но уже голым; трагикомические попытки покончить с собой, выпив то чернил, то иода... Возникает подозрение, что *«Чок-чок»* – произведение не столько *«философско-эротическое»*, как обозначено автором, сколько ироническое или даже сатирическое. И уж, во всяком случае, это одно из наиболее откровенных антисоветских произведений Горенштейна.

Потому что трагедия в нем тоже налицо – трагедия советского фарисейства. Юный пастушок из часто вспоминаемого Сережей стихотворения Пушкина гармонично сочетал непорочное любованье прекрасной пастушкой с *«раздавленной вишней»* в ее ногах. Пастушку было хорошо – он не учился в школе, где строфы о *«вишне»* бдительная цензура опускала во избежание соблазна малых сих. А Сережа жил в обществе, где *«секса не было»* до самого конца советского проекта – и любой шаг в сторону от этого негласного установления рассматривался как побег, причем, что печальнее всего, самим Сережей тоже. И встретившись, наконец, с женщиной, свободной от нелепых самоограничений – чешкой Каролиной, – он не смог стать ей равным партнером. *«Ты не можешь и никто здесь не*

может», – разочарованно сказала она после того, как «высоко подняла свою легкую ножку и опустила ее Сереже на плечо». Когда же оказалось, что Каролина предпочла ему лесбиянку Сильву, зашоренная психика Сережи не выдержала – тут-то он и попытался отравиться иодом: гомофобия в СССР поддерживалась не только законом, но и мнением народным.

В новой России мнение это не изменилось; но отношение к сексу и эротике сейчас совсем другое, гораздо ближе к западному. Пятиклассниц, кажется, пока не обучают способам правильно надевать презерватив на огурец, как это делают в американских школах, но теперешние Бэлочки и сами уже превзошли учителей. Прогресс налицо во всем цивилизованном мире – шестьдесят лет назад «Лолита» считалась романом почти порнографическим, а сегодня набоковскую книгу о безнадежной любви не назовешь даже эротической. Вот и «Чок-чок», вместо того чтобы, по аналогии с «Лолитой», прогреметь откровенной эротикой – по свидетельствам некоторых мемуаристов, у Горенштейна была такая надежда – остался историей любви, пусть и искалеченной советским ханжеством.

Можно было бы возразить, что корни ханжеского отношения к любви лежат в библейских заветах, в религии, призывающей ко всяческому смирению плоти. Повесть «Ступени», однако, противоречит такому предположению. Линия любви в ней не главная: ее стержневой герой, врач-патологоанатом Юрий Дмитриевич, мучительно ищет свой путь к Богу, скрупулезно анализирует слова Евангелия, верит в них и не верит и медленно сходит с ума. Женщины не привлекают его, а, скорее, раздражают. Но случайно встреченная в церкви девушка Зина проникается к нему таким глубоким чувством, что он считает своим долгом на него ответить. Зина, истово верующая христианка, принимает любимого в свое лоно «словно Мария, отдавшаяся в хлеву иудейскому пастуху»:

– Ты как святой, – шепотом сказала Зина. – Ты говорил... я не понимала... Но ты как святой... У тебя сияние...

Кончается этот проблеск любви печально. Зина умирает где-то в провинции от последствий самодельного аборта, а Юрий Дмитри-

евич сжигает папку с делом своей жизни – почти готовой диссертацией. Ее название: *«История болезни Иисуса Христа и анатомическое исследование тела Иисуса, выяснение точного положения тела на кресте и причина, по которой Иисус, умирая, склонил голову к правому плечу»* – Горенштейн и здесь не может удержаться от иронии.

«Ступени», написанные в 1966 году, были впервые опубликованы в 1979 году в бесцензурном альманахе «Метрополь». Административные репрессии, посыпавшиеся тогда на участников альманаха, Горенштейна практически не затронули – его и без того не печатали. Литературная же критика молчит о «Ступенях» и сейчас – оценить глубину понимания Горенштейном отношений человека и Творца и вправду нелегко. Лишь через тридцать лет Станислав Рассадин написал об этой повести как о *«высокопрофессиональной удаче»* в отличие от *«расхлябанности, полумелости и полуучености»* многих других текстов альманаха.

Почти никак не отозвалась тогдашняя критика и на повесть «Муха у капли чая»; французский литературовед Жорж Нива признался, впрочем, что она *«озадачивает еще сильнее других»*. Сложная по своей ассоциативной структуре, повесть, помимо прочего, вновь продемонстрировала широту взгляда Горенштейна на чувственную любовь, на вожделение – даже на зоофилию. Во вставной легенде пастух-христианин, за грехи отданный *«в руки диаволу»*, наслаждается любовью женщин, обращенных его молитвой в прекрасных овец. Он сознает, что совершает недозволенное, и когда его настигает страшная кара, говорит мучителям: *«...вы поймете, что истина там, где красота духа, а не красота тела... Мой же грех телесен, и не вами, а телом я удушен...»*. Горенштейн, которого те же критики называли писателем религиозным, близким к иудаизму, должен, казалось бы, решительно осудить скотоложество, намертво запрещенное Ветхим Заветом, – но он не делает этого. Ведь одна овечка полюбила пастуха так, что навсегда осталась у его могилы, *«ибо истинная любовь — чувство не краткое и изменчивое, как жизнь, а вечное и крепкое, как смерть»*. И никакие догматы не могут заслонить *«кротких золотистых глаз рыжей овечки у могилы любимого»*.

Приведенные выше заметки о четырех повестях Фридриха Горенштейна принадлежат автору этих строк – читателю, а не литературному критику. Профессиональные же критики, откликнувшиеся на сборник, видят те же повести по-другому – как и должно быть. Впрочем, Ирина Яшина, рецензируя сборник на сайте «Book Friends Club» (<http://bookfriends.club/2017/09/ulitsa-krasny-h-zor/>), тоже подчеркивает, что *«...все четыре работы гармонично дополняют друг друга и по сюжету весьма схожи. Но в каждой – отличительные пронзительные детали, которые дают полное право назвать писателя мастером человеческой любви в широком смысле слова: дружеской, партнерской, семейной...»* И заключает: *«Сборник «Улица Красных Зорь» стал настоящим откровением, я открыла для себя нового «старого» автора».*

А вот Нонна Музаффарова в сетевом журнале «Прочтение» выражает совсем другое мнение (<http://prochtenie.ru/reviews/29037/>):

«Представленных в этом сборнике произведений вполне достаточно для того, чтобы понять: мы имеем дело не с занятной, не познавательной и ни в коем случае не эпатажной литературой. Автор погружает читателя в мрачную бездну человеческого сознания, в котором торжествуют похоть, алчность, невежество, жестокость, но надежды на возможное очищение не сулит. Проза Горенштейна — это перформанс низменных страстей, где если и не раздастся гомерический хохот Мефистофеля, то однозначно предстает его беспощадная усмешка».

Как видим, словарь (или, как теперь модно было бы сказать, «вокабуляр») упреков Горенштейну у некоторых критиков мало изменился за прошедшие двадцать лет: мрачная бездна, похоть, низменные страсти – и даже почему-то беспощадная усмешка Мефистофеля. Даже критик Анатолий Ухандеев, горячий сторонник вышедшей книги (*«...эти повести, быть может, лучшее, что написано по-русски в конце прошлого века»*), все-таки не может до конца освободиться от представления о «злом» Горенштейне (<http://literaturno.com/review/gorenshtejn/>):

«Когда даешь «Улице Красных Зорь» произойти с собой — жить почти нельзя. Ты словно захлебываешься кровавой зарей своей соб-

ственной жизни, покинутость твоя как обморок опрокидывает на тебя жесткую землю. Это злая и больная книга. Только одно делает ее великой. Читатель ждет рифмы, и она будет. Жалость».

Анатолий Ухандеев прав, говоря о героях повестей Горенштейна: «Все они могут вызывать жалость, по-настоящему высокое очеловечивающее чувство». Однако не всем критикам это чувство знакомо – Татьяна Москвина считает совсем иначе: «Герой Горенштейна не то что не Человек – он даже не человек (обыкновенный, с маленькой буквы)». И приводит доводы, слышанные уже много лет назад («Аргументы Недели», № 30(572) от 03.08.2017):

«Горенштейн всю жизнь прожил на особицу, чудачком-одиночкой с тяжёлым характером, вне дружеских кружков и союзов. В немногочисленных воспоминаниях самой большой любовью его жизни называют кошку Крестю, которую он взял с собой в Германию, заявляя, что без неё никуда вообще не поедет. Писал непрерывно – но в стол, прозу стали издавать только в эмиграции. Однако у писателя есть право отправлять себя в вечное хранилище, и вот теперь Горенштейн уже после смерти претендует на внимание читателя. И даже на звание классика. Есть ли для этого основания? По-моему, довольно шаткие».

Критик с писателем не церемонится. «Опустим завесу жалости над анализом этой байды», – говорит она о повести «Чок-чок». А о «Ступенях» сказано: «...это вещь слабая, пустая, растянутая и переполненная наивными рассуждениями о «человечестве» такого сорта, что стыдно читать» – стоит сравнить это высказывание с мнением Станислава Рассадина. Но особый гнев Татьяны Москвиной вызывает предисловие Дмитрия Быкова:

«Он так прямо и заявляет – Горенштейн гениальный писатель, классик. Да неужели? Ещё один классик на нашу голову? <...> «Горенштейн – народный писатель без народа, – пишет Быков. – Народу долго ещё дорасти до него, но доращёт, куда денется». Долго ещё? Очень хорошо. Главное – чтоб не при мне народ возлюбил этих горенштейновских героев, которые в женищинах видят «мясо» и слуг дьявола. Это будет Средневековье уже в полный рост, а я всё надеюсь на Возрождение».

На сайте «Читаем вместе» тоже не согласны с Быковым, но по другим причинам (<http://chitaem-vmeste.ru/reviews/ulitsa-krasnyh-zor/>):

«Дмитрий Быков в своем вступлении к этому сборнику, состоящем из общих слов, замечает, что читать Фридриха Горенштейна непросто. «Чтение мучительное, но целительное», – делает вывод критик. <...> Однако этот писатель фактически не поддается литературоведческой классификации, поскольку его нельзя вписать ни в один идеологический канон литературной общественности. В невозможности поставить на нем, как на казенной наволочке, инвентарную печать и состоит трудность «случая Горенштейна», а вовсе не потому, что чтение его работ «мучительное»».

Впрочем, о предисловии Быкова, точнее, о его отношении к писателю Фридриху Горенштейну есть смысл поговорить отдельно.

Дмитрий Быков относится к Горенштейну с большим уважением: *«Он один из многих, кто на меня очень сильно влиял своим строем фразы, в особенности на “Оправдание”. Слава Богу, что никто этого не замечает, потому что мало кто читает Горенштейна».*

Высказывание это относится к 2015 году, когда Горенштейна читать в России уже начали. С тех пор о Горенштейне Быков написал (или сказал в эфире – в наши дни поговорка о слове и воробье устарела: все сказанное публично тут же фиксируется) не так уж много, но все же больше, чем другие критики. В основном это фрагменты программы «Один» на радио «Эхо Москвы» (мини-лекция «Горенштейн. Наказание человечества») и то самое предисловие к сборнику «Улица Красных Зорь».

Но Дмитрий Быков – отнюдь не только критик. Он и писатель, и поэт, и публицист, и журналист, и литературовед, и теле- и радиозвезда, и педагог, и просветитель – он поистине многогранен. И все грани ярко блестят и заманчиво переливаются – такова природа его большого таланта и неумного темперамента. Его эрудиция вызывает уважение, а то и зависть. Трудолюбие поражает – новые тексты появляются чуть не каждый день, и никаких признаков усталости не видно. Он знаменит, и по праву – его знают и любят тысячи, если не миллионы читателей, зрителей и слушателей. Он лауреат многих литературных премий, среди которых главные пока «Национальный бестселлер» (дважды) и «Большая книга». Мало того, он еще и политический деятель – состоял членом Координационного совета

оппозиции. Одним словом, он представляет собой целое явление – назовем его ДБ – неиссякаемый бурный поток на просторах российской культуры.

Однако поток этот, увы, неглубок. Иначе, впрочем, и быть не может. Глубина потока, как учит школьный учебник физики, тем меньше, чем больше его поверхность, то есть, в случае ДБ, чем больше количество поводов, которые используются для самовыражения. Выбор велик – от поэзии куртуазного маньеризма до фантастической прозы, от популярного литературоведения до политических фельетонов в стихах. Если бы поток перестал расширяться, глубина его, быть может, и увеличилась бы; но тенденции к самоограничению у ДБ пока не заметно. Напротив, он постоянно осваивает новые области, например чтение лекций по русской литературе в американских университетах. Что, разумеется, приносит ему еще большую – и вполне заслуженную – известность.

Казалось бы, все хорошо: книги ДБ выходят и раскупаются, лекции читаются, телезрители смотрят, слушатели слушают, стихотворные фельетоны смешат публику и расходятся по Интернету – в чем, собственно, проблема? Подумаешь – поток мелкий. Зато широкий, а ведь больше/шире – это и есть лучше, верно? Разве количество уже не переходит в качество?

Попытка возражать такой точке зрения «в целом» будет слишком общей, а значит неубедительной. Вместо этого попробуем на частном примере разобраться, почему метод бурного потока иногда дает сбой. Поэзии, прозы и вообще искусства касаться не стоит – здесь все мнения равноправны: кому нравится арбуз, а кому свиной хрящик. Зато в литературоведении – какая ни есть, а наука – более или менее объективная дискуссия все-таки возможна. Например, о том, как ДБ рассказывает читателям (или слушателям) о Фридрихе Горенштейне, которого – повторим – он ценит и почитает.

Вот как ДБ излагает биографию писателя: «...у Горенштейна отца забрали, арестовали, мать умерла по дороге в эвакуацию, он жил у чужих людей, работал то инженером на шахте, то подёнщиком. Литературой он смог заниматься более или менее профессионально с 40 лет».

Слушатель верит рассказчику безоговорочно; между тем мать

Горенштейна умерла не по дороге в эвакуацию; подростком он жил не у чужих людей, а у сестер своей матери; после работы на шахте Фридрих работал прорабом, а не поденщиком; рассказ «Дом с башенкой» был напечатан, когда писателю было 32 года. (Впоследствии, в предисловии, ДБ все же уточнил: «...мать, директор детдома, умерла в 1943-м по дороге из эвакуации».) Конечно, это мелочи, однако для обсуждаемого метода они характерны – поток бежит, и проверять детали попросту некогда.

Или еще мелочи, относящиеся уже не к биографии, а к библиографии. ДБ сообщает: «...он дебютировал в подпольной литературе, в самиздате с огромным романом 1974 года “Место”»; но Горенштейн, как мы помним, никогда ничего не отдавал в самиздат... О других произведениях Горенштейна ДБ рассказывает своим слушателям так: «...цикл рассказов, написанных в советское время: «С кошёлочкой», «Искра»... Очень неплохой рассказ у него (забыл, как называется) про престарелых мать и дочь. По-моему, «Старушки»... Да, «Старушки» так и называется. «Шампанское с желчью», «Последнее лето на Волге», «Яков Каша», «Ступени» и вообще все рассказы и повести Горенштейна 70-х – начала 80-х годов». Названия верные, и датировка правильная (кроме «Старушек» – это 1964 год), но написано все перечисленное хоть формально и в советское время, но уже в эмиграции, в Берлине, на свободе; а такое обстоятельство, согласитесь, меняет литературоведческие акценты. Но и это – всего лишь досадные оговорки, не правда ли?

Пойдем дальше – посмотрим, как ДБ читает текст повести Горенштейна «Чок-чок»: «Там действительно есть такая точная метафора, что когда подросток подглядывает за совокупляющимися родителями, он видит что-то грязное, отвратительное, что-то похожее на чавкающее мясо». Метафора вполне фрейдистская и, если бы такая сцена существовала, линия персонажа-подростка (а он – главный герой повести) была бы, надо полагать, хотя бы частично основана на реминисценциях Эдипова комплекса – этой возможности Горенштейн не упустил бы. А на самом деле подросток Сережа случайно видит соитие полузнакомых людей и, соответственно, его дальнейшее восприятие сексуальных проблем с образом родителей никак не связано. Со стороны литературоведа такая небрежность уже не мелочь – она может существенно иска-

зить представление о повести. (Кстати, в предисловии к сборнику о «метафоре» ни звука.)

Роман «Псалом», как верно отмечает ДБ, ключевой в творчестве Горенштейна. Но вот как он трактуется: *«Мир Горенштейна – это ад. В этом мире правит Дан, Аспид, Антихрист из его романа «Псалом». Это каратель. Каратель идёт по земле, и наказывает человечество, и разрушает всё на своём пути»*. Что ад – допустим; что в этом аду правит Дан-Антихрист – с трудом, но кому-то может так показаться. Но Дан – каратель?

Дан, брат Иисуса, послан Господом в Россию, подверженную казням Господним, не судить (хотя его имя означает «судья»), а принести спасение гонимым, преследуемым. Он изо всех сил старается оставаться наблюдателем и вмешивается в дела людей лишь когда не может сдержаться. Поскальзывается и разбивает голову неназванный антисемит из города Ржева; вышедшие из леса две медведицы останавливают насильника Павлова – от испуга он становится импотентом; немецкая рота охраны, бросившаяся на Дана на станции у села Брусяны исходит кровавым поносом – вот, пожалуй, и все наказания, которые наложил Дан на человечество, *разрушая все на своем пути*. Полно, прочитал ли ДБ роман? Или опять было некогда?

Спешка и небрежность наказуемы в любой науке, даже и в литературоведении, поскольку они часто приводят к сомнительным выводам – особенно если подкрепляются легковерием. Вот как это получается. Много лет назад в одной литературной компании ДБ показали выклеенную из папье-маше маску Горенштейна: *«Все захохотали и захлопали: точно, точно! У «бумажного Горенштейна» было выражение брюзгливое и даже, пожалуй, злое, но вместе с тем жалобное, почти умоляющее»*. Ранее ДБ не знал, как писатель выглядит, и утрированное изображение сохранилось в памяти – ведь другие подтвердили: точно, точно. Поверил он и тому, что Горенштейн *«...был неприятный человек, неприятный даже физически. Отталкивающей была его манера есть, говорить, его агрессия, его страшная обидчивость»*. К тому же Горенштейн был сиротой, а по мнению ДБ: *«Не следует думать, что сироты обязательно бедные и добрые. Они хищные, иначе им не выжить; они памятливые и мститель-*

ные...». Такой ассоциативный ряд – брюзгливый, неприятный, обидчивый, хищный, мстительный – естественным образом приводит к весьма нелестной характеристике Горенштейна-человека: *«В Горенштейне тоже ведь сидел этот вечный комплекс неудовлетворённого больного тщеславия, амбиций, желания быть «одним из», поэтому он и был, может быть, так невыносим в общении»*. А когда это установлено, можно перейти и к характеристике Горенштейна-писателя: *«Горенштейн – человек ниоткуда, и биография его — при внешней стандартности – нетипична. Вся жизнь он существовал не только вне поколения, вне любых институций, но и вне русской литературной традиции, которую принято называть гуманистической...»*

Здесь надо сказать, что Горенштейн действительно заявлял: *«Моя позиция безусловно отличается от позиции гуманистов. Я считаю, что в основе человека лежит не добро, а зло. В основе человека, несмотря на Божий замысел, лежит сатанинство, дьявольство и поэтому нужно прикладывать такие большие усилия, чтобы удерживать человека от зла»*. Однако такой взгляд нельзя считать полностью противоречащим традициям русской литературы. Не больше ли зла, чем добра в Германне, или в Арбенине (да и в Печорине), или в Городничем, или в Петруше Верховенском со Ставрогиним, или в персонажах «Котлована» и «Конармии»? Но они продолжают жить в русской классической литературе потому, что писатели – от Пушкина до Бабеля – не рассматривали их со стороны, а перевоплощались в них. Вот эту традицию Горенштейн как раз продолжает.

Но метод бурного потока продолжает отказывать Фридриху Горенштейну в литературной родословной: *«Трудно вообще ответить, кто на него повлиял, — он как бы писатель без корня, без предшественника, потому что никто не бывал на его месте и не прошел по его адским кругам; пожалуй, он наряду с Окуджавой — чьи предшественники тоже неочевидны, — мог бы назвать своим учителем фольклор»*.

Об Окуджаве сейчас речь не идет; что же до предшественников Горенштейна, то поистине удивительно, что ДБ не заметил по крайней мере двоих – Чехова и Достоевского. У Горенштейна есть

раннее эссе «Мой Чехов осени и зимы 1968 года», в котором он пишет: «...Чехов никогда не позволял себе жертвовать истиной, пусть во имя самого желанного и любимого, ибо у него было мужество к запретному, к тому, что не хотело принимать сердце и отказывался понимать разум». То же наблюдение справедливо и в отношении собственного творчества Горенштейна; уже одно оно могло бы выявить тесную связь между двумя писателями и даже определенную зависимость писателя Горенштейна от писателя Чехова. Могло бы – но для этого нужно остановиться и задуматься, а потоку надо бежать дальше.

О влиянии Достоевского на Горенштейна писали так часто – Ефим Эткинд, Вяч. В. Иванов, Жорж Нива, Лев Аннинский и другие, – что это утверждение уже можно считать общим местом. Сам Горенштейн называл Федора Михайловича своим «оппонентом» и написал целую пьесу «Споры о Достоевском», где некий литературовед пытается защитить диссертацию об атеизме Достоевского. Пьесу эту ДБ знает и сухо замечает о ней: *«похуже, на мой взгляд»* (по сравнению с другими пьесами Горенштейна), но о преемственности между Достоевским и Горенштейном не говорит ни слова. Достаточно, однако, сопоставить восклицание Великого инквизитора, обращенное к Христу: «Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь» и фразу из романа «Псалом»: «Так заговор апостолов против Христа превратился в заговор христианства против Христа», чтобы эту преемственность хотя бы заподозрить.

Для Достоевского главной книгой в Библии было Евангелие; для Горенштейна, судя по всему, Ветхий Завет. Он говорил в интервью: «...Библию я давно читаю, читаю ее внимательно и многому учусь у нее: не только стилю, но и той беспощадной смелости в обнажении человеческих пороков и самообнажении, в самообличении. Такой смелости нет ни в одном народном фольклоре. Отчасти потому фольклор еврейского народа и стал Библией, я думаю».

Этот ли фольклор имел в виду ДБ и знал ли он об этом признании Горенштейна – неизвестно; но в его словаре прилагательное «ветхозаветный» имеет определенно негативную коннотацию: *«Горенштейн — человек ветхозаветного, жестковейного, мстительного сознания, но это ветхозаветность без Родины, без корней; он —*

обреченный и одинокий представитель великого племени, законник и пророк, носимый ветром, иудей после Холокоста и после советского опыта, иудей-чернорабочий, постоялец общежитий, иудей-выживалец». А отсюда недалеко и до другого клейма: «Фридрих Горенштейн тоже самым искренним образом полагал, что все русские – тайные антисемиты, а еврей, живущий в России, предаёт кровь патриархов, в нем текущую». Комментарии к этому умозаключению, надо надеяться, излишни.

А вот о постояльцах общежитий и других – людях маленьких и ущербных – придется поговорить. Российский быт, описанный Горенштейном – особенно послевоенный, – труден и порой отвратителен. Мать девочки Сашеньки вынуждена воровать продукты, чтобы эту девочку прокормить, и проносит их через проходную, запрятав в сапоги. «Продовольственная старуха» Авдотьюшка весь смысл жизни видит в беготне по магазинам в поисках «чего сегодня выбросят» – в очередях ее и толкают, и обижают, и бьют (рассказ «С кошелочкой»). Постояльцем общежития Гошей Цвибышевым из романа «Место» («Это отвратительный персонаж» – считает ДБ) помыкает даже кошка, состоящая при вахтерше. Людям живется очень тяжело – голодно, грязно, неудобно, они унижены и оскорблены не менее, чем герои Достоевского. И Горенштейн, так же, как и Достоевский, жалеет своих героев и сочувствует им (вспомним – он в них перевоплощается); правда, в отличие от христианина Достоевского, он не считает, что их грехи уже заранее искуплены Спасителем.

Но для ДБ описание быта заслоняет характеры людей и отталкивающим кажется не быт, а сами люди: «...там есть довольно-таки отвратительная старуха, которая с этой своей кошёлочкой (Горенштейн же вообще большой мастер в описании отвратительного) ходит и там прикупит кусочек мяска, там – фаршик, там – рыбки, там – яичек, творожку. <...> Посмотрите, с каким омерзением там описаны вот эти клопы, которые ползают по Сашеньке, этот вонючий прибудившийся к ним инвалид, который и неплохой сам по себе человек, но как все там противны! Мать, которая протаскивает какую-то еду, вынося её с базы продовольственной. То есть омерзение Горенштейна к плоти мира и вообще ко всему веще-

ственному просто не знает границ. И я думаю, что таково же было его отвращение к себе».

Такое непонимание уже нельзя объяснить небрежностью или невниманием к деталям – нет, беда именно в том, что поток неглубок. В предлагаемой интерпретации творчества Горенштейна не хватает главной компоненты – **сочувствия** к его героям. На такой подход литературовед, конечно, имеет право; но тогда он обречен видеть мир Горенштейна не изнутри, а только снаружи. Да, ДБ, как и большинству писателей и читателей его поколения не пришлось, по счастью, ни голодать, ни мерзнуть в шахте или в строительном котловане, ни унижаться перед холуями начальства за койко-место. Но ведь и читатели Достоевского сами не носили кандалы в Мертвом доме и не отправляли своих дочерей на панель – и все же они были способны сочувствовать несчастьям людей, изображенных писателем. «Писать очень трудно» – говорили когда-то друг другу Серапионовы братья; читать, особенно таких писателей как Горенштейн или Достоевский, тоже нелегко. Как честно признается ДБ: *«Аксёнова читать и перечитывать приятно, а Горенштейна – нет»*. Что ж, и это его право. Еще и времени, как всегда, не хватает – а Горенштейна нужно читать медленно.

В результате портрет Фридриха Горенштейна, нарисованный методом бурного потока, выглядит так: человек, неприятный даже физически, с комплексом неудовлетворенного тщеславия; писатель без рода без племени в русской литературе и в самой России; отрицатель гуманизма; любитель описывать омерзительную плоть мира; брезгливый человеконенавистник; но зато писатель, *по изобразительной силе не имеющий себе равных в поколении*. Этот портрет нельзя даже назвать карикатурой – скорее он напоминает описание той самой шутовской маски, виденной однажды в литературных гостях.

Разумеется, любой литературовед или литературный критик имеет полное право воссоздать образ писателя так, как он его видит. Горенштейн в статьях, скажем, Вячеслава Иванова не похож на Горенштейна в работах Льва Аннинского или Корин Амашер, и невозможно сказать, какой из них «более правильный» – каждый автор приводит убедительные доводы в пользу своей точки зрения. Но в том-то и дело, что у метода бурного потока таких доводов нет,

а те, которые есть, недостоверны в силу слишком уж поверхностного и поспешного знакомства с предметом. Этого недостаточно даже для того, чтобы судить о писателях теперешних – не будем называть имен – не говоря уже о Горенштейне.

Пятьдесят лет тому назад, как раз в год рождения Дмитрия Быкова, на шестнадцатой странице «Литературной газеты» начал печататься «роман века» – слегка завуалированная насмешка над изделиями литературы соцреализма. Назывался он «Бурный поток» и пользовался огромной популярностью среди творческой интеллигенции. Тот «Бурный поток» был пародией; нынешний поток как метод литературоведческого исследования, похоже, воспринимается Дмитрием Быковым всерьез. Но в случае писателя глубокого, такого как Фридрих Горенштейн, этот поверхностный подход явно не годится. Впрочем, окончательный финал, быть может, еще впереди. Всегда остается надежда, что Дмитрий Быков, в самом деле блестящий литератор и замечательный златоуст, вернется к этой теме уже без спешки и верхоглядства – когда (и если) повзрослеет. В конце концов, пятьдесят лет в наши дни не возраст...

После вынужденного молчания в советское время и почти двадцатилетнего замалчивания в постсоветское, писатель Фридрих Горенштейн возвратился в Россию. Возвращение это произошло не само собой – потребовались настойчивые усилия многих энтузиастов в Германии, США и России, в первую очередь берлинского журналиста Юрия Векслера. Но главное – начался процесс кропотливого осознания квалифицированным российским читателем необходимости Горенштейна. Да, Горенштейн писатель не легкий, но без него русскую литературу уже трудно себе представить – как представить мировую музыку без творчества Баха, с которым широкая публика познакомилась лишь спустя восемьдесят лет после смерти композитора. Помочь читателю воспринять весь огромный художественный мир Горенштейна – вот задача литературной критики двадцать первого века. Пожелаем ей удачи.

Григорий Никифорович – биофизик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук. Работал в научных институтах и университетах Минска, Риги, Тусона (Аризона) и Сент-Луиса (Миссури). Автор ряда научных и научно-популярных книг. Имеет более 150 публикаций в российской и зарубежной научной печати.

В последние годы занимается исследованием творчества писателя Фридриха Горенштейна. Автор книги «Открытие Горенштейна» (Москва, изд-во «Время, 2013) и ряда статей в журналах «Знамя», «Нева», «Дружба народов», «Вопросы литературы» и в сетевых изданиях.

Живет в Сент-Луисе, США.

Ольга КУЧКИНА

АМЕРИКАНСКИЙ ДНЕВНИК

Даше

Письмо собаке

Уезжала от мужа с собакой,
улетала из дома спросонок,
больше жалко собаку, однако:
ты-то взрослый, собака – ребенок.
Извертелся щенок накануне,
мордой тыкался нежно в колени,
а что миска с едой на кухне,
так еду ожидало забвенье.
Как он чувствовал злую разлуку,
все настраивал чуткие уши,
все лизал мою голую руку –
ты лежал и молчал, отвернувшись.
Миновало не меньше полсуток,
как в воздушном пространстве вишу я,
меж землей и землей промежутки,
в промежутки собаке пишу я.
Сочиняю посланье собаке,
но, конечно, затея пустая,
пилотажа высокого знаки.
Ты прочтешь.
Адресат не читает.
27 ноября 2000.

Пижама

Я в Америке в чужой пижаме,
я приехала к Прекрасной Даме
девятнадцати с немногим лет,
привезла Отчества привет.
Дама языками овладела,
дело для удела приглядела,
редко плачет, больше веселится
и летит, как в поднебесье птица.
Я ведь тоже с неба прилетела,
тяжести не ощущая тела,
вольным духом Родины жива.
Косточки на ней собрав едва.
Дама камеру берет,
смело ставит на живот,
следом снимок выдает
выдающихся красот.
Вот.
Девочка прекрасная упряма,
здесь останется ее пижама.
Закусив губу, вернусь домой.
Жди. До новой встречи, ангел мой.

Как над вымыслом, над фото
я слезами обольюсь,
кто-то там любил кого-то,
кто-то продолжает плюс.
Я смеюсь.

Эмиграция

Существо в колючем платье
на изломанных подушках:
локоть, лоб, худые пальцы,
угол острого плеча.
Холст, размытое распятые,

жизнь расценена в полушках,
на распяленные пальцы
молча пялится свеча.
В краске узкое запястье.
Не случившееся счастье.

Вечер

Быстрый взмах карандаша,
как полет летучей мыши,
перечеркивает мысли,
перечеркана душа.
Ранний вечер под луной,
ходит девочка с собакой,
объясняется, однако,
по-английски не со мной.
Пес стеснительно сопит,
горло стиснуто тисками,
меж желудком и висками
боль любовная стоит.

Покупки

А еще как будто лихорадкой
бьет примерка страстная костюмов,
платьев, туфель, шляп, браслетов, сумок,
воздуха чужого кражей сладкой.
Вещь в себе и на себе вещица
веществом заветного творенья,
ритмы, рифмы, мифы, повторенья
с блеском предлагает продавщица,
тайные квартирки отпирает,
зеркалами ловит отраженье,
на плите кипит преображенье,
кухня выраженья отбирает.
Модное лицо сменяет образ,
образок серебряный старинный,

оплывают свечи стеарином,
умирает восхищенья возглас.
Философский камешек в браслете
выпадает на пол из картинки.
Ленты, шляпы, кружева, ботинки
обморочно виснут на скелете.

Кэрол Айспергер

Клавесин и старинные кресла,
фермы бабкиной дар и наследство,
и воскресная месса воскресла
для друзей, чье любезно соседство.
Под часами и в креслах старинных
тянем чай из фаянсовых чашек
и след клавишных па клавесинных
в пальцах Кэрол все пляшет и пляшет.
Мы станцуем безмолвные танцы,
«Merry Christmas» споем по-английски,
мы на празднике здесь иностранцы,
только к Кэрол Айспергер так близки.
Домом к дому, где слезы пролиты,
дымом к дыму в отчествах разных,
океанами окна промыты,
клавесина звучанье не праздну.
Я уеду, уеду, уеду,
я исчезну в российских просторах
и оставлю записку соседу,
чтобы мокрым держал в доме порох.

Урбанские поезда

Дмитрию Бобышеву
Расстроенный гудок вокзальный
приплыл по воздуху осеннему –
чудную музыку настраивал
безвестный оркестрант последнюю.

Помыкавшись сперва с бемолями,
он умолкал вдали ненадолго
и снова медленными долями
в пространство посылал, что надобно.

И звуковой волны волнение,
внезапно схватывая сердце,
предвосхищало исполнение
почти невысказанного скерцо.

Звучали рвано диссонансы.
В виски прощание стучало.
Концерт никак не начинался.
Конец разомкнут был с началом.

Золотые огни

А еще здесь идут ледяные дожди
и в округе стоят ледяные деревья,
в бриллиантовых ветках, сверкает деревня,
ни охоты ее покидать, ни нужды.
Нет нужды оставлять этот храмовый свод,
этот холст, размалеванный аквамарином.
День декабрьский, как всюду, живет здесь недлинным –
жизнь длиннее от зримых широт и долгот.
Предрождественские золотые огни
обегают окошко, крыльцо, палисадник,
зажигая задолго объявленный праздник,
обещая счастливые легкие дни.
А во вторник завоет сирена с утра,
знак беды и тревоги, сигнал о торнадо,
о торнадо тревожиться, впрочем, не надо:
проверяльщиков время – святая пора.
Я взойду на крыльцо и еще постою,
«понтиак» прошуршит вслед за маленьким «фордом»,
дверь открою и голосом свежим и бодрым
я скажу своим девочкам: хай, ай лав ю.

Нет особой нужды оставлять этот Свет,
где алмазная крошка голубеет по следу.
«Жди меня, я на этой неделе приеду,
уже сложен багаж, уже куплен билет».

Чужая страна

А она
гуляла пешком одна,
в то время, как остальные
гуляли в автомобилях,
и это была не ее страна.
Она,
а не они,
подавляя чувство вечной вины,
одна ходила пешком,
купаясь в тепле чужом,
вспоминая сны.
Она
думала, что молода,
и думала, что хороша,
а была немолода и нехороша
и не имела гроша.
она вернулась в свою страну
и улыбнулась тому одному,
кто думал, что она молода,
и не перенести без нее холода,
вот беда.

Ольга Кучкина – поэт, прозаик, журналист, драматург. Многие годы работала обозревателем газеты «Комсомольская правда». Член Союза писателей Москвы. Член Русского ПЕН-центра. Академик РАЕН. Автор более 25 книг, в том числе поэтических сборников. Отмечена рядом премий. Стихи и проза публиковались в различных журналах. Спектакли по пьесам О. Кучкиной шли на сценах ряда театров.

В 2017 году журнал «Времена» опубликовал роман О.Кучкиной «Ночь стюардессы».

Юрий ОКУНЕВ

ОДИССЕЯ ФЕЛИКСА РОЗИНЕРА

Осенью 2016-го года исполнилось 80 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Феликса Яковлевича Розинера, а весной 2017-го года – 20 лет со дня его смерти. Для меня, старого поклонника творчества этого писателя, эти две даты 80 и 20, конечно, были заранее известны и ожидаемы. Удивительным оказалось то, что к этим круглым датам жизни Феликса Розинера добавились круглые даты его творческой судьбы – 40 лет машинописной рукописи романа «Некто Финкельмайер», 35 лет первого издания романа в Англии, 30 лет повести «Лиловый дым», 20 лет издания в России романа «Ахилл бегущий» и избранных повестей и рассказов писателя. Кроме того, можно считать, что 25 лет назад роман «Некто Финкельмайер» стал, наконец-то, доступен широкому российскому читателю. Вот такой карнавал цифр, связанных с жизнью и творчеством Феликса Розинера: 80, 40, 35, 30, 25, 20.

Феликс Яковлевич Розинер родился 17 сентября 1936 года в Москве. Его родители – Яков Владимирович Розинер и Юдит Самойловна Рабинович – появились на свет в России, познакомились и поженились в Палестине, жили, работали и родили двух сыновей в Советском Союзе, а закончили свою жизнь в Израиле. Их судьба – звено удивительной, почти невероятной семейной саги, в которой уходящая в бездонный колодезь прошлого цепочка поколений ведет сначала к мудрецам польско-литовской иешивы, а потом к знаменитым раввинам Венеции и Падуи. В конце 18-го века вследствие раздела Польши предки Розинеров стали подданными Российской империи – жителями черты еврейской оседлости. В феврале 1917-го года они были уравнены в правах со всеми другими народами России, а после октября 1917-го стали гражданами СССР, столь же бесправными, как и все население советской империи.

Родители Феликса познакомились в 20-х годах XX века в Па-

лестине, куда уехали из России после революции. Там они стали коммунистами и вернулись в СССР, чтобы строить первое в мире государство рабочих и крестьян. Отец Феликса окончил Бауманское училище, стал известным специалистом по литейному производству и вплоть до пенсии работал на Московском автозаводе. Мать Феликса многие годы работала на Московском шарикоподшипниковом заводе. Они прошли несколько кругов советского ада – нищую жизнь в коммуналке, невзгоды эвакуации, преследования за связь с сионизмом, антисемитские кампании времен борьбы с космополитизмом и «Дела врачей», исключения из партии, увольнения с работы, аресты и Бутырскую тюрьму. За год до ареста матери писателя органами НКВД родители назвали младшего сына именем героя пролетарской революции и основателя этих карательных органов Феликса Дзержинского. Эта поразительная семейная Одиссея закончилась столь же необыкновенно и возвышенно, как и началась, – родители Феликса уехали умирать на родину своих далеких предков в Израиль, где ныне живут их внук, правнук, правнучка и праправнучка. Но главное – их сын стал выдающимся русским писателем.

Феликс окончил Московский полиграфический институт в 1958 году, женился на своей сокурснице Людмиле – в 1962 году у них родился сын Володя. Жили тогда Феликс и Людмила на окраине Москвы в печально известной «хрущевке», работали вместе в Акустическом институте. Однако научная и инженерная карьера, по-видимому, мало привлекала будущего писателя, хотя по воспоминаниям он обладал незаурядными изобретательностью и технической смекалкой. Годы работы в Акустическом институте были для Феликса годами поисков своего места в искусстве и своего пути в литературе. Выбор оказался нелегким, если учесть разнообразие талантов, которые впоследствии столь ярко проявились в этом человеке – он оставил заметный след в искусствоведении и музыковедении, в поэзии и художественной прозе, в историко-мемуарной эссеистике и даже в бардовской песне...

В те годы поисков Феликс учился в консерватории по классу скрипки и посещал литературное объединение, где заявил себя незаурядным поэтом. Интерес к музыке поначалу, казалось, перевешивал его поэтические устремления. Меня в свое время поразило

одно восхитительно эмоциональное воспоминание Азария Мессе-рера, близко знавшего Феликса Розинера:

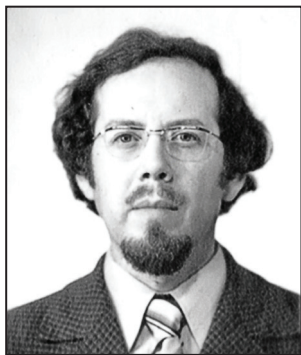
«Известно, что Феликс играл на скрипке, но немногие помнят удивительный факт – он сам изготовил себе скрипку, прочитав книги о знаменитых скрипичных мастерах и об их секретах в изготовлении инструментов. Феликс и дня не мог прожить без музыки. Он прекрасно знал не только классиков, но и современных композиторов, особенно Альфреда Шнитке, с которым дружил. Феликс также обожал романсы и хорошо пел их своим красивым баритоном. Он записал на пленку много сочиненных им песен, легко запоминающихся и нередко цитируемых его друзьями. Я обязательно беру в любое путешествие его диск, но слушаю его, только когда за рулем сидит кто-нибудь другой, – боюсь, что слезы будут застилать глаза...»

В результате творческих поисков своего пути Феликс в 1967 году уходит из Акустического института и становится профессиональным музыкальным критиком. Первая его опубликованная работа в этой области – запись мемуаров знаменитого дирижёра Юрия Файера, вышедшая в России двумя изданиями. Музыка, книги о музыке и музыкантах становятся постоянной составляющей жизни и творчества Феликса Розинера, но постепенно в его воображении вызревают образы людей и времени, в котором он жил, требовавшие масштабного художественного воплощения.

В начале 1970-х годов Феликс напряженно работает над грандиозным романом о судьбе творческой интеллигенции в тоталитарном государстве. В 1975 году он заканчивает этот роман, вошедший в русскую литературу под названием «Некто Финкельмайер».

Вспоминаю, что роман в свое время буквально ошеломил читателей невероятной стержневой темой столкновения с реальной жизнью гениального поэта, вынужденного сочинять и публиковать свои произведения от имени другого человека. Роман раскрыл на уровне гротеска, на уровне кафкианского абсурда ужасающую гниль и моральное разложение Совка. Феликс Розинер, насколько я помню, первым нарушил совковую традицию избегать в печати явных еврейских имен, присвоив своему главному герою имя, отчество и фамилию, имевшие в советской языковой практике, по словам Ио-

сифа Бродского, статус, близкий к «матерно-венерическому», – Аарон-Хаим Менделевич Финкельмайер. Уже само имя главного героя романа было в те годы дерзким вызовом гнусной системе советского государственного антисемитизма, о котором все знали, что он есть, но обязаны были делать вид, что его нет. Образ гениального русского



поэта с таким длинным еврейским именем – это было подобно взрыву в чинной гостиной советского социалистического реализма с его лицемерной «дружбой народов».

Василий Аксенов говорил о романе Розинера: «Эта книга – одно из лучших проявлений духовной сущности советских интеллектуалов. Описанные на этих страницах детали их жизни ярко реалистичны, а размышления бьют западного читателя по голове тяжелой сюрреалистической советской дубиной». Американский писатель Ричард Лурье добавлял: «Поражая интеллектуальной мощью, проза Розинера в то же время захватывает юмором, горечью и эротикой. Однако эта книга не только доставляет удовольствие читателям, но и дает нам свежий и ценный взгляд изнутри на советскую жизнь и искусство».

В 1977 году писатель предпринял неудачную попытку переправить рукопись романа в Израиль вместе с багажом своего сына, но в 1978 году ему, наконец, удалось тайно переправить роман на Запад с помощью своих друзей.

«Некто Финкельмайер» был впервые опубликован на русском языке в Лондоне в 1981 году. В 1980-е годы роман получил громкую известность на Западе: он был удостоен Парижской литературной премии имени Владимира Даля и премии Иерусалимского университета, был переведен на иврит, французский и английский языки и номинирован на Нобелевскую премию. Сейчас готовится издание романа в переводе на испанский язык. В России роман был опубликован в преддверии краха советского режима в 1991 году и с тех пор не переиздавался.

В 1978 году Феликс уезжает в Израиль со своей второй женой Татьяной.

В Израиле Феликс жил и работал семь лет. Он был главным редактором русскоязычного издательства религиозной литературы, сочинял и издавал стихи и рассказы. Среди его публикаций того периода выделяется, конечно, книга мемуаров «Серебряная цепочка» – художественно-документальное исследование жизни и судьбы большой еврейской семьи Розинеров-Рабиновичей на протяжении семи поколений с начала XIX века. Книга была издана в Иерусалиме издательством «Библиотека Алии» в 1983 году и в наше время является малодоступной библиографической редкостью. Сам писатель присваивал этой работе и ее теме концептуальный статус. По воспоминаниям американских друзей Феликса, он в разговорах часто «сворачивал к серебряной цепочке». На мой взгляд, «Серебряная цепочка» является шедевром мемуарной литературы, недооцененном ни критиками, ни читателями. В этой книге историческая проницательность и философская мудрость автора поразительно сошлись с его писательским мастерством в трогательном повествовании о судьбе предков и о временах, в которых они жили. Как важно было бы опубликовать в наше время это повествование!

Феликс с женой Татьяной жили в пригороде Тель-Авива, были материально обеспечены. Тем не менее, далеко не всё в Израиле нравилось писателю, о чем определенно указывает в своих воспоминаниях Азарий Мессерер. Это, а еще более – отъезд Розинеров в США, породили такую точку зрения, что, мол, Розинер со своим масштабом просто «не вписался в израильскую жизнь». Вероятно, в этом есть доля истины, но сын писателя не вполне согласен с таким мнением:

«Отец воспринимал видные ему недостатки израильской действительности без всякого надрыва или трагизма. Он считал своей главной целью – уехать из СССР, избавиться от тирании, и поэтому искренне ценил, что Израиль дал ему такую возможность. Более того, он здесь был счастлив, обретя наконец-то свободу. Переезд отца в США был вызван совсем другими причинами, главная из них – это, конечно, болезнь, которая хотя и была остановлена в 1985 году, но могла проявить себя снова в любой момент. Врачи рекомендовали ему сменить климат и пройти в Америке курс профилактики, которого тогда еще не было в Израиле. Конечно, обещанная работа в Гарварде тоже сыграла роль...»

В 1985 году Феликс с женой Татьяной переехал в Бостон. Он читал лекции по русской культуре в Бостонском университете, сотрудничал с Русским отделением Гарвардского университета, но главное – сочинял новые произведения в поэзии и прозе. В Бостоне Феликс Розинер издал два сборника стихов, написал свой второй роман «Ахилл бегущий» и замечательную повесть «Лиловый дым». В 1994 году «Ахилл бегущий» был удостоен премии «Северная Пальмира» за лучший роман, опубликованный в Санкт-Петербурге, а спектакли по повести «Лиловый дым» уже много лет идут в Москве и Вильнюсе.



Увы, дни писателя были уже сочтены. Феликс летом 1996 года чувствовал приближение смерти и торопил организаторов его Юбилейного вечера в Бостонском университете – «в ноябре-декабре будет поздно, надо пораньше».

Читатели не знали, что Феликс Розинер к тому времени завершил огромный труд – «Энциклопедию Советской цивилизации» о реалиях ушедшей советской жизни,

включавшую словарь советских терминов, статьи о культуре, идеологии, политике и многом другом из жизни Советского Союза. Отдельные разделы «Энциклопедии» печатались в газете «Новое русское слово». Американское издательство взялось издать «Энциклопедию» на английском языке, заключило с писателем издательский договор, но дело не заладилось... Сдача рукописи была задержана из-за болезни автора и договор был расторгнут по этой формальной причине.

Последние месяцы жизни Феликса были омрачены неожиданно начавшейся тяжбой с издательством. Борьбу за издание «Энциклопедии» продолжала после смерти Феликса его жена Татьяна, но она не смогла завершить издание этого уникального труда, и после ее смерти все концы были окончательно утеряны. Попытки восстановить полный русский текст «Энциклопедии» успеха не имели –

последний масштабный труд писателя словно канул в Лету. Так и хочется сказать – каким актуальным был бы этот труд в наше время, когда молодым людям, никогда не жившим в Советском Союзе, внушают, что социалистический Совок был обществом справедливости и порядка.

Феликс Розинер скончался 8 марта 1997 года в Бостоне от тяжелой онкологической болезни. Он похоронен на старинном кладбище MountAuburn в Кембридже близ Бостона, в роскошном парке, на высоком холме, с которого открывается вид на озеро. Рядом с ним среди многих знаменитых американцев похоронен поэт Генри Лонгфелло.

Одиссея Феликса Розинера и его семьи и уникальна, и типична... Уникальна потому, что дала выдающиеся творческие всходы, а типична потому, что является отражением судьбы еврейского народа в целом – невероятное странствие семьи, покинувшей Иерусалим более двух тысяч лет назад и вернувшейся к нему по гигантской криволинейной дуге на пространствах двух земных континентов.

Судьбу творческого наследия писателя Феликса Розинера, увы, нельзя назвать безоблачной. Известность этого наследия среди читателей отнюдь не соответствует его высокому художественному уровню. Как же получилось, что мы едва ли не проглядели этого нашего замечательного современника, диссидента-шестидесятника, поэта, прозаика, эссеиста, барда, автора стихов, рассказов, пьес, повестей и романов, удостоенных престижных литературных премий? Почему писатель Феликс Розинер даже не упомянут ни в современных российских энциклопедических словарях, ни в справочниках по русской литературе?

Печально!

Боюсь, что нынешнее российское литературоведение даже не заметит упомянутых нами в начале этой статьи дат, а писатель Розинер и его замечательная проза не скоро займут свое заслуженно высокое место в русской литературе. Такое ощущение, что в России и власти предрержащие, и их околосредовая обслуга не очень любят персонажей произведений Феликса Розинера – эти персонажи никак не вписываются в ту розовую картину «славного со-

ветского прошлого», которую власть имущие упорно навязывают населению.

Юрий Окунев – писатель, ученый в области теоретической радиотехники, автор научных монографий, книг историко-публицистического жанра и художественной прозы на русском и английском языках.

С середины 1990-х годов живет и работает в США.

Наиболее известным из литературных произведений Ю. Окунева является впервые изданная в С.-Петербурге книга исторических эссе «Ось всемирной истории». Переведенная на английский язык и изданная в США, эта книга под названием «The Axis of World History» получила награду «The National Best Book Awards» и вошла в число лучших книг США в категории «Мировая история».

Впоследствии в США и России были изданы и другие произведения автора.

В 2017 году журнал «Времена» напечатал фрагмент из нового романа Юрия Окунева «В немилости у природы». Он вышел в свет в издательстве «Алетейя» (Санкт-Петербург, Россия).

Редакция журнала «Времена» сердечно поздравляет Юрия Окунева с 80-летием, желает здоровья и новых творческих удач!

Раиса СИЛЬВЕР, писатель

**«А ПОМНИШЬ, МИЛЫЙ,
КОЛЕСО В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ?»**

Я знала Феликса Розинера и его семью еще по Москве 60-х годов – во времена действия будущего романа «Некто Финкельмайер» и за десять лет до его написания.

Мы с Феликсом познакомилась в московском литобъединении «Знамя строителей». Это был замечательный клуб, где собирались интеллигентные ребята, а руководил нами известный поэт Эдмунд Иодковский. Потом из клуба вышло немало известных писателей и поэтов, но тогда выделялись несколько человек, аристократия – среди них, конечно, Розинер.

Когда я вспоминаю о Феликсе я вижу его юным, насмешливым,

розовощеким. Вьющиеся каштановые волосы над высоким лбом, ироничный цепкий взгляд – московский интеллигент начала шестидесятых.

В те времена моя семья только что получила двухкомнатную квартиру на окраине Москвы в поселке ЗИЛ, чему я с одной стороны была несказанно рада, а с другой – унылые стандартные пятиэтажки с обитыми фанерой балконами, а на балконах веревки с бельем, велосипеды, полки, санки. В недавно построенные дома въезжали люди, очередь на углу у пивного ларька, полупустой супермаркет, куда я, держа за руку пятилетнюю дочку, шла в надежде купить хоть что-то приличное на обед. Мы обошли стороной громадную лужу у входа и пьяного, который сладко спал неподалеку на свежей весенней травке (это был наш сосед Коля из квартиры напротив), и не успела я войти в магазин, как услышала знакомый голос: «Раиса, привет, ты как сюда попала?» Навстречу мне шел Феликс Розинер. Я недавно познакомилась с ним на одном из собраний литературного клуба при газете «Знамя строителя». И так странно было видеть этого рафинированного интеллигента «с лица не общим выраженьем» среди в общем-то однородной публики – работяг, толкущихся в винном отделе, усталых крикливых женщин с клеенчатыми сумками... Москвичей в поселке практически не было, квартиры получали лимитчики, много лет проработавшие на ЗИЛе жители больших и малых деревень и городов нашей необъятной родины.

С тех пор мы довольно часто виделись. Розинеры жили буквально через дорогу от нас. Жили скромно, пожалуй, даже скудно, как и все инженеры тех времен – нищенская зарплата, шестидневная рабочая неделя, поездки на работу в переполненных трамваях и автобусах, домашние заботы...

Я в это время искала работу и не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы не Люда, жена Феликса. Благодаря ее рекомендации, меня приняли на работу в проектный институт, в котором я проработала долгих 11 лет вплоть до нашей эмиграции в Америку в 1975 году.

Сейчас, спустя десятки лет, я вспоминаю, каким оазисом был теплый уютный дом моих новых друзей на далекой московской окраине.

Феликс писал прекрасные стихи. Одно из них я помню. В нем

говорилось об усталой женщине, которая крутится, как белка в колесе, в своей кухне после работы – стирает, готовит, тянет семейную лямку. И среди этой суеты и жарки-варки она внезапно задает мужу вопрос (мне муж виделся лежащим на диване с газеткой): «А помнишь, милый, колесо в Центральном парке?»

И так знакомо было до боли все это, что у меня слезы выступали на глазах... Мы все могли быть в роли этой женщины... Хотя и карусели тоже у нас были – почему же нет...

Феликс хорошо играл на скрипке и был второй скрипкой в оркестре московского Дома ученых. Он писал статьи и рецензии на музыкальные темы, книги для детей... У них в доме довольно часто собиралась интересная публика – музыканты, поэты, писатели, художники... Помню, какие замечательные стихи нам читала поэтесса Лариса Миллер. Помню прекрасную игру молодой талантливой виолончелистки, студентки Гнесинки... Помню веселые пародии Саши Иванова. Долговязый, совсем молодой, он уже публиковался в «Литературной газете». Но самым ярким впечатлением для меня, да и для всех остальных, думаю, тоже, было появление на этих вечерах Бориса Николаевича Симолина.

Борис Николаевич преподавал историю театрального костюма в ГИТИСе и ВГИКе (а может быть, в то время в одном из них, я сейчас не могу припомнить). Душевный, сердечный человек, он был центром любой компании, где бы не появлялся. Где только он не побывал с влюбленной в него молодежью... Все Подмосковье, Золотое кольцо... Его лекции были очень популярны у студентов, а сам он был для многих из них духовным наставником. И сейчас, спустя много лет, читая воспоминания многих актеров, я нахожу в них самые теплые слова о Борисе Николаевиче. Маленький сын Люды и Феликса, Вовка, очень любил Бориса Николаевича и называл его Борникаич.

Через несколько лет после нашей встречи Феликс с Людой расстались. Посиделки прекратились. Борис Николаевич должен был читать у нас в институте лекцию об импрессионистах, но почему-то не приехал... Люда мне сказала, что он скоропостижно умер. А позже в воспоминаниях одного вахтанговца я прочла, что он закончил жизнь самоубийством... Было очень горько... Он был очень незаурядным человеком. Прошел всю войну, потерял двух сыновей. Был

весь изранен и выжил только потому, что его самоотверженно долгие месяцы выхаживала простая санитарка. В благодарность за это он оставил ей свою квартиру, а сам долгие годы скитался без жилья, снимал комнатухи в коммуналках – не так уж и много он зарабатывал.

После того как Феликс и Люда расстались, я Феликса почти не видела. Потом мы уехали в Америку и уже здесь я узнала о выходе его книги «Некто Финкельмайер». Книгу эту я вскоре прочитала и долго не могла спать по ночам. Главного героя книги, Финкельмайера, Феликс наделил чертами присущими Борису Николаевичу, моему доброму другу, человеку, которому тяжело было жить и дышать в той стране, откуда мы вырвались. Я поняла это много позже...

Елизавета СИНОФФ, экономист-математик

ОН НЕ БОЯЛСЯ НАРУШАТЬ ПРАВИЛА

Мы с Феликсом Розинером были соседями по двухсемейному дому в бостонском пригороде Ньютоне. В Бостоне Феликс одно время читал лекции по русской культуре на Русском отделении Бостонского университета. Он также сотрудничал с Русским отделением Гарвардского университета, где его очень ценили, но он не стремился стать штатным сотрудником и никогда им не был.

Феликс отличался аккуратностью и даже педантичностью во всем, что касалось его литературной работы – незадолго до смерти он тщательно упаковал свои материалы и их электронные копии в картонные коробки с намерением сдать их в архив Русского отделения Массачусетского университета в городе Амхерст...

Вообще же, он был человеком необыкновенным... В нем удивительным образом совмещались общительность и застенчивость, в компаниях он отнюдь не старался выделиться, но, тем не менее, притягивал к себе общее внимание. Его интерес ко всему в жизни был непомерным. Уже тяжело больным, Феликс поехал со мной в путешествие по Испании – перед смертью он хотел увидеть все... Он говорил мне: «Я не боюсь смерти, я был в Москве – теперь меня там нет, я был в Израиле – теперь меня там тоже нет, я был в Бостоне – меня и там не будет...»

Мне хотелось бы добавить ещё несколько слов о Феликсе. Я не

писатель и не уверена, что смогу точно и интересно выразить свои мысли, но попробую...

Феликса любили все, и ему редко отказывали в его просьбах. Любили его за артистичность, за юмор, за легкость на подъем, а главное, за то, что он никогда не представлялся «главным героем» своих произведений. В каком смысле «главным героем»? Попробую объяснить.

Как-то, в начале 90-х, в Гамбурге, в гостях у друга Феликса скрипача Марка Лубоцкого, зашел разговор о музыке и влиянии музыканта на восприятие произведения слушателем. Марк предложил провести эксперимент: прослушать Чакону Баха (J.S. Bach Chaconne for Solo Violin) в исполнении четырех всемирно известных музыкантов. Мы слушали каждую запись вслепую, не зная имени исполнителя. Каждая из первых трех версий была исполнена блистательно, мастерство скрипачей вызывало восхищение. Мы говорили о виртуозности, о красоте звука, о выразительности, о разнице в интерпретации. И не удивительно – как выяснилось, это были Иегуда Менухин, Гидон Кремер и Ицхак Перельман. Наконец, Марк поставил четвертую запись, и... Исчезло все – мысли, суждения, сравнения. Осталась неземная музыка, которая обволокла, поглотила, подняла наневроятную высоту, перенесла в другое пространство. Когда это чудо кончилось, мы долго молчали. Потом я спросила: «Что это?» Марк ответил: «Это я записал в соборе в Утрехте».

Позже, мы оба – Феликс и я, говоря об этом вечере, согласились, что первые три варианта Чаконы были самоутверждением исполнителей; они сами, точнее, их совершенство, было главным, тогда как вариант Марка Лубоцкого был не об исполнителе, а о совершенстве музыки. Вот и Феликс никогда не старался продемонстрировать себя, свое мастерство и знания, он просто писал, и тем самым переносил нас в другой мир, в мир универсальных ценностей и идей, не зависящих от обстоятельств, места и времени действия.

Марина ХАЗАНОВА, культуролог, писатель

СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА

Повезло Бостону. Много талантливых эмигрантов поселилось в нём. Среди них – Розинеры, появившиеся здесь в середине 1980-х. Прекрасно помню первое знакомство. Было что-то вроде домашнего литературного семинара у одного из эмигрантов. Подобные вещи мы практиковали часто. Таким макаром послушали Ефима Эткинда об истории публикации романа «Жизнь и судьба», Льва Копелева – об ответственности каждого поколения за происходящее в его время; Елену Боннер, читавшую отрывки из своей книги об А.Д. Сахарове, и десятки других.

В тот осенний вечер 85-го года Феликс Розинер читал отрывки из своего романа «Некто Финкельмайер». Я никогда и ничего не слышала ни о нём, ни о его романе и, хотя любопытствовала, была насторожена. Новые имена попадались мне часто, но многие из них вскоре разочаровывали. Феликс привлек сразу всем: мягкой манерой держаться, милой улыбкой, увлекательным текстом. Захотелось прочесть роман целиком. Руки дошли зимой во время каникул.

Прекрасно помню ощущение тех дней. Канада. Мы в какой-то деревушке под Монреалем. Приехали покататься на лыжах. Собралось всё семейство: я с мужем, дочь с мужем, кот и пёс. Однажды трое двуногих укатили, а четвероногие и я остались. Я повредила во время катания спину, а потому уютно устроилась в кровати и открыла книгу. Хорошо стало почти сразу. Последующие дни из дома не вылезала. Не хотелось терять то ощущение, которое так долго ждала все эти годы и которое пришло с книгой Розинера: очень мирно, тихо внутри, немного грустно, но ничто не дёргает, не выворачивает наизнанку. Какой-то созерцательный взгляд на всё, чуть отстранённый, но добрый. Так и связалось во мне: Феликс, «Некто Финкельмайер» и то настроение. Потом, когда видела Розинера, улыбалась – иногда до ушей, иногда потихонечку. Книга его не была радостной, но была тёплой, доброй, умной.

Я сказала Феликсу при встрече об этом и о том, что книг о шестидесятниках здесь, в эмиграции, достаточно, но они, в основном, о ссорящихся между собой диссидентах, ненависти к власти и о собственном величии. А вот добрых книг почти нет. Феликс, получав-

ший в те годы множество комплиментов (и не только комплиментов – в 1980 г. его наградили Парижской литературной премией имени В. Даля), сиял: «Такого мне ещё никто не говорил».

Однажды Феликс и его жена Таня собрали у себя дома несколько человек, чтобы поговорить о том, как организовать в Бостоне русский клуб, где будут собираться активные и приятные друг другу люди. Я была поражена, потому что к тому времени уже устала от эмигрантской активности, которая никогда ничем не заканчивалась. Но Феликс очень этого хотел, предлагал интересные вещи, настаивал. Я сдалась, и мы все даже договорились о чём-то конкретном. Не получилось – не потому, что Феликс передумал, а потому, что снова открылась его болезнь, которая мучила его ещё в Израиле. Там у него обнаружили лимфому. Провели курс химио- и радиотерапии, и болезнь как будто бы отступила.

Но в Бостоне с 1990 года страшная лимфосаркома объявилась. Она то сдавалась, то снова наступала. Феликс не особенно говорил об этом, но в стихах я читала:

*Всё суета. Но не болезнь.
Она покой и постоянство.
Она и время, и пространство,
И недопетых Песен Песнь.
....
Ты с ней перед дилеммой: сметь
Или отдаться роковому?
И стоит ли стараний смерть?
1984*

Феликс смел. И это было поразительно. Он соглашался на любое тяжелейшее лечение, потому что очень любил жизнь, потому что очень хотел успеть:

*Счастья нет, но есть влюбленье
В счастье, в женщин, в неба высь,
Молим каждое мгновенье:
Ты прекрасно! О, продлись...
1993*

А успел он невероятно много. Только в бостонские годы вышло два новых сборника стихов, новый роман «Ахилл бегущий», монография «Искусство Чюрлениса», множество рассказов и эссе. В 1992 году он задумал Нечто. Услышав, своим ушам не поверила: не более, не менее как «Краткую энциклопедию советской цивилизации». Феликс был душой проекта, к которому привлёк Вячеслава Иванова и Ефима Эткинда – двух корифеев-лингвистов. Он сам написал статьи о музыке, о некоторых писателях и вплотную занялся словарём советской цивилизации.

Когда Феликс позвонил мне с просьбой помочь, я стала отбрыкиваться: «Феликс, милый, не могу: нет времени совсем». Но это же Феликс! Он может, если хочет, зажечь кого угодно: «Как? Вы же филолог! Словарь создаётся нашими общими трудами. Десятки людей присылают словники на разные буквы. Посмотрите, я пришлю».

Посмотрела, конечно, вырезки из «Нового Русского Слова», где у Феликса появилась своя колонка: «Словарь советской цивилизации». Вот одна из них, от 29 октября 1993 г.: «Мы боремся сейчас за правдивое отражение, за высокое качество, за выполнение в срок, за... ну, конечно же, за нашу Энциклопедию, за наш “Словарь советской цивилизации”. И мы с гордостью рапортуем о наших трудовых успехах в “борьбе за это”»...

Итак, я тоже стала «бороться». И, надо сказать, с увлечением. Феликс очень мягко подстёгивал, благодарил. Успела сделать около 50 словников, и к тому времени работа над словарём была закончена. Потом отдала обзорную статью о русской литературе в первые годы перестройки. Феликсу уже не надо было просить. До меня дошло, как грандиозен и важен его проект.

В начале 1996 года Феликс сказал, что почти всё закончено для одного сборника в 2500 страниц. Я ошалела. Как? И об экологии, и о быте, и о культуре – все там? Но как это возможно? Для Феликса возможно. Всё было подготовлено на английском языке, и право на издание этого тома купило большое американское издательство.

Не могу ни объяснить, ни понять, как, каким образом этот человек успевал столько. Да, я знаю, что его поддерживала жена Таня, поддерживало много друзей – и русских и американских. Но всё равно – как? После операции 90-го года Феликс знал, что его болезнь неизлечима. Вопрос был только во времени. Вот он и старался

бежать впереди болезни. Сначала интервалы между курсами химиотерапии были довольно значительны: чуть ли не три года. В последнее время – всего несколько месяцев. Причём каждый последующий курс сопровождался большими мучениями. О деталях Феликс никогда не говорил. Потом мне о них рассказала Таня.

Феликс жил, писал, выступал, ездил на конференции, занимался делами энциклопедии, путешествовал. Только через много лет я узнала, что Феликс поёт, и услышала его поющим под гитару песни, главным образом, свои собственные, а иногда и бардовские. Был большой вечер в доме у эмигрантки первой волны Маргариты Ивановны Фриман, с которой Феликс очень дружил. Феликс читал отрывки из «Ахилла бегущего» под музыкальные записи, а во втором отделении пел. Милые песни, приятный, но уже чуть надтреснутый голос. Я видела, что петь Феликсу трудно, но всё равно он делал это с задором. Когда он пел, мои ногти впивались в ладони.

В этом же доме мы справляли Феликсово шестидесятилетие. Было невероятно тепло. Маленькие круглые столики со свечами, вокруг милые люди и добрые речи. Кажется, и Феликс, и Таня чувствовали себя отогретыми, купались в нашей любви и привязанности. В те дни я перечитала «Некто Финкельмайер» и обнаружила вот такое:

«Есть люди, созданные для того, чтобы быть счастливыми. И всё, что с ними ни случается, всё идёт им впрок. Уж и стукнет такого человека судьба, стукнет крепко, ударит оземь, а он – вот уж, гляди, стоит на ногах, улыбается, словно бы всего кувырок через голову сделал на мягком ковре, на этой самой жизненной арене: «Алле – оп!» – словно бы весело вскрикнул и руки широко распахнул, весь мир призывая в зрители, и музыка гремит бравурно во славу его победы – во славу великого искусства жить. Но тут, испытывая как по программе, снова его ударит, ещё сильнее, крепче, неожиданней, – а он опять, поди ж ты, как ванька-встанька, стоит, и хотя ещё покачивается покуда, но жив-здоров и похоже, опять вхолостую его ударило. И много ещё раз будет с ним в жизни такое, что не приведи Господь другому испытать, но стоит он себе, на судьбу поплёвывает...»

Однажды мне позвонила его друг Лиза Шукель и попросила разрешения приехать в тёплый осенний день к нам в Нью-Хемпшир. Феликс был после очередной химии, хотел передохнуть. Мы с радо-

стью согласились. Приехал Феликс – бледный, осунувшийся, грустный. Мы не очень знали, как начать разговор. Но помогло застолье. Феликс выпил, повеселел, сказал, что Лиза много раз ему рассказывала о нашем нью-хемпширском блошином рынке. Мы тоже стали воспевать его. Феликс загорелся. Ему страшно захотелось купить что-нибудь этакое. В конце концов ребята поехали туда, а мы ошалело глядели вслед, не веря, что Феликс решился.

Свойство загораться не покидало Феликса никогда. О его приключениях я иногда узнавала самым неожиданным образом. Однажды, прилетев на конференцию в Сан-Диего и войдя в комнату, которую мы зарезервировали вместе с моей коллегой Инной Броуде, я обнаружила там Феликса. Он хитро поглядывал и извиняюще улыбался. Выяснилось, что Феликс с несколькими дамами путешествовал по Америке до конференции, а теперь прибыл сюда. Он с увлечением рассказывал о каньонах, парках и спутницах. Одной из них была Инна Броуде. Потом, виновато посмотрев на меня, попросил разрешения провести пару ночей с нами, указав на спальный мешок в углу. Я засмеялась и установила плату: чтение стихов. Оказалось, он собирается это делать на конференции.

Снять отдельный номер в гостинице для Феликса было не по карману. Лишних денег в семействе не было никогда. Татьяна преподавала теорию компьютеров в Бостонском университете. Я не понаслышке знаю, что профессорские ставки там не ахти какие. Литературным же трудом прожить просто невозможно. Свои книжки, которые издавались сначала в Израиле, потом в Европе и Америке, а с 90-х годов и в России, Феликс щедро дарил друзьям, продавал лишь малую часть. За свои выступления тоже не требовал мзды. Если получалось – прекрасно; нет – ну что ж, всё равно выступлю. Так он несколько раз выступал перед моими студентами, рассказывал им о советской цивилизации.

В середине лета 96-го года Феликс попросил меня организовать в Бостонском университете литературно-музыкальный вечер, посвящённый его шестидесятилетию. Я не спрашивала ничего, только подумала: «Господи! Опять как с Мишей Крепсом. Опять поэт будет говорить нам своё последнее прости». (Миша Крепс – профессор Бостонского колледжа, тоже поэт). Я сказала: «Да», повесила трубку и заплакала. Другой раз мы говорили о сроках. Я думала о ноябре-де-

кабре, Феликс спокойно возразил: «Будет поздно. Надо пораньше».

Всю программу вечера Феликс подготовил сам. Позвал бостонских поэтов имузыкантов и попросил меня вести вечер, строго-настрого предупредив: «Никаких славословий в мой адрес, это наш общий вечер, я читаю свои стихи и прозу наряду с другими».

У Феликса получилось в жизни все, что он задумал. Его любили читатели, любили женщины, любили старики. Каждый за своё, но чаще всего все заодно итоге: за талант, за деликатность. Это совсем не значит, что принимали безоговорочно всё им сделанное и во всём соглашались.

О смерти Феликса я узнала в Москве, открыв «Литературную газету». Был март, каникулы, и я со студентами уехала в Россию. Перед отъездом успела связаться с больницей, в которой лежал Феликс, говорила с героической Таней, она там просто жила. Таня предупредила, что конец близится, и всё-таки я надеялась, что застану Феликса живым. Не застала. Похоронили его без меня. По приезде Лиза Шукель свозила меня на старое, удивительное кладбище, где Феликсово место высоко на холме, а под ним – озеро.

И я не знаю: хорошо или плохо, что не хоронила. Ведь вот Феликс приходит ко мне во сне в своей береточке. Он всё ещё обижается, что не люблю Чюрлёниса, расспрашивает об общих знакомых, о том, что читала в последнее время, удивляется, что теперь мало слушаю музыку. Я рассказываю ему, что меня тоже засосало, – очень хочу писать, что часто вспоминаю его слова: «Если я долго не пишу, то начинаю чувствовать, что впадаю в депрессию, становлюсь раздражительным».

Почти всегда наши «сонные» разговоры с Феликсом сворачивают к серебряной цепочке. Это моя любимая тема. Я, как и Феликс, верю, что существует связь между поколениями и ничто в жизни не проходит бесследно. В книге «Серебряная цепочка» Феликс пишет о семи поколениях своей семьи. Удивительные люди – от раввинов до коммунистов. Прошли они через всё: отъезд в Палестину, возвращение в СССР, арест, снова отъезд на родину предков. К сожалению, мои знания собственной семьи ограничиваются лишь двумя поколениями. И всё-таки мне очень близко всё, написанное Феликсом в этой книге. Легко встать в позу и осудить родителей-евреев за их веру в революцию и социализм, намного труднее – понять их. Фе-

ликс понял и что поразительно: после всего происшедшего с семьёй не отказался от идеализма. «Жизнь без идеала сера и недостойна мыслящего человека... Путь поиска, движение к идеалу даёт мыслителю повышенное удовлетворение... В этом смысл истории, смысл человеческого бытия» («Серебряная цепочка», 1980 г.).

В поиске, в движении к идеалу был смысл бытия Феликса Розинера.

M-Graphics Publishing, Boston, USA

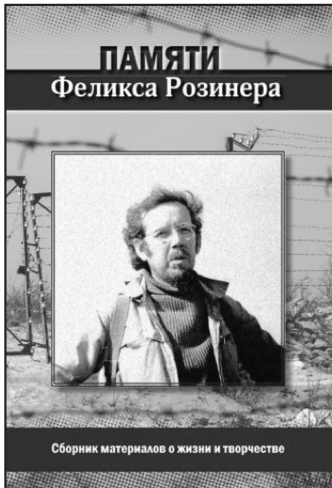
Памяти Феликса Розинера

Сборник материалов о жизни и творчестве

Авторы-составители М. Марголин и Ю. Окунев,
под общей редакцией Ю. Окунева

Книгу можно приобрести с доставкой
в книжном интернет-магазине AMAZON

<https://www.amazon.com/dp/194022070X>



Книга посвящена выдающемуся русскому писателю и поэту Феликсу Яковлевичу Розинеру (1936-1997).

Его сенсационный роман «Некто Финкельмайер» был написан в Москве в 1975, распространялся в самиздате, впервые опубликован в Лондоне в 1981. В переводах на английский и французский выходил в США и Франции; в России впервые в 1991. Роман получил на Западе несколько литературных наград и был признан одним из лучших произведений мировой литературы второй половины XX века о судьбе талантливой личности при тоталитарном режиме.

Впоследствии, работая в Израиле и США, писатель опубликовал несколько сборников стихов, мемуары «Серебряная цепочка», а также роман «Ахилл бегущий», повесть «Лиловый дым» и ряд других повестей и рассказов, которые объединены в книге «Избранное», изданной в Москве незадолго до смерти писателя.

Геннадий ЕВГРАФОВ

«КТО УСТОЯЛ В СЕЙ ЖИЗНИ ТРУДНОЙ...»

Из воспоминаний о Давиде Самойлове¹

Окончание. Начало – в №4 (2017)

Лампочка Юрского, скрипочка Пикайзена и гитара Кима

В Пярну, как и в Москве, на Д.С. люди слетались как бабочки на огонь. Он умел привлекать к себе сердца и умы. Да и всегда слетавшимся и съезжавшимся было приятно послушать его новые стихи и пообщаться – мало того, что с мудрым, но и с любимым человеком и поэтом. А собеседником Самойлов был (когда хотел) удивительным.

Часто бывал в Пярну Александр Городницкий с женой, ученицей Самойлова, замечательным поэтом Анной Наль. Бережно храню на своей книжной поэтической полке ее книгу «Весы» 1995 года рождения. Именно так, поскольку сборник этот был ее первенец. В отличие от своего достаточно широко известного мужа, она, к сожалению, даже до сегодняшнего времени не известна широкому читателю, хотя талант ее и дар своеобразны и оригинальны. Но так сложилась судьба.

Как-то раз заглянул Сергей Юрский, который в прихожей ввинчивал перегоревшую лампочку, о чем мне с некоторым удивлением рассказывала редко удивлявшаяся знаменитостям, постоянно бывавшим в доме, как в Москве, так и в Пярну, присутствовавшая при этом исторически-бытовом событии Варвара.

Часто заезжали Гердт, Козаков, физик-членкорр Захарченя. А однажды захотел познакомиться с Д.С. сам космонавт Гречко, отдыхавший в Пярну.

Проводили лето в этом уютном городке и однокурсник Самойлова по ИФЛИ, Яков Костюковский, один из знаменитых соавторов сценария фильма Гайдая «Бриллиантовая рука», и прекрасный дет-

ский поэт Яков Аким, которого очень любили маленькие читатели, – и нежно Д.С. Самойлов однажды сочинил: «Яков, пойдём, выпьем коньяков». Но конкретно не указывал, к какому именно Якову это обращение относится. Тем более, что оба Якова редко в Пярну «совпадали». Поэтому, когда Д.С. выходил из дому, собираясь навестить того или другого, говорил одно и то же и тому, и другому Якову.

Дом Самойлова располагался на улице Тооминга, в прекрасном тихом и зеленом месте – 10 минут до моря, 15 – до центра. Окна кабинета выходили в сад, за забором стоял дом, комнату в котором каждое лето снимал известный скрипач Виктор Пикайзен. Д.С., посмеиваясь, отмечал удобное соседство – не надо было ехать в Москву, чтобы наслаждаться классической музыкой, которую он очень любил. Иногда притворно удивлялся, что после концертов, которые музыкант порой давал в городской ратуше, он скромно ужинает кефиром с булочкой и потом сам себе еще играет на ночь на скрипочке.

«Ему, оказывается, все мало!» – умиляясь, восклицал Д.С.

Утверждал, что умный, приятный и милый его сердцу Пикайзен вовсе не Пикайзен, а обыкновенный Айзенпик – откуда у еврея такая странная фамилия!

Напротив, через дорогу, стоял другой обычный, ничем не примечательный деревянный дом, в котором всегда останавливалась другая мировая знаменитость – Давид Ойстрах. О чем свидетельствовала мемориальная доска, на которой это было запечатлено.

Самойлов шутил: «Когда помру, нашу Тооминга переименуют в улицу «Двух Давидов». И после паузы добавлял: «Чтоб никому обидно не было!»

Когда же в Пярну навевывался Юлик Ким, на Тооминга он всегда приходил с гитарой, к которой относился бережно и трепетно, как к любимой женщине. Когда он расчехлял ее, мне думалось, что именно так он раздевает любимую.

Д.С. говорил: «Если хочешь что-то спеть, то спой мне песни *лирические* и *художественные*, а *палитицких* не надо».

Эту классификацию поэтических жанров он услышал на заре своей переводческой деятельности от одного акына. Акын делил все стихи «на палитицкий, лирицкий и художественные». Молодой Самойлов, начинавший свою профессиональную деятельность как переводчик, такой классификацией восхитился и запомнил на всю

жизнь. Сюжет этот заслуживает более подробного изложения, но в другой раз. А в этот – Д.С., вторя вслед акыну, повторил Юлику: «Спой художественные». Потому как «крамольных» песен Кима он не любил. Относя их к разряду «палитицких».

Юлик медленно раздевал свою гитару, настраивал и начинал петь...

**«Под небом балаган, над балаганом небо»
или небольшое авторское отступление**

В каждой эпохе есть культура низа и культура верха. Культура площадная, народная и культура духа, завета и ковчега.

Впервые эту мысль в своих научных работах обосновал выдающийся культуролог, философ и литературовед Михаил Бахтин.

В поэзии Д.С. выразил эту мысль следующим образом:

*Под небом балаган,
Над балаганом небо...*

Бахтин в одной из своих работ, а именно в «Эстетике словесного творчества», пришел к такому умозаключению: «*Серьезность нагромождает безвыходные ситуации, смех подымается над ними, освобождает их*». И делал вывод: «*Все подлинно великое должно включать в себя смеховой элемент*».

Д.С. был человек высокой культуры, но в своем творчестве большое внимание уделяя высокому, не пренебрегал и «низким». Исходя из этого, я хочу показать Самойлова не только выдающимся поэтом своей эпохи, времени, в котором ему выпало жить – поэтом *неба*, который только и делает, что размышляет о высоком, но и человеком, озорным, радующимся жизни, которому ничто человеческое не чуждо – ни общение за дружеским столом с друзьями, ни ухаживание за хорошенькими женщинами, ни употребление крепких напитков, крепких слов и не менее крепких выражений – ко времени и месту.

В своих воспоминаниях о Давиде Самойлове я хочу обрисовать его с разных сторон, руководствуясь мыслью, которую обосновал Бахтин.

Д.С. однажды написал, что «сделал поэзию игрой... веселой

и серьезной». Потому что хорошо понимал, что без этой игры мир был бы беспросветно сер, безнадежно уныл и безысходно скучен. Он много шутил и писал, если так можно выразиться, в культуре низа. Не стеснялся крепких, выразительных выражений русского языка. Которые делают его ярче и краше. Думаю, что читатель уже догадался, что речь идет о так называемой обценной лексике.

Прежде всего, это относится к его эпиграммам, ироническим стихам, историям и проч., принадлежащим не высокому, а низу. Иногда прибегал он и к крепкому словцу.

Есть такое выражение – врет как очевидец. В чем-то оно соответствует истине. Все шуточки, афоризмы, эпиграммы и иронические стихи, пародии и мистификации Д.С. или других людей я привожу по своему дневнику, сверяя с книгой «В кругу себя», собранной другом поэта, переводчиком, критиком и литературоведом, рижанином Юрием Ивановичем Абызовым и выпущенной им в издательстве VIMO (Вильнюс-Москва) в весьма сокращенном варианте, и полному изданию, вышедшему в издательстве «Авенариус» в Таллинне в 2001 году (обе книги давно стали библиографической редкостью по причине малого тиража и времени издания).

В середине 90-х Юрий Иванович передал рукопись мне в надежде, что я сумею опубликовать ее в столице, но все мои отчаянные попытки издать ее целиком ни к чему в то время не привели. Историю своих мытарств с изданием этой рукописи рассказывать здесь не имеет смысла. Дела давно минувших дней – борьба с издательствами и прочими обстоятельствами вряд ли сейчас будет кому-нибудь интересна.

Главное, что эта удивительная книга все же вышла в Москве в издательстве «Прозаик», но опять-таки в урезанном варианте. Полное и целостное таллиннское издание для российских читателей остается практически недоступным.

Ну а рукопись я недавно передал Саше. Может быть, когда-нибудь нам удастся издать именно ее, и тогда она будет полностью соответствовать книге, вышедшей в Таллинне.

А propos

Абызов дружил с поэтом до самого его ухода. 20 декабря 1989 года Самойлов обратился с последним посланием к другу. В нем было всего четыре строки:

*Не спи, не спи, Абызов,
 Готовь себя к труду.
 А я как башня в Пизах,
 Пока не упаду.*

«Башне» предстояло простоять еще год.

А Юрий Иванович ушел из этой жизни в 2006-м.

... «В кругу себя» была порождением дружеского круга (как и не изданная до сих пор «Перновщина») и создавалась буквально на глазах тех, кто близко общался с поэтом. В это веселое, озорное и остроумное сочинение вошли стихотворные и эпистолярные послания, блистательные пародии, шутки, эпиграммы, надписи на сборниках стихов, подаренных друзьям, иронический роман в письмах, «научные трактаты» и «исторические» штудии, посвященные некой вымышленной стране Курзюпии, весьма и весьма напоминавшей Эстонию. Совершенно по-новому раскрывается здесь неподражаемый юмор Самойлова. Сначала как бы предназначавшиеся для «внутреннего пользования», собранные воедино в книгу эти сочинения сложились в нечто цельное и приобрели новые черты – и то, что, казалось было, интересно отдельным людям, друзьям и близким поэта, стало интересным и широкому кругу читателей. Эта удивительная книга, на мой взгляд, одна из лучших, что были созданы Д.С.

Страна Курзюпия

В Пярну, куда в середине глухих 70-х переехал Самойлов, было скучно и однообразно, несмотря на море, зелень и воздух. Друзей и собеседников не было. Развлекался тем, что вместе с приезжавшим к нему с завидной регулярностью Абызовым придумал страну Курзюпию, в которой жили курзюпы. Страна и народ очень напоминали Эстонию и эстонцев. У курзюпов были свой язык, свои поэты, философы. Д.С. написал целый трактат – «Курзюпия – ее история, достопримечательности и поэзия». Придумал старого курзюпского поэта Идриса Палдиса и замечательного философа Куурво Муудика.

Вот некоторые из его изысканий по истории курзюпского народа:

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона так характеризует первого курзюпского князя:

Первый курзюпский правитель из династии Ябайлов – великий князь Большой, Средней и Малой Курзюпии и окрестных земель. Создатель курзюпского права. Реформатор и военачальник.

...когда их спросили, как их звать, ответили, что не знают, ибо друг другу просто говорили: «Эй, ты!» На вопрос, кто они, – ответили: «Мы курзюпы». Когда же любопытствующие англичане спросили курзюпа-мужчину, чем он занимается, тот ответил: «Ставлю пистоны».

Тогда стало ясно значение термина «курзюпские пистоны», бытующего у соседних народов. Курзюпы издавна изготавливали пистоны и продавали их владельческим особам...

В результате своих научных штудий поэт обнаружил ранее неизвестный факт из жизни великого ученого Гумбольдта. Оказалось, что он путешествовал по этим местам в XIX веке. Знаменитый немец составил первый курзюпско-немецкий словарь и установил, что курзюпский язык принадлежит к числу древнейших на земле. Составлять словарь ученому помогал первый курзюпский просветитель пастор Йобис, который перевел Библию на язык родных осин. Словарь состоял из сорока трех слов. Было еще одно слово, усмехался Д.С., но пастор его забыл.

Помню, как в один из моих приездов в Пяруну, он с выражением читал стихи из творческого наследия двух старых оригинальных курзюпских поэтов, творивших в достаточно темную эпоху (пусть кто-то из читателей, положи руку на сердце, скажет – бывали ли когда-то светлые эпохи?), что, впрочем, как подчеркивал Самойлов, не мешало обоим оставаться оптимистами. Это, говорил он, свидетельствует о силе духа курзюпов, их нравственной стойкости и непоколебимости пред всеми ужасами жизни. Из всего, что писали поэты, нашлось всего несколько стихотворений. Возможно, остальное исчезло, как и они сами, в пучине вечности. Вот эти стихи курзюпских мастеров:

*Жил добрый пастор Йобис
В кругу своих друзей.*

*К тиранству приспособясь,
Он уважал князей.*

*А князь, ценя науку,
Сказал ему: «Пиит!
Гляди на эту штуку –
Зачем она стоит?»*

*Тот, не смутясь нисколько,
Ответил: Князь! Ты храбр.
Она ж стоит, поскольку
Она есть канделябр»*

*Князь молвил: «Ну-ка, ну-ка!
Разумен ты, пиит.
Ну, а вот эта штука-
Зачем она стоит?»*

*Она стоит, покуда
Ты не велишь ей лечь.
А ну, ложись, паскуда,
А князю не перечь!..»*

*«Я лечь сама бы рада, –
Ответила Марго, –
Когда бы то, что надо,
Стояло у него».*

*... Живи на радость детям,
Живи на радость всем.
Живи! Но между тем,
А также между этим,
Не оставляй трудом,
Не будь вторым и третьим,
А только первым будь
В любом курзюпском деле.
И помни, что на теле*

*Всего важнее грудь.
И в руки грудь беря,
Держи как можно крепче.
И знай: ты жил не зря,
Хоть от того не легче.*

А затем прочитал (почти вечное, особенно в отношении *воткнут*) –

*...Эпоха- мать! Ее эти -
ческое назначенье смутно.
И сколько задом не верти
а все равно тебе воткнут... Но
однако счастье впереди!..*

Как говорила Ахматова – поэт всегда прав. От себя добавлю – даже если он курзюп.

Прошло много лет. В современной России принято все запрещать. И все испугались – и это запретили, и это, и даже *это*. Бояться не надо. Поэтому разделим оптимизм неизвестного поэта. А то, что запретили, нам что – это впервые?

Счастье – впереди.

Два философа

Д.С. дружил с Владимиром Лукиным. После уходов Лукина всегда обращал мое внимание на то, что он умный человек. Я говорил, что умный человек не может не быть немножко циником. Правильно, отвечал Самойлов, но цинизм может происходить не только от ума, но и от профессии. Это Володин случай. Его цинизм происходит не столько от его ума, сколько от его профессии. В его цинизме, развивал свою мысль Д.С., всегда остается место и для дружбы, и для лирики. Смеясь, определял это качество как лирический цинизм.

В 60-е годы В. П. Лукин, историк по образованию, работал в Институте мировой экономики и международных отношений. Был большим докой по «социал-демократии в странах Южной и

Юго-Восточной Азии». Именно так – «Социал-демократия в странах Южной и Юго-Восточной Азии» - называлась его диссертация, за которую он был удостоен степени кандидата исторических наук. Затем его командировали в Прагу, где он служил старшим референтом чехословацкой редакции журнала «Проблемы мира и социализма», в которой сошлось (так получилось) довольно много тогдашних либеральных интеллектуалов.

Тем временем к власти в ЧССР пришел реформатор Александр Дубчек, мечтавший придать социализму «человеческое лицо», и объявил «пражскую весну». В которую Владимир Петрович окунулся со всего размаху. Но «весна» эта, как для самой Праги, так и для Лукина продолжалась недолго – в августе 1968 в Прагу вошли советские танки впридачу с бронированной мощью пяти стран Варшавского Договора² и «человеческое лицо» чешского социализма размазали железными гусеницами по пражским улицам и площадям. Мечты романтика Дубчека остались мечтами, а совесть русского интеллигента В. П. Лукина, уже в то время придерживавшегося демократических взглядов, не выдержала и сказала ему: «Не смей молчать!».

И он не смолчал – выступил с протестом против вторжения советских войск и их союзников.. После чего молодого референта из «ревизионистского гнезда» поперли – из разложившейся и потому растоптанной Брежневым и прочими «хоннекерами» Чехословакии он был немедленно выслан на родину. В Москве отделался внушением, после которого опального Лукина определили подальше от «социализма с человеческим лицом» – в Институт США и Канады, где он стал заведовать сектором дальневосточной политики.

В конце 70-х В.П. читал Д.С. свои «Записки умного человека». Самойлов их ценил за то, что он пытался логическим путем установить границы нравственного компромисса – до какой черты можно уступить власти.

«Записки» были напечатаны уже в 90-е годы, в которые Владимир Петрович сделал фейерическую (и вполне заслуженную) карьеру на дипломатическом поприще – стал послом в США (а в советские времена, после Праги, десять лет не пускали даже в Болгарию). О том, кем теперь является В. П. Лукин, говорить не приходится – это известно любому эзку³.

В Америке он много сделал для возвращения Александра Солженицына в Россию.

Лукин понимал толк в литературе, любил поэзию, дружил с теми же писателями и актерами, что и Д.С. В этом кругу его звали китайским философом Лю-кин.

В Пярну без философских выкладок и концепций Лю-Кина было скучно и пресно, и Самойлов в себе собеседники создал другого философа.

... и КуурвоМуудик

Куурво был не простой философ, а мытлемист – от эстонского глагола «мытлемаа», что в переводе на русский означает – шевелить мозгами.

Философ был знаменит не только тем, что родился во время дружеской попойки, но и тем, что предсказал начало войны. Подлинное его имя было Август Лим, КуурвоМуудиком он решил сделаться потому, что это внушало. Курзюпский философ был знаком с работами Фридриха Энгельса, в архиве сохранилась книга ближайшего сподвижника Карла Маркса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» с пометками Муудика, но увлекался Куурво все же не марксизмом-энгельсизмом, а учением китайского философа Лю-Кина, о котором (как впрочем, и о самом учении) был весьма высокого мнения.

Первое достоинство китайского коллеги курзюпский философ видел в том, что длинное Лю-Кин излагает кратко. Второе – что в кратком изложении умеет достичь глубины. «О третьем же я умолчу», – загадочно говорил Куурво. И как не пытались, никто не мог добиться у Муудика, чем же особенно славен Лю-Кин. Философ только улыбался и качал головой

Самойлов собрал рассказы о жизни известного пярнусского философа у жителей города, которые его хорошо помнили, а еще лучше помнили легенды и анекдоты, сопровождавшие Куурво еще при жизни. Кроме того, Д.С. в своей книге о выдающемся курзюпе, внесшим бесценный вклад не только в национальную, но и мировую культуру, привел избранные изречения из главного труда КуурвоМуудика «Апофеоз медиативного мытлемизма».

Вот несколько историй и изречений, которые позволяют глубже понять как саму жизнь философа, так и его учение:

КуурвоМуудик о законном браке

«Почему вы не женитесь, господин Муудик», – спросила одна из кокетливых дам».

«Фортепиано я предпочитаю брать напрокат», – ответил философ.

Комплимент

Отдыхая в постели торговца Зада, КуурвоМуудик заметил: «Я чувствую себя, как на пороховом погребе». – «Как вы мило умеете польстить женщине», – сказала супруга торговца.

Не могу так же не привести остроумный ответ философа, которому ничто человеческое не было чуждо, одной даме: *«То, что я так быстро вам дала, я готова дать и во второй раз», – сказала КуурвоМуудику молодая вдова, у которой он находился в гостях.*

«Кто дает быстро, тот дает дважды», – ответил Муудик и стал одеваться.

Вот еще несколько замечаний из его «Апофеоза»:

Смысла жизни в общем нет. Он есть только в частностях.

Мытлемизм считает, что все должно оставаться, как есть, иначе будет, как никогда не было.

А все-таки: есть ли смысл жизни? Смотря когда. Попробуйте умереть два раза.

Последнее замечание, когда его с серьезным лицом, произнесил Д.С., нравилось мне больше всего.

И еще одно наблюдение, ставшее вершиной мысли пярнусского мыслителя:

Надо сохранять разум, даже в тех обстоятельствах, когда он совершенно ни к чему.

В конце концов, исходя из своего жизненного опыта, философ провозгласил:

«Истина – это правда, по истечению времени».

Воистину так!

«В сороковатахеровата...»

После освобождения из лагеря Игоря Губермана не прописывали в Москве, и он жил на даче тещи Лидии Борисовны Либединской. Игорю нужно было куда-то позвонить, он снял трубку, КГБ его засекло. Выходило, что дачу Либединской прослушивали.

Его вызвали куда надо и предложили убраться из столицы и прилегающих к ней окрестностям вон. Игорь убрался, но в городках и весях, лежащими в 101 км от Кремля, столкнулся со всегдашними советскими абсурдными проблемами. Как только становилось известно его очередное перекаати-поле жительство, его с этого с таким трудом обретенного **полежительства** тут же выписывали и угрожали новым арестом за нарушение паспортного режима (как известно, режим есть режим).

Жизнь всегда состоит из определенной нормы и неопределенного абсурда. Вопрос – что перевешивает. В советской реальности всегда перевешивало второе. Про сегодняшнее бытие не говорю, об этом в другой раз. Здесь только вкратце замечу – когда кончается один абсурд, начинается другой. Какой был хуже – каждый выбирает для себя.

Лидия Борисовна позвонила в Пярну, и Самойлов обратился в органы, чтобы прописать гонимого «Абрама Файяма», которого звал «декабристом», в собственном доме. Д.С. к тому времени уже был уже в Пярну человеком известным, можно сказать, в некотором роде живой достопримечательностью. Органы хотя были и советскими, но все же с национальным оттенком и, мне кажется, где-то исподтишка хотели насолить Москве – вот вы этого самого Губермана у себя в столицах не прописываете, а в наших Палестинах за него уважаемый человек хлопочет, почему мы должны отказать? Да и места у уважаемого человека в нашем городе достаточно. (В скобках замечу, мэтру удалось не только оформить прописку своему несостоявшемуся ученику, но через некоторое время добиться и снятия с него судимости, таким образом, дав бывшему сидельцу возможность вновь официально вернуться в Москву и поселиться там с семьей).

Короче, когда все процедуры «этот самый Губерман» прошел, я услышал в незабываемом авторском исполнении его краткий, но емкий ответ Тютчеву:

*Давно пора, ебена мать,
умом Россию понимать!*

– который давно гулял по городам и весям необъятной родины. Жалко – столько лет прошло, а до сих пор, мало кто понимает.

В одно из пребывания Игоря Губермана в Пярну Самойлов придумал югославскую поэтессу Поебанку Навзнич. Она была в его рассказах рамоличкой – расслабленной, немощной, и как все рамолики, впавшей в некоторое слабоумие. На склоне лет Навзнич испытала творческий кризис – перо отказало, вдохновение пропало, стихи ушли. Поебанке ничего не оставалось, как предаваться старческим сексуальным иллюзиям. Она писала Самойлову письма, осторожно намекала на якобы имевшие в прошлом место интимные и дружеские связи.

Д.С. вел себя мужественно, все связи, кроме творческих, с героизмом фронтовика и твердостью новоявленного эстонца отклонял и отвечал ей следующим образом: *«Всю жизнь благодарен вам за ваши изумительные переводы из меня с их адекватностью: «В сороковатахеровата имам я серба и хорвата»⁴.*

И здесь мы с Игорем падали навзничь, покатываясь от распивавшего нас смеха. После этого остроумец, балагур и «хулиган» Губерман замолкал, уступая первенство хозяину дома. А сходявшись к обеденному столу, два поэта, пожилой и не очень, состязались в остроумии. Когда Игорь декламировал про «огромный орган безопасности» (*«я государство вижу статуей:/мужчина в бронзе, полный властности,/ под фиговым листочком скрытан/огромный орган безопасности»*), Д.С. откликнулся эпиграммой, написанной еще в 1981 году:⁵

*Какой уютный дом - зачем его бояться!
Где манит огонек, почти всю ночь светясь.
И хочется пойти, и хочется сознаться
И правду объяснить про каждого из нас.*

Игорь подхватывал тему и настаивал что:

*В борьбе за народное дело
Я был инородное тело.*

Только-только начиналась очередная оттепель, затеянная Горбачевым. В обеих столицах уже шумели народные витии, осмелели газеты и журналы, что-то разоблачали по ТВ. Никто тогда и не предполагал, во что все это выльется.

В ответ на исповедальные строки Игоря Д.С. читал своим удивительно насыщенным голосом «Философему о текущем моменте»:

*Не пою свободу слова
Или гласность.
А пою сегодня снова
Непричастность.*

*Не причастен ни свободе,
Ни террору,
А мечтаю о природе
В эту пору.*

.....

*Демократии желаю
Только пьющей.
«Помоги, – к тебе взываю, –
Всемогущий».*

.....

*Демократия и гласность
Под спиртное, –
Обретет себе прекрасность
И иное...*

В конце концов Игорь своего добился и на родину предков, куда он так стремился, уехал в конце 80-х годов, а я начале 90-х стал делать журнал «Европа+Америка. Бестселлеры трех континентов».

После того, как распалось издательство «Весть».

Идея

Безумная идея создать кооперативное, свободное от цензуры издательство родилась у меня осенью 86-го. Идея была настолько же безумна, насколько неосуществима, поэтому я решил, что ее следу-

ет немедленно начать воплощать в скудную, однобоко культурную, советскую литературную и общественную жизнь. Но осознав, что в одиночку эту идею в жизнь не воплотишь, я позвонил Саше Давыдову и у него на кухне прямо в лоб ее сформулировал. Идея была поддержана (именно в силу ее безумия) на кухне обычного писательского дома на Красноармейской, а если быть до конца точным – на кухне бывшей квартиры Давида Самойлова, где и проживал его сын.

Как всегда водилось в советские времена, были призваны другие товарищи, как-то: поэт Юра Ефремов и драматург Юра Гутман⁶, а затем к нам присоединился по наводке одного из Юр тоже относительно безумный поэт Игорь Калугин⁷. На «датском»⁸ периоде возник метаметафорист Илья Кутик⁹, но об этом этапе чуть позже. В недельный срок идея была обговорена со всех сторон, через месяц мы поняли, что головой (даже, если их несколько) стену (идеологическую) не перешибешь – Горбачев, видимо, исходя из только понятной ему логики, как в известном танце, делал шаг вперед и два назад.

И в один критический момент, когда дело почти стало тухнуть, кто-то из нас (сейчас, по прошествии стольких лет, не упомяну – кто) воскликнул: «К черту издательство! Пусть будет сначала альманах. Из тех, кого власть не печатала и из тех, кого трудно было напечатать сейчас. Главное – издать. А там посмотрим». Его пыл быстро остудили – да кто тебе даст Исаича¹⁰ или Войновича опубликовать в Союзе, давайте ограничимся, как говорил Синявский, эстетическими расхождениями с советской властью. А политические – оставим на потом.

На том и порешили. Быстро (это был Юра Ефремов) нашли название – «Весть», кто-то воскликнул благая, кто-то улыбнулся, но дело было сделано – инициативная группа составлена, все документы – устав и что там еще написаны.

Сейчас, по прошествии стольких лет, удивляешься – откуда хватило ума, сделать то, чем ни разу не занимались в жизни. Это я про написание устава и прочих необходимых для официальной юридической регистрации документов. Кроме того, отлично понимая, что с такими молодыми наглецами как мы, никто не будет разговаривать, мы решили привлечь к нашей затее мэтров с не под-

моченной и не испорченной репутацией. Таких было немного, но все-таки они были. Теперь оставалось только действовать. Что мы и стали делать.

Хронология

«21 октября Эдуардас Межелайтис по телефону выразил свое согласие нашему начинанию.¹¹

26 октября принял приглашение Давид Самойлов.

«2 ноября – эта дата стоит под первой, еще черновой редакцией обращения к ЦК КПСС и правительству с просьбой о легализации Инициативной группы.

18-28 декабря предпринимаются попытки привлечь на свою сторону Бориса Можаява, по преимуществу смехотворные, по результату – безуспешные.

19 декабря документы подписал Булат Окуджава.

20 декабря к группе присоединяется Фазиль Искандер.

27 декабря. Я был в гостях у Александра Давыдова. За столом зашла речь о наших потугах. Кто-то сказал: «Вам надо бы обратиться к Каверину. Он занимался подобными делами в двадцатых годах».

Колесо завертелось. Саша и Юра позвонили Вениамину Александровичу, он пригласил их в гости, и был единственный из мэтров, кто без лишних вопросов душой и сердцем воспринял и одобрил нашу идею. Бывший обэриут и участник одного из первых советских альманахов «Серапионовы братья» оказался на высоте. Это он, когда надо, дозванивался до ЦК (трубку, что естественно, брали референты, которые если и слышали о «Двух капитанах», то в далеком детстве, а о какой-то *Инициативной редакционно-издательской группе «Весть»* и ведать не ведали, и слыхом не слыхивали, – короче, самая настоящая русская сказка). Это он разговаривал с завсектором отдела пропаганды ушедшего в небытие ЦК КПСС неким Викторовым и таким же неким работником секретариата Александровым.

А хотелось с самим «архитектором перестройки»¹².

Но, если Вы пребывали в то время в сознательном возрасте, то должны помнить, что у секретаря, курирующего идеологию, дела

были поважнее, нежели издание какого-то бесцензурного – при неотмененной-то цензуре – альманаха.

Но молодые нахалы, войдя во вкус того, что было названо *перестройкой*, и, почувствовав на своих губах не обычный вкус водки, а необычный, – свободы, и слегка захмелевшие от этого оказавшегося таким божественным вкуса, все равно продолжали настойчиво действовать и осуществлять задуманное.

Письмо в ЦК

Вениамину Александровичу хотелось не только поговорить с А. Н. Яковлевым, но и попросить о личной встрече, чтобы объяснить, а если надо и доказать полезность и нужность задуманного дела. В конце концов, такое начинание открывало путь к свободному книгоизданию, в чем, между прочим, перестройка, да и сам патрон «архитектора», М. С. Горбачев, испытывали необходимость ни меньше молодых издателей.

Но тов. Александров чисто по-иезуитски все попытки Каверина бюрократически отбивал – какой там Александр Николаевич Яковлев, вы знаете, сколько у него дел без вашей, извините, *инициативы*? А тов. Викторов, так тот прямо говорил, что вопрос сложный, находится в стадии проработки и что надо запастись терпением. На что остроумный патриарх отечественной словесности отвечал – он бы, конечно, рад, но ему уже, ни много ни мало 85. Но, очевидно, его собеседники (вполне справедливо!) полагали, что старику спешить нечего – перед ним Вечность.

Что же касается самих временных временщиков, то, думаю, что они даже в мыслях не могли представить себе, что их время кончится совсем скоро – с появлением «коллеги» Ельцина.

Так они заядлые «перестройщики» – функционеры образца 1987-го года тянули до весны.

В конце концов, терпение наше лопнуло, и ставший к тому времени замом председателя редакционного совета (председателем единодушно был избран В. А. Каверин) Саша начал тоже связываться со Старой площадью и откровенно дерзить ЦК.

ЦК в лице его клерков в ответ откровенно хамило Саше. И тогда, как водится на Руси, было решено: если не удастся встретиться – написать письмо самому если не батюшке-царю, то од-

ному из самых приближенных к нему людей, все тому же А. Н. Яковлеву.

Каверин взялся за перо, то бишь пишмашинку, и прибегнул к старому как сама советская власть методу – лично обратился к власти предержавшему с письмом:

Уважаемый Александр Николаевич!

Принимая близко к сердцу идеи обновления, группа писателей в обращении к Вам выразила готовность вложить силы и средства в создание издательского кооператива, цель которого – деятельная поддержка нынешних благотворных начинаний. О наших планах сообщали «Московские новости», «Литературная газета», «Труд», Центральное телевидение. Выступления прессы помогли еще раз осознать нужность этого живого дела. Очень многими оно воспринято как свидетельство реальности перестройки. Нас поддержали Союз писателей и Госкомиздат СССР, изучивший и одобривший наши рабочие документы. Хорошо понимая, как Вы заняты, мы все же просим именно Вас рассмотреть это предложение. Дело крайне важно для меня, ибо я хотел не только быть причастным к началу этой работы, но и увидеть его результаты. Я верю, что Вы найдете время и силы ответить мне лично.

С уважением и пожеланиями всяческих успехов

Вениамин Каверин

Мы вышли на Серго Микояна, в то время возглавлявшего журнал «Латинская Америка». Саша отвез это письмо самому Серго, тот по своим каналам передал его на самый верх.

Ответа на него мы так и не дождались, хотя чуть ранее, в марте 87-го, кем-то из секретариата ЦК (может быть, тем же Викторovým) В. А. Каверину было передано обещание принять его на высоком уровне, но он его так и не дождался. А месяцем ранее, вечером, в холодном феврале мы с Сашей были у Д.С. на Астраханском. В основном, наперебой рассказывая обо всем, что было связано с «Вестью».

... Вспоминаю, как Д.С., Булат Окуджава, Саша Давыдов, Юра Ефремов и автор этих строк по делам будущего альманаха поехали в Переделкино к Вениамину Александровичу Каверину.

Мы обсуждали предстоящий выход в свет многострадальной «Вести» и что из этого может произойти в дальнейшем. И произошло то, что произошло. О чем мы в тот вечер с Кавериным и говорили – взрыв перестроечной прессы дома и отклики за рубежом, появление самых разных по уровню, составу авторов и тематике всевозможнейших сборников, ну и самое главное – основательно заржавевший издательский пароход двинулся в открытое море свободного книгоиздания.

За разговором Вениамин Александрович действительно кормил нас превосходным ужином. Он кутался в стариковскую кофту, уже плохо передвигался по комнатам, но сохранял ясную память и удивительно четко формулировал свои мысли

Он ушел во тьму на 88-м году жизни.

Альманах «Весть» увидел свет летом 1989-го.

Каверин не дожил до выхода альманаха «Весть» всего лишь около двух месяцев.

Отклики: за рубежом...

...альманах «Весть» является наиболее зрелым и содержательным, ибо представляет в равной степени «новую» и «старую» литературу, объединяя под одной обложкой как традиционные, так и экспериментальные вещи. Конфликт между ними, как мне представляется, выглядит мнимым; они вполне могут и должны соседствовать рядом – те и другие следует оценивать спокойно. По их подлинным достоинствам, а не исходя из того или иного» направления¹³.

Отметив единство представленных литературных произведений, рецензент из традиционной литературы выделил вещи Булата Окуджавы, Фазиля Искандера и Якова Гордина, стихи Давида Самойлова и Александра Кушнера, а из новаторской – повести Евгения Попова «Билли Бонс» и Александра Давыдова «Сто дней», а также пьесу Юрия Гутмана «Вздор». Хорошее впечатление на Кузнецова произвели и подборки стихов Татьяны Врубель, Геннадия Жукова и Ларисы Миллер.

...и дома

Что же объединяет столь разных авторов на страницах одной книги? Да, конечно же, отрицание лжи и насилия, тоталитарного единообразия и идеологизации. Авторский почерк почти каждого свидетельствует, прежде всего, о творческой индивидуальности. Но порыв к свободе состоит и в утверждении приоритета экзистенциальной, онтологической проблематики, восстановления в правах эстетических поисков.

В своей статье Наталья Иванова упоминала и разгромленный альманах «Метрополь», вспоминала СМОГ¹⁴ и делала предположение, что «литература не гнездо кукушки...и возвращение к читателю тех, кто был силой вытолкнут...из гнезда продолжится».

В чем, собственно, она была права.

Машину, раскрученную нами, остановить уже было невозможно.

Послесловие

«Кто устоял в сей жизни трудной....»

Всегда трудно писать о человеке, которого хорошо знал, которого любил, с которым был тесно связан на протяжении многих лет жизни. Тем более, когда речь идет о таком человеке и поэте, как Давид Самойлов.

Почти каждый крупный писатель имеет не только поклонников, почитателей своего таланта – дальний круг, но и тех, с кем постоянно и дружески общается – ближний круг. В него могут входить самые разные люди – и друзья-литераторы, и ученики, и актеры, и те, кто вообще далек от искусства. Здесь царит своя атмосфера, свой стиль отношений, свои юмор и шутки. Как и многие, знавшие его близко люди, я испытал на себе силу его обаяния и душевную щедрость, которой он был наделен безмерно. Давид Самойлов был не только выдающимся поэтом, но и крупной, значительной личностью, мудрым всеведущим человеком. Полагаю, что первое невозможно без второго и третьего. Он, как магнит, притягивал к себе множество самых разных людей не только своим незаурядным поэтическим талантом, но и роскошью человеческого общения (которая постепенно

уходит из нашей сегодняшней жизни) и – не побоюсь сказать – на протяжении многих лет был средоточием культурной и интеллектуальной жизни не только Москвы, но и русскоязычной интеллигенции Прибалтики.

С ним было безумно интересно разговаривать, с ним было приятно выпивать, с ним было даже хорошо молчать. Для тех, кто близко знал его, долго объяснять не приходится.

Для тех, кто не знал, замечу, что собеседник Д.С. попадал на пир интеллекта, раскованной мысли и не скованного никакими ограничениями духа.

Ему выпало все, что выпало на долю его поколения, поколения «сороковых, роковых», и при этом даже в самые трудные советские времена он ни единым словом, ни единым жестом не покривил ни в литературе, ни в жизни. Что, собственно, было для него одним и тем же. Он всегда оставался человеком твердых этических правил и никогда не позволял себе отступать от них.

В последние годы жизни его успокаивало, что он достроил свой литературный дом. Он всегда делал, что должно, и поэтому получалось, что и как нужно. На пороге ухода свое литературное хозяйство он оставлял в полном порядке. Он был поэтом, критиком и историком литературы. Он писал прозу и воспоминания. Он был литератором в пушкинском значении этого слова – знал литературу изнутри, знал, из чего она состоит, как делается и ради чего существует. И если художник был послан Всевышним в этот мир для выполнения определенной миссии, то свою – он исполнил.

Да, временами он ошибался, да, нередко бывал необъективен и пристрастен в своих выводах и оценках, но никогда и нигде, ни в раннюю пору, ни в зрелую, он ни разу, ни единым словом не погрешил против собственной совести и всегда искал не столько правду, сколь истину. Вступив в 1930-е годы на этот путь, восприняв литературу не просто как искусство слова, а как служение и подвиг, он сумел не сойти с этого почти всегда погибельного в России пути на протяжении всей своей литературной жизни. Поэт для него был больше, чем поэт – он был вестником, и ему никогда не было безразлично, что поэт возвещает. Прежде всего, это относилось к себе самому, а затем к братьям по цеху. Он мало дорожил своим литературно-житейским «я», дороги были

стихи не сами по себе, но и во имя чего они – так или иначе – пишутся.

В самой середине густопсовых 70-х годов он написал стихотворение «Кто устоял в сей жизни трудной» и посвятил его адвокату Дине Каминской¹⁵, спасавшей правозащитников от советской власти, и которая сама же от нее и пострадала:

*Кто устоял в сей жизни трудной,
Тому трубы не страшен судной
Звук безнадежный и нагой.
Вся наша жизнь – самосожжение,
Но сладко медленное тление,
И страшен жертвенный покой...*

Ну что ж – он устоял.

¹ Журнальный вариант.

² Чаушеску – как бы к нему не относиться – в этой авантюре не участвовал.

³ Глава писалась, когда В. П. Лукин занимал пост Уполномоченного по правам человека.

⁴ Это каким же мужеством надо было обладать, чтобы спародировать «Сороковые, роковые...» – стихотворение, ставшее классическим при жизни Д.С. и вошедшее в школьные учебники.

⁵ Пикантность ситуации состояла в том, что Пярнусское отделение КГБ располагалось за забором дома Д.С.

⁶ Ныне проживающий в Америке.

⁷ Игорь затем прославился тем, что стал угонщиком самолета, летевшего то ли из Москвы в Таллинн, то ли из Таллинна в Москву, Таким образом, он выразил свой протест против событий, происходивших в Эстонии. В Москве его преспокойно задержали, но вскоре выпустили, сочтя, как бы это помягче выразиться – за неадекватного «террориста».

⁸ Это когда мы вели переговоры об издании альманаха в Дании.

⁹ Ныне профессорствующий в Штатах.

¹⁰ Так в те времена в интеллигентских кругах называли Солженицына.

¹¹ Цит. по: Георгий Ефремов «Каверин и «Весть». // «Столица», №34, 1991.

¹² В то время секретарь ЦК, совместно с Е.К. Лигачевым курировавший вопросы идеологии, информации и культуры.

¹³ Из рецензии Павла Кузнецова «Весть» и другие» // «Русская мысль», №3822, 6 апреля 1990 г.

¹⁴ Самое молодое общество гениев, в которое входили рано ушедший из жизни Леонид Губанов, Юлия Вишневская и др. Возникло в 1964, разгромлено в 1965.

¹⁵ Д. Каминская защищала Владимира Буковского («дело о демонстрациях», 1967), Юрия Галанскова («процесс четырёх», 1967), Анатолия Марченко (1968), Ларису Богораз и Павла Литвинова («дело о демонстрации семерых на Красной площади против вторжения Советского Союза в Чехословакию», 1968), Мустафу Джемилева и Илью Габая (1969—1970). С 1971 года Каминскую перестали допускать к участию в политических процессах. В 1977 году она эмигрировала в США. В 2006 срок ее жизни подошел к концу.

Геннадий Евграфов – член Комитета московских литераторов, автор эссе о поэтах и писателях Серебряного века – З. Гиппиус, Л. Зиновьевой-Аннибал, И. Бунине, А. Блоке, В. Ходасевиче и др. Публиковался в Советском Союзе, России, Франции, Германии и Австрии. Лауреат премии журнала «Огонек» за 1989 г. В 1986-1989 г. г. один из организаторов и редакторов экспериментальной редакционно-издательской группы «Весть», возглавляемой В. Кавериним. Как редактор в издательствах Аграф, Вагриус, ХГС (ныне Время) и др. подготовил к печати книги З. Гиппиус, Е. Шварца, И. Эренбурга, Д. Самойлова, Ю. Левитанского, Венедикта Ерофеева и др.

Яков ФРЕЙДИН

ИЗ ОМУТА

Не дано нам знать правила той таинственной игры судеб, в которую играют нами неведомые высшие силы. Можете называть эти силы богом, чёртом, вселенским разумом, или просто случаем – как угодно. Дело не в ярлыке. Крутят они нами, и мы, как щепки в турбулентных струях жизни, несёмся, часто сами не зная куда – то ли к удаче и счастью, то ли к тихой и уютной заводи, а может и в омут. Если ты щепка, так тому и быть, ничего от тебя не зависит, несись по воле потока и будь что будет. Хорошо, конечно, если достанет ума, сил и желания быть не беспомощным поплавком, а стать эдакой маленькой лодочкой с парусом и капитаном у руля. Тогда появится если не уверенность, то хотя бы шанс не разбиться о рифы и обойти опасные кручения вод. Ну, а если всё же попал в водоворот, коли завертело твой кораблик вихрем и потащило его в бездну, то и в такой, казалось бы, безнадёжной ситуации хорошо бы не упасть духом, собрать волю, и сделать может последнюю попытку вырваться оттуда и спастись. Шанс есть почти всегда, надо только заметить его и не упустить.

Иными словами, если уж понесло тебя в омут – делай, что можешь, хватайся хоть за соломинку, борись пока есть воля – глядишь и получится уйти от беды.

Расскажу здесь историю, которая, думаю, проиллюстрирует эту простую мысль – не быть безвольной щепкой. Случилось это более 40 лет назад.

К середине семидесятых мы с женой окончательно созрели – поняли, что жить в СССР нам стало неважно. Для меня вопрос «ехать или не ехать?» вопросом не был. Ответ был ясен: если можешь жить в советской атмосфере, то не ехать. Но если начинаешь там задыхаться – жизнь-то одна и надо её спасать, тогда ехать.

В те годы я работал в электронной лаборатории медицинского научно-исследовательского института (НИИ) в Свердловске (Екатеринбурге). После получения диплома радиоинженера мне с трудом удалось избежать распределения в разного рода секретные заведения, известные лишь по номерам их почтовых ящиков. Таких «ящиков» в городе и вокруг было много, впрочем вся страна была своего рода гигантским «почтовым ящиком». По какому-то подсознательному стремлению я всеми силами старался не получать допуска к секретам и не работать на закрытых предприятиях. Все мои бывшие соученики попали после института в разные «почтовые ящики» и застряли там навсегда. Я не был умным провидцем, но внутренний голос мне говорил – туда не ходи, пропадёшь.

Хотя в НИИ я получал куда меньшую зарплату, чем мои друзья из «почтовых ящиков», жил более свободной жизнью (насколько можно было быть свободным в лагере, то есть в соцлагере). Проработав в институте почти десять лет, я понял – это потолок. Ничего нового уже не будет. Двигаться дальше некуда. В городе другой интересной работы без допуска к секретам не было, а переехать в иной город не получалось: без прописки не дадут работу, а без работы не дадут прописку – чёртово колесо. После того, как я просидел много лет за одним и тем же лабораторным столом, я понял, что жизнь так и пройдёт и стол поменять не удастся. Потому надо попытаться поменять если не стол, то страну. Советскую власть я не любил, но в диссиденты идти не хотел – бодаться с дубом смысла не было: рога поломаешь, систему не изменишь, а жизнь пропадёт ни за грош.

Свердловск был почти закрытым городом, за границу мало кого пускали, и мы стали подыскивать способы поменять нашу квартиру на жильё в каком-то более открытом городе и там подавать заявление на эмиграцию. Стали копить деньги на случай долгого отказа и потери работы. Но вдруг мы услышали новость – по разным политическим причинам двери в Свердловске слегка приоткрыли и некоторые отказники стали получать разрешения на выезд по израильским вызовам. Мы решили рискнуть.

Израильский художник Михаил Гробман несколько раз послал нам вызовы на воссоединение с «любимой тётёй» из Беэр-Шевы и с третьей попытки один вызов дошёл. В те годы подача заявления на эмиграцию автоматически означала осуждающее собрание со-

служивцев, статьи с проклятиями в газетах и увольнение с работы. Этого удовольствия властям и боли родителям нам доставлять не хотелось. Поэтому первое, что мы сделали – сами уволились. Я – из НИИ, Ирина – из оперного театра, где она работала в оркестре. Затем с немалым трудом мы собрали необходимые документы, отнесли их в ОВИР и стали ждать.

В какую страну ехать я поначалу не задумывался – не важно куда, важно откуда. Но тянуло во Францию, куда меня привлекали её кино, литература и живопись. Тяга та была совершенно наивная и даже беспочвенная, но по неведению и простоте душевной так я тогда думал и с жаром стал изучать французский язык.

Мы знали, что эмигрировать означало немножко умереть. Как в электрическом диоде, который проводит ток только в одном направлении, эмиграция была путём в одну сторону – разрыв и прощание навсегда с родственниками, друзьями, с прошлым – абсолютно со всем, что было. Вернуться когда ни-будь назад, даже в гости, было совершенно невыносимо. Мы это понимали и готовы были в той жизни умереть. Что мы могли с собой увезти в иную жизнь? Почти ничего, лишь самое необходимое. И память. Всё ценное отбирали на таможне, да и не было у нас никаких ценностей. И тогда я подумал – остаётся память. Этого они отнять не смогут. Я увезу память о друзьях, родителях, городе где я вырос, где прошло детство и юные годы, где учился и работал.

В свой НИИ я уже не ходил, свободного времени было много. Я взял фотоаппарат и стал снимать на память всё подряд. Я ходил по городу и снимал людей, улицы, здания, где я учился и где работал. Снимал роддом, где я родился и где 30 лет спустя родился мой сын, школу в которой учился, дом Ипатьева, где была убита семья последнего русского царя. Один мой приятель рассказал мне, что в двух часах от города есть прелестная старинная наклонная колокольня, совсем как в итальянской Пизе. Надо бы её тоже снять, подумал я и решил съездить в город Невьянск, где стояла эта башня – благо недалеко.

Тёплым июньским утром я собрался, положил в карман ключ от дома, деньги, взял небольшой спортивный мешок, сунул туда бу-

терброд с сыром, паспорт и фотоаппарат. Тут я вспомнил, что в аппарате нет плёнки. Промтоварные магазины открывались в 11 утра и ждать мне не хотелось. «Ничего, приеду в Невьянск и там куплю», – подумал я и отправился на вокзал. Взял билет на электричку в обе стороны, сел в почти пустой вагон и приготовился к двухчасовой поездке. Поезд тронулся и покачиваясь покатил на север. Где-то через час он меня действительно укачал и под монотонный стук колёс в тёплом вагоне я разморился и задремал, прислонив голову к окну. Сколько я так дремал, не знаю. Вдруг почувствовал, что поезд останавливается и сквозь дрему услышал голос машиниста из репродуктора: «Станция Невьянск».

Я протёр глаза, схватил свой мешок и выскочил из вагона на перрон. Поезд сразу тронулся и покатил дальше. Я стал озирается, и тут же понял свою ошибку – вышел на полчаса раньше не на той станции. Это был не Невьянск, а Верх-Нейвинск. Звучит похоже, но не одно и то же. Платформа была пуста. У маленькой будки на щите кнопками приколото расписание поездов. Я поглядел и увидел, что следующая электричка на Невьянск будет только через два часа. «Вот влип!», – подумал я. Но делать было нечего. Надо ждать.

Я стал гулять взад-вперёд по грязноватому деревянному перрону. Недалеко справа виднелся посёлок, вероятно Верх-Нейвинск, а на противоположной стороне от путей на холме высились какие-то здания, трубы и вышки радиоантенн. Тут я вспомнил, что где-то здесь находится один из самых секретных «почтовых ящиков», где обогащают уран для атомных бомб. Назывался он Свердловск-44 и я слышал о нём от некоторых своих соучеников по институту, которых туда распределили на работу. Жили они там почти безвыездно, но в относительном комфорте, в приличных квартирах, с куда лучшим, чем мы в «открытом» городе, снабжением продуктами и вещами. «Впрочем, – подумал я, – мне-то какое дело до этой золотой клетки? Дождусь свою электричку и поеду дальше».

Ждать надо было ещё долго и я решил, чтобы не терять зря времени, сходить в посёлок – должен же там быть какой-то магазин, где можно купить фотоплёнку. Так я и сделал, спустился с платформы и по пыльной дороге отправился в Верх-Нейвинск.

Сначала я шёл вдоль берега большого пруда, а затем мимо заросшего бурьяном огорода, где у оврага на бревне сидел белобры-

сый парень в кепке набекрень и пас козу. Коза грустно на меня посмотрела и отвернулась. Может, знала чего? Парень жевал травинку и целился носом в синее небо. День шёл к полудню, солнце над головой набирало летнюю силу, щебетали весёлые пичужки, жужжали шмели, воздух был налит травяным ароматом и настроение у меня поднялось. По мостику перешёл через узкую речушку и вскоре дошёл до посёлка. У проходившей мимо молодухи в косынке и с ребёнком, завернутым в тёплое одеяло, я спросил, где тут промтоварный магазин. Она показала ребёнком в конец улицы. «В такую жару и так кутает малыша», – подумал я и направился к магазину. Повезло – фотоплёнку там продавали. Я купил коробок и отправился обратно на станцию, мимо той же молодухи с ребёнком, присевшей у магазина на лавочке, а потом мимо козы у оврага, что пасла парня в кепке набекрень.

Как и раньше, на станции было пусто. До электрички оставалось ещё больше часа. Я проголодался и решил, что пора бы съесть свой бутерброд. Стал озираться вокруг – совершенно негде присесть – ни скамьи, ни бревна. Недалеко за путями виднелась берёзовая рощица. Тонкие деревья были усыпаны свежей ярко-зелёной листвой и я подумал: «Там может какой-то пенёк найдётся, да и вообще приятнее ждать в лесочке, чем на заплёванной платформе». Так я и сделал, спрыгнул с платформы, перешёл пути и направился к рощице. Она меня разочаровала – среди хилых деревьев было довольно грязно. Валялись поломанные металлические и деревянные ящики, мотки высоковольтного кабеля, ржавые канистры из под каких-то жидкостей, гнутые трубы и вообще всякий производственный хлам. Но делать было нечего. Я выбрал ящик почище и присел. Достал из мешка бутерброд с сыром и только собрался отправить его в рот, как услышал отрывистую команду:

– Встать. Не двигаться. Руки на голову!

Я вскочил и увидел, что со всех сторон окружён неизвестно откуда возникшим кольцом солдат с автоматами, направленными прямо на меня. Задавать вопросы, когда в тебя нацелен десяток автоматов, совершенно неуместно, поэтому я немедленно положил руки на макушку. Из-за кольца вышел лейтенант с зелёными погонами, что означало КГБ. Он подошёл ко мне, поднял с земли мой мешок и кинул его подбежавшему солдату, тоже в зелёных погонах.

Другой солдат подошёл ко мне сзади, взял сначала меня за правую руку, вынул из неё бутерброд, потом за левую руку, и на запястьях защёлкнул блестящие наручники. Он сразу же обыскал и очистил все мои карманы (но деньги оставил), прощупал одежду, нашёл коробочку с фотоплёнкой, что я купил в посёлке, и отдал всё лейтенанту. Солдат с мешком раскрыл его, посмотрел внутрь, вытащил фотоаппарат и паспорт и тоже протянул их лейтенанту. Тот глянул на моё лицо, раскрыл паспорт, полистал и спросил:

– Что вы делаете на свалке стратегического мусора?

– Что делаю? Собираюсь кушать свой бутерброд. А если этот мусор «стратегический» или ещё какой, чего он тут прямо у станции валяется?

Удивительно, но я совсем не испугался. Наивно думал, что никакой вины за мной нет, ничего противозаконного я не сделал, а кушать бутерброд на помойке, хоть и «стратегической», даже по суровым советским законам вряд ли тянуло на нарушение. Да, у меня с собой был фотоаппарат, но он даже не был заряжен. Я ничего с помойки не брал и был уверен, что это какое-то недоразумение и меня сейчас отпустят.

Лейтенант ответом меня не удостоил и махнул солдатам:

– Давайте его в машину!

Меня вывели из рощицы к неизвестно откуда появившемуся грузовику. Два солдата взяли меня под руки и, как пёрышко, вскинули на открытый кузов. Там усадили на скамейку спиной к кабине. Напротив лицом ко мне уселись лейтенант и один из солдатиков с автоматом. Несколько человек тоже уселись в кузов, а остальные – в подъехавший газик. Машины выехали на дорогу. Я посмотрел на наручники. Там были выбиты буквы «Made in U.S.A.». «Спасибо, дядя Сэм», – подумал я.

Солдат, что сидел напротив меня, сильно волновался, смотрел мне в лицо не мигая. Наверняка был уверен, что охраняет опасного преступника. Он уперся дулом автомата мне в живот, держа палец на спусковом крючке. Это мне совсем не нравилось, так как грузовик прыгал на ухабах и, чего доброго, сам того не желая, солдатик мог пухнуть мне в живот. Я сказал об этом лейтенанту и тот кивнул солдату, чтобы отвёл ствол в сторону. Машина тащилась медленно вверх по склону. Потом остановилась, лейтенант соскочил на землю

и я оглянулся. И вот тут я в первый раз действительно испугался – мы стояли перед воротами у проходной того самого «почтового ящика» Свердловск-44. Холодок пробежал по моей спине – если меня везут туда, значит дело серьёзное. Мне там делать совсем нечего, но уж если меня без допуска везут в эту секретную зону, значит, уверены в каком-то моём страшном преступлении и обратно мне пути не будет. Похоже, что моя поездка к наклонной башне склонялась в большую неприятность, которая на долгие годы могла меня вместо Парижа отправить в какую-то там Мордовию или ещё подальше на восток. Я волновался о жене и ребёнке – что будет с ними? Что станет с моими родителями?

Лейтенант вернулся и уселся в кабину к водителю. Ворота раскрылись и мы въехали в «почтовый ящик». С пугающим лязгом ворота захлопнулись за грузовиком.

Мы ехали по дороге меж промышленных корпусов. Грузовик часто останавливался, лейтенант выходил, забегал в какие-то двери, потом возвращался и мы продолжали кружить среди зданий. Я подумал, что он не знает, что со мной делать. Всё же это была промышленная, хоть и секретная, зона. Вряд ли у них там была тюрьма или вообще место где меня можно запереть. А пока я озирался на причудливые формы толстенных труб, соединявших высокие корпуса, на огромные электролизные чаны, что были видны через открытые ворота зданий, на цилиндры из нержавеющей стали, которые стужали рабочие из крытых брезентом грузовиков. Над грузовиками и цилиндрами были натянуты широкие сети с камуфляжем. У некоторых корпусов стояли мощные трансформаторные подстанции из которых тянулись кабели на шесть киловольт. «Там, вероятно, оборудование, которое надо сильно кормить электроэнергией», – подумал я. Что это было за оборудование, я мог догадаться, так как неплохо знал физику и понимал, что обогащение урана – процесс энергоёмкий. С одной стороны, мне было интересно это всё разглядывать, но я слишком хорошо понимал, что такая непрошенная экскурсия по секретной зоне мне дорого обойдётся и «век мне воли не видать».

Машина въехала в примыкавший жилой район. Там всё выглядело довольно мирно и буднично. По улицам бегали дети, старушки сидели на скамейках, на балконах сушилось бельё. Машина остано-

вилась у подъезда самой обычной пятиэтажки. У дверей прибита вывеска «Штаб Гражданской Обороны». Это меня удивило – что общего между мной и обороной, хотя бы и гражданской? Меня сняли с кузова и лейтенант повёл меня по лестнице на второй этаж. Там у одной из квартир висела такая же надпись про штаб гражданской обороны. Лейтенант толкнул дверь, и мы вошли в коридор. Было ясно, что обычная жилая квартира переоборудована в канцелярию. Он завёл меня в комнату слева и велел садиться перед письменным столом. Достал из нагрудного кармана ключик, снял с меня наручники и вышел, закрыв за собой дверь.

Комната была обычным кабинетом, где над письменным столом висел портрет Андропова – председателя КГБ. «Так вот что это за гражданская оборона!», – подумал я. На столе стояли два телефона. Мебели было мало – кроме стола, в углу стояли шкаф с папками на полках и сейф, а у окна два стула. На потолке над окном привинчена телекамера. Я ждал минут десять, потом дверь открылась и вошёл полковник с зелёными погонами, со скуластым морщинистым лицом, седым бобриком волос и очками, точь-в-точь, как у Андропова на портрете. На вид ему было лет 55. В руках он держал мой фотоаппарат и паспорт.

– Давайте знакомиться, – сказал он, усаживаясь к письменному столу, – меня зовут полковник Верещагин. А как ваше имя?

Я назвал себя. Полковник внимательно разглядывал паспорт. Видно было, что его особенно заинтересовал пятый пункт, то есть национальность: еврей. Он с интересом на меня посмотрел и продолжил:

– Ну что ж, рассказывайте, что вас привело к нам сюда?

– Станный вопрос, – сказал я, – это ведь ваш лейтенант привёз меня, я его не просил.

– Да вы я вижу большой шутник! Я тоже люблю пошутить. Что ж, повеселимся вместе. Ну, а всё же расскажите, что вы делали у периметра нашего объекта и что искали на свалке стратегического оборудования?

Я стал ему рассказывать всё, как было: как поехал снимать наклонную башню, как вышел не на той станции, как пошёл в рощу кушать бутерброд. Он слушал, не перебивая, делал записи в своём блокноте, ехидно улыбаясь, а потом сказал:

– Вы меня что, за дурака принимаете? Кому вы сказки рассказываете! Неужели вы думаете, что этой чепухе кто-то поверит? Вот объясните мне, что вы делали в посёлке Верх-Нейвинск перед тем, как вас арестовали?

Из этого вопроса я понял, что за мной следили, пока я ходил в посёлок.

– У меня плёнки для фотоаппарата не было, я ходил её покупать в промтоварах.

– Вот как! Ну это мы сейчас проверим, – сказал Верещагин и нажал кнопку, где-то под столом. Тут же в кабинет впорхнул блондинистый парень в штатском костюме с васильковыми глазами и пунцовыми щеками.

– Иванов, – сказал полковник, – возьми эту плёнку, слетай быстро в посёлок и проверь, действительно ли он её там купил.

Когда Иванов ушёл, полковник взял мой паспорт и опять стал вчитываться в пятый пункт:

– А есть ли у вас родственники за границей?

– Нет, – сказал я. В этот момент зазвонил телефон. Он снял трубку, послушал:

– Хорошо, несите его сюда.

В кабинет вошёл другой молодой человек в штатском, с длинным листом перфорированной по краям бумаги, покрытой печатанным текстом. Верещагин взял этот свиток и стал читать. Читал он долго, отмечая отдельные места карандашом, удивлённо хмыкал, а потом снял очки и спросил:

– Знаете, что это? Это телетайп с копией вашего досье, который мне вот сейчас прислали из областного управления. Тут много интересного. Оказывается, вы подали заявление на выезд в Израиль. Интересно-то как! Вы получали письма из заграницы: два из Франции, два из США и одно из ФРГ. Далее – вы стали учить французский язык. Он вам зачем в Израиле? Или вот тут – ещё десять лет назад вы выучили язык эсперанто. А это вам зачем надо было? С кем вы на нём собирались общаться? Тут вона сколько интересного, и всё указывает на то, что вы не такой простак, как прикидываетесь. По отдельности вроде безобидно, но вместе складывается в чёткую мозаику. Так что давайте уж начистоту. Мы ведь можем быть снисходительны к тем, кто чистосердечно

признаётся. Подумайте, вы же молодой человек, зачем вам так рано себя губить?

Я молчал.

– Тут дело ясное, – продолжал полковник, – вы собирались эмигрировать и решили там за границей обеспечить себе безбедную жизнь, продавая наши секреты. Вражеские разведки, ЦРУ или там Моссад, запускают к нам над головой спутники, но что там сверху наснимаешь? Мы ведь тоже не дети, знаем, что надо против этого делать. А вот посмотреть вблизи на наш объект и сделать снимки снизу – это для них ой как много значит! И вот пожалуйста, с идиотской сказкой про колокольню, эдакая невинная овечка, заметьте – с фотоаппаратом, вдруг оказывается у самого нашего порога. Что надо ещё доказывать? Ясно, что в одиночку вы действовать не могли. Пока что мы не знаем, кто вами руководит, но уж не сомневайтесь – узнаем всё.

В этот момент в дверь постучали, вошёл краснощёкий Иванов и сказал:

– Проверил, товарищ полковник. В посёлке он плёнку не купал.

Тут я разозлился и сказал:

– Он врёт! Наверное, даже не был в посёлке. Вот пусть пойдёт в магазин и сверит по серийному номеру на пачке. Я точно её там купал.

– Да какая разница, где вы покупали плёнку! Важно то, что вы на неё успели заснять. Иванов, возьми-ка эту плёнку в лабораторию на проявку.

– Так ведь плёнка свежая, даже не была в аппарат заряжена! – закричал я.

– А вот это мы и проверим, – сказал полковник и протянул Иванову пакетик с плёнкой. К моему ужасу, он дал ему и мой фотоаппарат. Мне стало ясно, что Иванов плёнку зарядит и нащёлкает кучу таких кадров, которые меня надёжно упрячут в лагерь на долгие годы. Я совсем сник, а полковник сиял. «Сидел он тут в этой дыре долгие годы и пенсию ждал – думал я, – и вдруг такая удача! Поймал шпиона. Да он мне такое нашъёт, что мало не покажется. Может даже в генералы выйдет. Вот ведь повезло негодяю».

Полковник продолжал допрос. Въедался в детали, спрашивал

про всё и всех. Я отвечал вяло, понимая, что это всё теперь ни к чему. Так, формальности. Действительно ли он верил, что я связан с какой-то иностранной разведкой, или просто хотел использовать подвернувшуюся удачу? Кто знает? Похоже, что он искренне меня подозревал. А что будет дальше? Он меня наверняка отправит в областное управление КГБ, где тоже есть любители сделать из мухи слона и заработать лишнюю звёздочку на погоны.

Длился этот допрос долго, часов до шести вечера. Потом Верещагин вышел и оставил меня одного. Я сидел и тоскливо смотрел в окно. Вернулся он нескоро, где-то через полчаса, посмотрел на меня в упор и вдруг сказал:

– Я все проанализировал и пришёл к выводу, что всё это не стоит выеденного яйца. Вы действительно оказались у нашего объекта по глупости и злого умысла мы тут не видим. Поэтому я решил вас отпустить. Езжайте домой.

Я не поверил своим ушам. Какой поворот сюжета! После всех этих разговоров и уговоров, вдруг – раз – и отпустить. Неужто он действительно порядочный человек, который зла ближнему не желает? Нет нужды говорить, как я был счастлив и рад этому неожиданному повороту.

Полковник подошёл к столу, нажал кнопку и опять тут же влетел румяный Иванов.

– Иванов, – сказал полковник драматическим голосом, – выдвори этого нарушителя за пределы объекта. Проследи, чтобы он сел на поезд и больше не шлялся, где не положено. Ну а ваш фотоаппарат, – сказал он обращаясь ко мне, – мы оставим для дальнейшего расследования.

Я был так ошарашен, что в тот момент не подумал – какое там ещё нужно расследование, если я ни в чём не виновен? Иванов взял меня за плечо и повёл вниз к газнику, стоявшему у подъезда. Через пять минут мы уже были на платформе. Иванов, вернул мне билет до города, ключи от дома, паспорт и мешок, но без фотоаппарата и бутерброда. Мы ждали когда подойдёт поезд на Свердловск. На платформе стояли ещё человек восемь-десять. Среди них я узнал парня в кепке набекрень, но без козы. Стояла там и молодуха с ребёнком в тёплом одеяле. Были ещё парень с девицей, похожие на влюблённых голубков, да парочка студентов с книжками в руках.

Поезд подошёл, все забрались в вагон и через минуту я покинул это негостеприимное место.

Я сидел у окна вагона и безучастно смотрел на плывущие мимо пустынные поля и редкие избы – устал безумно. Другие пассажиры занимались своими делами – студенты читали, молодуха качала младенца, влюблённые шушукались. Тело у меня затекло после долгого сидения и чтобы размяться, я решил немного пройтись. Я встал и пошёл к переходу в другой вагон. И тут к моему изумлению я увидел, что моя невинная прогулка по электричке вызвала большое оживление среди пассажиров. Молодуха с ребёнком вскочила и стала напряжённо смотреть в окно, кося на меня глазом, два студента тоже вдруг решили пройтись по вагонам и пошли вслед за мной. Парень в кепке встал и начал рыться в карманах. Ответ был совершенно ясен – полковник и не думал меня отпускать. Он просто сменил декорации. Я всё ещё был в его полной власти. Все эти пассажиры – и молодуха с ребёнком (вероятно, с куклой), и «студенты», и белобрысый парень в кепке набекрень да и все остальные – были людьми Верещагина. Не подавая вида, что я понял ситуацию, я спокойно прошёлся по вагонам, вернулся на своё место и стал думать.

Что же это значило? Скорее всего, полковник решил проверить, не будет ли у меня в поезде по пути в город какой-то встречи с сообщниками. Для этого он меня окружил своими топтунами или, как их ещё иногда называли – шептунами из-за того, что они переговаривались, шепча в микрофоны, спрятанные у них в воротниках. Когда поезд придёт в город, наблюдение за мной будет продолжаться, чтобы выяснить, не ждёт ли меня там кто-то после поездки. А потом меня снова арестуют.

Стоп! Но почему же я всех топтунов в поезде сразу распознал? Как это может быть? Я ведь про эти шпионские штучки знал только из книг и кино. Опыта у меня никакого, однако я их сразу же запросто вычислил. Наблюдение должно быть незаметным, иначе оно теряет смысл. А тут – какой-то дурдом! Объяснение, которое я нашёл было очевидным: эти топтуны не профессионалы. Да и откуда набрать фискальный опыт в «почтовом ящике»? Вот когда поезд придёт в город, там меня примет уже серьёзная бригада наружного наблюдения из областного управления КГБ. Этих-то дураков я вижу

и они этого не понимают, зато там, в городе, мне вряд ли распознать профессиональных топтунов. Дела всё ещё были невесёлые и что делать дальше я не представлял.

Поезд подходил к городу. На остановках садилось всё больше новых пассажиров и кольцо шептунов вокруг меня становилось всё теснее. Они боялись выпустить меня из поля зрения и я замечал, как они шепчут в воротники, но вида не подавал. Наконец, поезд остановился на городском вокзале, толпа вылилась не перрон и далее рассыпалась бисерным веером по привокзальной площади. Я решил не ехать домой и побродить в этом районе, чтобы оценить ситуацию и подумать, что делать дальше.

Я вышел на площадь и направился в боковую улицу вдоль трамвайных путей. Июньские дни на Урале длинные и довольно светло почти до 11 вечера. Ужасно хотелось есть – во рту с утра не было ни росинки. Мой бутерброд с сыром полковник конфисковал и на допросе не кормил. Вдали сияла вывеска булочной, я направился к ней, зашёл и стал в застеклённой стойке разглядывать ватрушки и пирожки. Вдруг, к моему изумлению, я увидел в стекле отражение одного из «студентов», прильнувшего к окну и наблюдающего за мной с улицы. Как так? Почему топтуны из «почтового ящика» всё ещё у меня на хвосте? Почему их не сменила местная бригада? Топтуны Верещагина ведь не могут хорошо знать этот чужой для них город, как же они смогут меня вести? Я решил не спешить, купил ватрушку и жуя вышел на улицу. Надо всё осмыслить и найти следующий ход.

Думал я так. Сейчас идти домой нельзя – там они меня сразу заберут. Если здесь за мной ходят эти любители из «почтового ящика», значит местное КГБ ничего об этом не знает. Стало быть, полковник Верещагин своему начальству про меня пока не сообщил. Почему? Либо он не был уверен, что дело стоящее, либо хотел сначала сам собрать как можно больше информации, например, выявить, с кем я в контакте, и уж потом преподнести на блюдечке полный компот и тем сорвать максимальный куш. Как бы то ни было, с его стороны это было явное нарушение, а значит, у меня был какой-то шанс.

Тут мне в голову пришла спасительная мысль на этом сыграть. Надо сделать так, чтобы лично для него стало опасным дальше раскручивать историю с моим арестом, особенно после того, как он

по глупости устроил мне экскурсию по секретной зоне. Терять мне было нечего, и я решил пойти ва-банк. Полковник явно подозревает, что я могу быть шпионом, иначе зачем ему за мной следить и выяснять мои контакты? Нужно его в этом заблуждении утвердить, а затем поставить в трудное положение, чтобы он захотел замять это дело. Для этого мне надо быстро и неожиданно исчезнуть, да уйти от топтунов так ловко, чтобы создать у полковника иллюзию опытного конспиратора. Человеческая природа такова, что топтуны ведь не доложат ему, что они лохи и упустили меня по своей неумелости. Скорее всего, будут оправдываться, что не могли тягаться с профессионалом высокого уровня. Это может утвердить Верещагина в его подозрении, что я действительно не невинная овечка, которую он упустил по своей неумелости. А значит, ему будет опасно докладывать об этом своему начальству. За провал его по головке не погладят и для него будет самое лучшее всё тихо спустить на тормозах, что мне и надо. Такой был мой план.

Оторваться от топтунов оказалось несложной задачей. У меня было явное преимущество. Во-первых, я имел дело с группой совершенно неопытных провинциалов, которые не подозревают, что я их раскусил. Во-вторых, они не могли знать город так, как знал я. Моё детство прошло тут, недалеко от вокзала. Я знал здесь каждый угол, каждую подворотню. Но всё же сначала надо проверить, не замешана ли в слежке местная бригада? Если да, то у них где-то поблизости обязательно должен быть автомобиль. Это необходимо выяснить в первую очередь, иначе мой план может лопнуть. Я стал петлять, стараясь заходить на улицы с односторонним движением – тогда бы я точно заметил машину, разворачивающуюся на перекрестках. Ходил я так с полчаса, но никаких машин не было видно, только верещагинские топтуны мелькали вдалеке, прикидываясь обычными прохожими. Было заметно, что они стараются держаться ко мне поближе – их явно насторожило моё петляние.

Я шёл по улице параллельной широкой улице им. Свердлова, где ходили трамваи, и автобусы. В просвете между домами я увидел, что по Свердлова от вокзала к центру города идёт автобус. Я знал где остановка, подобрал шаг так, чтобы приблизился к остановке в момент, когда автобус закончит посадку пассажиров. Я делал вид, что меня автобус не интересуется, но в последний момент вдруг заско-

чил в задние двери и автобус пошёл. Я уселся на последнее сидение и видел, как топтуны кинулись бежать вслед (вот для таких ситуаций им бы нужна машина).

Парень в кепке набекрень был явно спринтером. Он обогнал автобус, выскочил перед ним на дорогу и замахал руками. Водитель тормознул, открыл переднюю дверь и впустил его. А я сидел сзади и делал вид, что меня это всё не касается. Теперь мы остались один на один. Он стоял впереди и смотрел на меня, а я смотрел в окошко, краем глаза за ним наблюдая. Постепенно он расслабился и стал делать вид, что он тоже простой пассажир. На третьей или четвёртой остановке я увидел в окне, как у обочины таксист высаживает пассажиров. Это была моя удача! И снова, в самый последний момент, когда двери автобуса закрывались, я вдруг вскочил, вынырнул из автобуса, прыгнул в такси, сунул водителю все деньги, что у меня были и сказал:

– Гони на юго-западный. Опаздываю на свидание.

Это было в противоположной стороне от моего дома. Таксист нажал на газ. Через заднее стекло машины я видел, как одураченный топтун устраивает в автобусе сцену, как он затем выскочил на улицу, но с такси этот спринтер тягаться не мог.

Я отпустил машину, когда уже темнело и потом ещё более часа бродил по улицам. Домой пока идти было нельзя – в этом был окончательный штрих моего плана. Когда я от них оторвался, топтуны наверняка кинулись к моему дому, но я там не появился ещё долго. Где я был всё это время, с кем встречался? Верещагин этого знать не мог и в неизвестности была для него опасность. Такова логика, думал я, но был ли полковник логическим человеком?

Домой я добрался далеко за полночь. Волновался ужасно – вдруг меня там ждут? У дома было пустынно. Я отпер дверь и зашёл в квартиру. Ирина и ребёнок спали, я лёг, но уснуть не мог. Утром занялся какими-то домашними делами, а около полудня отправился за хлебом в соседнюю булочную. Когда выходил из магазина, кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся и увидел человека в буром плаще и надвинутой на глаза шляпе. Вглядевшись, я узнал полковника Верещагина. Был он весь какой-то посеревший, небритый и явно тоже ночь не спал. Он тихо буркнул:

– Отойдём-ка в сторонку, поговорить надо. Ты кому-нибудь про вчерашнее говорил?

– Нет, никому...

– Вот и не говори. Держи язык за зубами. Запомни, болтать будешь – тебе не жить. А лучше всего, уезжай отсюда к чёртовой матери... Далеко уезжай....

– Да куда же я могу уехать?

– Ты документы в Израиль подавал – вот туда и езжай. У меня связи есть, помогу. А уедешь – и там молчи. Кстати, вот твоя камера, забирай. Она мне ни к чему.

С этим он вынул из плаща и протянул мне мой фотоаппарат «Зенит», повернулся и не прощаясь ушёл. Я стоял потрясённый, ещё не веря тому, что произошло.

Недели через две я вынул из почтового ящика открытку из ОВИРа, а ещё через десять дней мы приземлились в венском аэропорту.

Яков Фрейдin до эмиграции жил в Свердловске. Он – кандидат технических наук, работал в НИИ и одновременно кинокорреспондентом на ТВ.

В США с 1977 года. Был исследователем в CWRU (университет в Кливленде) и ряде американских фирм, основал 4 компании и преподавал в Калифорнийском Университете. Автор более 90 научных статей, 60 изобретений и популярного учебника по датчикам. Автор книги (по-английски) «Приключения изобретателя – Adventures of an Inventor».

Публикует рассказы в русскоязычных изданиях и на интернет-порталах в Америке, Европе и России. В 2017 году в издательстве Hurricane Books выпустил на русском языке книгу «Степени приближения» (Невыдуманные истории). В том же году журнал «Чайка», выходящий в США в электронном варианте, назвал Якова Фрейдина лауреатом как самого читаемого автора.

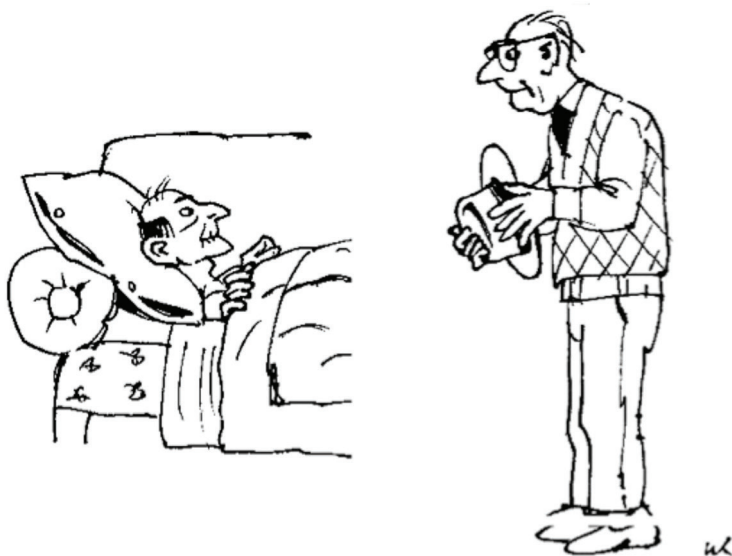
Живёт в Южной Калифорнии.

Александр МАТЛИН

ДВА РАССКАЗА

КОГДА УМИРАЕТ ДРУГ

Все мы жалуемся на старость. Дескать, суставы болят. Одышка. Память негодная. Сон нарушен. От секса вообще одни воспоминания остались. Короче, начнёшь перечислять свои старческие неприятности – уже не остановишься. Но, я вам скажу, это всё полбеда. А самое ужасное – то, что начинают умирать друзья. Прямо как сговорились.



Вот на днях узнаю, что смертельно болен мой старый друг Ньюма. И страшная развязка близка. Доходят слухи, что он ещё в полном сознании, лежит дома и никого не желает видеть, кроме приходящих медсестёр, которые за ним ухаживают 24 часа в сутки. И тут вдруг звонит мне одна из этих медсестёр и говорит, что не-

счастный Ньюма хочет, чтобы я к нему немедленно приехал. Только я и никто более. И я, конечно, бросаю все свои дела, тем более, что никаких дел у меня нет, и лечу к своему другу, с которым нас разбросала судьба по разным штатам и разным часовым поясам, и с которым мы не виделись много лет. А может – десятков лет. Кто в нашем возрасте считает?

Сделав глубокий вдох, я на цыпочках вхожу в дом своего любимого друга. Ньюма лежит на диване, бледный и безобразно постаревший за те годы, что мы не виделись. Я сажусь рядом. Он берёт меня за руку. В его глазах слёзы.

– Старик, – говорит он полусшепотом, – спасибо, что приехал. – Я позвал тебя, чтобы исповедоваться перед смертью.

– Кому, мне?

– Ну да, тебе. Больше мне некому исповедоваться. Это очень важно. Я хочу умереть с чистой совестью. Ты не против?

– Против чего – чтобы ты умирал? Категорически против.

– Нет, я про совесть, – говорит он, поморщившись. – Ты мой самый близкий друг. Я перед смертью должен тебе во всём признаться.

– В чём именно?

– Ты меня простишь, старик?

– Конечно, прощу. Скажи, за что?

Ньюма глубоко вздыхает и отворачивается к стене.

– Мне трудно об этом вспоминать, – глухо говорит он. – Но это очень важно, чтобы ты меня простил.

– Хорошо, считай, что уже простил. За что?

– За то, что я однажды переспал с твоей женой.

Наступает вязкое молчание. Я понимаю, что надо что-то сказать. Наверное, что-нибудь этакое, благородное и всепрощающее.

– Ну что ж, переспал, так переспал, – наконец, говорю я фальшиво дружелюбным тоном. Сейчас это уже не имеет значения, тем более, что её давно нет на свете.

И чтобы поддержать разговор и окончательно успокоить терзающую Ньюму совесть, задаю неуместный вопрос:

– И как это было?

– Ты мой самый близкий друг, – говорит Ньюма. – Я не хочу тебя обидеть, но должен признаться: было так себе. Поэтому у меня с ней это никогда больше не повторялось.

– Знаешь что, – говорю я со вздохом – ты мой самый близкий друг, и я тоже должен признаться: я тебя хорошо понимаю. У меня с ней тоже было так себе. Мы, конечно, любили друг друга. И прожили счастливую жизнь. И всё у нас было прекрасно. Всё, кроме секса. Поэтому я в молодости того... погуливал, если ты помнишь. В основном, с чужими жёнами.

– А с кем именно? – говорит мой друг, проявляя живое любопытство, не свойственное умирающему.

– Ну... с разными. Зачем тебе это знать?

– Просто интересно. Среди них были наши общие знакомые?

– Конечно. У нас все знакомые – общие.

– Кто именно? Не беспокойся, я уже никому не скажу, сам понимаешь. Может, моя жена тоже была в их числе?

– погоди, кто кого исповедует – я тебя или ты меня? – говорю я, начиная раздражаться.

– Неважно. Скажи – было дело с моей женой?

– Слушай, отстань ты со своей женой.

– Нечего увиливать! – сердится Ньюма. – Признайся, было дело? Ну, скажи честно: было? Всё равно её уже нет на свете, чего теперь скрывать?

– Может, поговорим о чём-нибудь другом? Скажи, например, ты лично веришь в загробную жизнь?

– Сволочь ты – огорчается Ньюма. – А ещё друг называется. Я с тобой всерьёз, а ты мне – про загробную жизнь. Отвечай, спал с моей женой? Ну, признайся, чего тебе стоит!

– Ладно, так и быть, – говорю я, чтобы отвязаться от надоедливого Ньюмы. – Было дело. Спал.

Моё признание неожиданно приводит Ньюму в восторг.

– Я так и знал! Я так и знал! – радостно кричит он, забыв о своём умирании. – Я всегда это подозревал! Я это нюхом чуял!

Я молчу, и Ньюма тоже умолкает, заметив, что я не разделяю его восторга.

– Ладно, не обижайся, – наконец, говорит он. – Просто хотелось перед смертью поделиться мироощущением.

– А ты не мог бы мироощущать на какую-нибудь другую тему?

– Ну, так что, ты меня прощаешь? Я могу умереть с чистой совестью?

– Прощаю, прощаю. Ты – меня, я – тебя. Умирай на здоровье. Это всё?

– Не совсем. Ты мой самый близкий друг, и я перед смертью должен признаться ещё кое в чём: я однажды переспал с твоей матерью тоже.

– Ты с ума сошёл! Идиот! – кричу я, забыв, что сижу у постели умирающего. – Когда ты успел?

– Давно, – вздыхает Ньюма. – Мы ещё студентами были. Твой отец был в командировке. Я зашёл к тебе не помню зачем, а тебя дома не оказалось. Было утро, твоя мать только встала, была в голубом халате.

– Голубого халата у неё не было.

– В голубом, я точно помню. Ну, и тогда...

– Хватит! Скотина! Как долго это продолжалось?

– Довольно долго. Минут двадцать.

– Не это. Как долго продолжалась ваша связь?

– Она не продолжалась. Это был единственный раз.

Он замолчал. Я тоже молчал, чувствуя, как к горлу подступает лёгкая тошнота. Ньюма первый нарушил паузу.

– Ну что, – говорит, – прощаешь меня?

Я пожал плечами и отвернулся, чтобы скрыть отвращение.

– Как тебе сказать, – говорю. – Я бы, конечно, набил тебе морду, если бы ты не умирал. Но раз уж умираешь, то так и быть, прощаю. Хорошо, что у меня нет сестры.

– Вообще, знаешь что? – говорит мой друг, и его окрепший голос неожиданно приобретает мажорную тональность. – Это мне первый врач сказал, что я умираю. А второй сказал, что я вполне могу поправиться. Так что, не теряй надежды. Может, ещё набьешь.

На лице его появляется слабая улыбка, и я вдруг замечаю, что не так уж сильно он постарел, как мне показалось вначале. Я говорю:

– Если не умираешь, зачем ты валяешь дурака?

– На всякий случай. Но, вообще-то, я второму врачу больше доверяю.

– А к третьему ты не обращался?

– Обращался. Но он оказался плохим врачом.

– Что он сказал?

– Что я вообще здоров, и кроме Альцгеймера, у меня ничего нет.

Я поднимаюсь с кровати.

– Подожди! – Ньюма хватает меня за руку. Движения его стремительны, а пальцы цепки. – Подожди, не уходи. Я ещё не всё сказал. Мне надо сделать самое главное признание..

– Знаешь что – говорю я – хватит признаний. Я тебя и так прощаю, оптом. Собрался умирать, так умирай и не приставай со своими признаниями.

Тут умирающий Ньюма сбрасывает с себя плед и садится на диван.

– Послушай, – говорит он. – Вот моё последнее признание: я на самом деле здоров и не собираюсь умирать. Но мы слишком давно не виделись и даже не разговаривали. Это ужасно. Ведь ты для меня всегда был самым близким человеком на свете. Ближе, чем жена. Был и есть. Надеюсь, что я для тебя – тоже. Мы живём в обществе, опутанном нелепыми традициями. Обрати внимание: когда человек умирает, на похороны съезжаются все его друзья, приятели, бывшие коллеги, знакомые и полу-знакомые. Приезжает столько народу, сколько он никогда в жизни не видел одновременно в сборе. Они приезжают попрощаться с ним, но какой в этом смысл? Он с ними попрощаться не может. Они его больше не интересуют. Они, может быть, интересовали его все предыдущие годы, когда он жил в своём тоскливом одиночестве. Но тогда никто не приходил – ни попрощаться, ни здороваться, ни исповедоваться. Какой может быть интерес к живым? И вот – даже ты. Ведь не сказали бы тебе, что я умираю, разве ты когда-нибудь прилетел? Просто так, без трагедий и слёз, просто чтобы обняться и поговорить о жизни. Да ни за что! А ведь для меня важнее всего на свете – увидеть тебя, самого близкого мне человека. Надеюсь, для тебя тоже.

– Да, да, конечно, – бормочу я, думая, как бы поскорее уйти. – Не иначе, как от большой дружбы ты всю мою семью пере...

– Замолчи, Мишка! – обрывает меня поздоровевший Ньюма. – Ты помнишь, как много лет назад ты мне сказал: «Старик, нам суждено быть вместе до смерти»?

– Извини, не помню.

– Ну как же! Это было в студенческие годы, на летней практике. Кажется, в Вологде.

– Я никогда не был в Вологде.

- Ну, значит в Волгограде.
- Там я тоже не был.
- Перестань притворяться, Мишка! Ты всё прекрасно помнишь! Конечно, память нам всем изменяет, но не до такой степени.
- Как видишь, до такой,. Извини, мне пора. Самолёт через два часа.

Наспех обняв Ньюму, я выхожу на улицу. Светит солнце, чирикают воробьи, и меня охватывает странное чувство, какая-то мучительная смесь радости и скорби. Радости – оттого, что мой друг жив, и скорби – оттого, что он фактически умер. Он – это уже не он. Меня ведь зовут Андрей.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАТАГОНИЮ

- Дамы и господа, минуточку внимания!

Хозяин дома Боря Бондарев, полный, лысоватый мужчина по кличке Бочка, позвонил вилкой по стакану и, дождавшись, когда гости затихли, сказал:

- Вы знаете, по какому поводу мы сегодня собрались?

Поднялся оглушительный галдёж, потому что каждый хотел ответить на вопрос и таким образом блеснуть своим остроумием. Бочка снова постучал по стакану, призывая к порядку, и сказал:

– Вы все правы, но никто не угадал. Мы собрались по двум причинам. Во-первых, мы давно не виделись, и пришло время вместе выпить и закусить. Во-вторых, и это главное, Фима Трахман, как вы знаете, недавно вернулся из поездки в Патагонию. Представляете, ребята? В Патагонию! Можно сказать, на край земли! И сегодня он нам расскажет о своём удивительном путешествии. Вот для этого мы и собрались. Так что, давай, Фима! Слово предоставляется тебе. И, пожалуйста, не упускай подробностей.

Все захлопали, и Фима Трахман, щуплый рыжеватый еврей, застенчиво улыбнулся и кивнул, признавая за собой право оратора.

- Значит, так, – сказал он.

– А может, сначала выпьем? – раздался звучный бас с другого конца стола.

– Конечно, – сказал хозяин дома Бочка. – Давайте, ребята! За встречу!

Снова поднялся галдёж и звон бокалов вперемешку с радостными выкриками:

– За встречу!

– Со свиданьем!

– Будем здоровы!

– За нас с вами!

– Извини, Фима, сказал Бочка, когда все выпили и утомонились. – Можешь продолжать.

– Значит так, – сказал Фима. – Летели мы туда больше двадцати часов. Сначала почти двенадцать часов до Буэнос-Айреса, а потом...

– Мы тоже недавно летели в Израиль, – сказала Ниночка Белянская, увесистая дама с вырезом на груди, в котором просматривалось глубокое ущелье между двумя устрашающего размера вулканами. – Тоже летели часов двенадцать, если не больше.

– Ну, это ты брось – возмутился Додик Волков. – Из “Кеннеди” до Тель-Авива десять с половиной часов без пересадки, а никакие не двенадцать.

Застольное общество всполошилось, и все заговорили одновременно:

– Конечно десять с половиной!

– Ты, Нинка, сама не помнишь, сколько вы летели..

– Чего пристали? Может, она с пересадкой летела?

– А мы тоже недавно летали в Европу...

– Так вот – сказал Фима Трахман, продолжая рассказ. – Это двенадцать часов только до Буэнос-Айреса.

– Я слышала, что Буэнос-Айрес очень красивый. Это там все ходят в белых штанах? – спросила Анечка Любкина. Голос у неё был писклявый, неприятный и звучал так, как будто Анечка всё время на всех обижена.

– Ты что, милая? Это в Рио-де-Жанейро ходят в белых штанах, если ты имеешь в виду «Золотого телёнка», – опять возмутился Додик Волков, который всегда был чем-нибудь возмущён до глубины души.

– А мы с Людкой были в Рио-де-Жанейро три года назад – сказал Володя, дотягиваясь до селёдки. – У нас, слава Богу, обошлось, но вообще-то, я слышал, там среди бела дня с тебя могут любые штаны снять, хот белые, хоть серые...

- Ну, не преувеличивай. В каком отеле вы останавливались?
- Дай вспомнить. Что-то вроде...
- Подождите, ребята. Пусть Фима дальше рассказывает.
- Конечно, конечно, давай, Фима. Вали дальше.
- Ну вот, летели мы, значит, сначала двенадцать часов до Буэнос-Айреса, – сказал Фима. Я за это время посмотрел три фильма и съел завтрак, ланч и обед, не считая всяких там орешков...
- Надо же! – с обидой сказала Анечка. – Повезло тебе. А у нас в самолётах больше не кормят.
- Знаешь что, ты не говори, чего не знаешь, – возмутился Додик. – На международных рейсах всегда кормят. Иногда даже выпить дают.
- Конечно, – подтвердил Фима. – Пока мы летели, я два скотча выпил.
- Я тоже раньше пил скотч, – сказал Володя. – А теперь перешёл на бурбон.
- И я! И я! – радостно подхватил Дима Бобкис, который до этого молчал. – Какой бурбон ты пьёшь?
- Любой. – отвечал Володя. – Предпочитаю Мейкерс Марк или Джек Дэниелс, но вообще – какой угодно.
- Ни фига ты не понимаешь. Джек Дэниелс – не бурбон.
- А что же это?
- Бурбон делают в Кентукки. А Джек Дэниелс в Теннесси. Понял?
- Эй, вы, кончайте базарить, – сказал Бочка. – Дайте Фиме договорить.
- Конечно, конечно, – загалдели гости. – Говори, Фима.
- Фима глубоко вздохнул и заговорил снова.
- Полёт, конечно, был долгий, но не утомительный. Пока выпьешь, пока вздремнёшь, пока посмотришь кино ...
- Какие фильмы ты посмотрел? – сказала Ниночка, не переставая жевать салат оливье.
- Один назывался «Салли», – сказал Фима, – а другой...
- А, я знаю, это про пилота, который сел в Нью-Йорке на воду, – вмешался Володя. – Там Том Хэнкс играет.
- Том Хэнкс очень хороший актёр, – сказал Дима. – Помните его фильм «Форрест Гамп»?

– Том Хэнкс либерал, – возмутился Додик. – Я его фильмы вообще не смотрю. Из принципа.

– Какая разница, либерал – не либерал, если он хороший актёр? – возразила Ниночка, дожевав оливье и переходя к селёдке под шубой.



– Ты что, не знаешь, какая разница? – завизжал Додик. – Огромная!

Тут за столом разразилась оглушительная перепалка. Все кричали одновременно, и поэтому невозможно было уловить, кто говорил и какую мысль пытался выразить. Фима терпеливо ждал, не принимая участия в сражении, чтобы не потерять нить своего рассказа. Когда страсти начали затихать, он сказал:

– Ну вот, в Буэнос-Айресе мы три часа ждали самолёта в Патагонию.

– Фима, Патагония – это где-то около Австралии? – пропищала Анечка Любкина обиженным голосом.

– Нет, нет, ты что, Анечка? – заговорили сразу несколько человек, громогласно проявляя знание географии. – Это в Южной Америке. На самом кончике. В Аргентине.

– Не только в Аргентине, в Чили тоже. В общем, на юге.

– Ну да, на юге, – подтвердил Фима. – Туда ещё семь часов лёту.

– Фирочка, твой салат, – просто фантастика – сказала Нина, обращаясь к хозяйке дома. – Чем ты его заправляешь?

– А это секрет, – кокетливо сказала Фирочка. – Позвони мне завтра, тогда расскажу.

– А я вчера новый принтер купил, – сказал Володя, обводя стол торжествующим взором. – Эйч-пи. Шестьдесят долларов на сэйле.

– Ну и что? Я свой за сорок пять купил.

– Слышали? На следующей неделе будет жара за девяносто...

На мгновение воцарилось молчание, и Фима, поймав момент, сказал:

– Самолёт наш, конечно, немного опоздал...

– Слушай, Фима, – раздался звучный бас. – Ты лучше скажи главное: ты там патагонку трахнул?

Мужчины заржали, Фима засмутился, а дамы стали наперебой выражать возмущение и протест:

– Фу! Лёня, что ты говоришь!

– Лёня, имей совесть!

– Лёня, постыдился бы! При Фиминой жене!

– А чего? – сказал Лёня звучным басом, дождавшись, пока дамы немного успокоятся. – Я уверен, что у патагонок все устройства на том же месте.

– Лёня, не хаами! – снова забушевали дамы.

– Совсем распоясался!

– Так вот, про самолёт, – сказал Фима, продолжая рассказ.

– Володечка, – сказала Люда, – ты знаешь, что уже полдесятого?

А нам ещё ехать минут сорок.

– Да, конечно, – сказал Володя, взглянув на часы. – Извините, ребята, нам пора. Боря, спасибо за приём. Фирочка, салат у тебя ска-зочный.

– Ой, нам тоже пора – сказала Ниночка.

– И нам! И нам! – загалдело общество, поднимаясь из-за стола. Гости начали наперебой прощаться. Зазвенели поцелуи.

– Фима, ты очень интересно рассказывал, – сказал Володя. – Жаль, что нам пора уходить. Извини. В следующий раз дослушаем.

– Да, Фима, очень интересно.

- Фима, ты молодец. Спасибо за рассказ.
 - Знаешь, Фима, так интересно, что даже завидно, – сказала Ниночка. – Мне тоже всегда хотелось побывать в Португалии.
- Фима Трахман вздохнул и расцеловался с Ниночкой.
Дом опустел.

Иллюстрации Вальдемара Крюгера

Александр Матлин – инженер-строитель, специалист по морским сооружениям и портам. В этом качестве проработал более 30 лет в Америке, а до того ещё 15 лет в Москве, откуда уехал в 1974-м году.

Помимо инженерства, в СССР он занимался тем, что писал рассказы и фельетоны и печатал их, в основном, в журнале «Крокодил». В последние годы он печатается в сетевых журналах, в еженедельнике «Панорама» (Лос-Анджелес) и других русскоязычных газетах и журналах Америки и Израиля.

В Москве в издательстве «Вагриус» вышла книга Матлина «На троих с ЦРУ» – полное собрание избранных рассказов и стихов. В ньюйоркском издательстве Mir Collection – рассказы 2=1 на русском и английском.

Ровно в девять утра напротив огромного здания Золотого Банка на Парк авеню остановился черный «Форд». Опознавательные знаки машины говорили о принадлежности к могущественной секретной организации Америки. Если бы не номера, оставленную в неполюженном месте машину в течение пяти минут забрала бы дорожная полиция. Особые номера гарантировали «Форду» безопасность.

Леон Михлин

Ревность как культ вагины? Не любой, а любимой, родной, единственной. Он один знал эту ее тайну перевоплощения, а оказалось – в сновидениях? – не он один. И узнал не первым? Скромность – скоромность, женщина сбрасывает стыд вместе с одеждой и прочие общеизвестности, которые известны далеко не всем. Когда-то он верил ей безусловно – как потом сомнения замучили его.

Владимир Соловьев

Так поколение, смертью смерть поправ,
Крылатых женщин, братьев-ясновидцев
Встает из шороха засохших трав,
Как звук струны, как надпись на странице.
А кто живой – тому туманный звон,
Казенный дом и дальние дороги.
Упорство и молчанье – их закон,
И Аполлон из них спасет немногих.

Томас Венцлова

Председатель КГБ Владимир Крючков, все более воспринимавшийся как один из истинных правителей страны, публично объявил всех лиц, сотрудничающих с радиостанцией «Свобода», изменниками родины и иностранными шпионами. Так я официально попал в черные списки – и еще какие...

В те дни меня останавливали в известинских коридорах люди, с которыми я был едва знаком, и, оглянувшись по сторонам, убедившись, что никто нас не слышит, говорили: «Андрей, брось ты это! Все что угодно, только со «Свободой» не связывайся, пожалеешь!».

Андрей Остальский

Горенштейн действительно заявлял: «Моя позиция безусловно отличается от позиции гуманистов. Я считаю, что в основе человека лежит не добро, а зло. В основе человека, несмотря на Божий замысел, лежит сатанинство, дьявольство и поэтому нужно прикладывать такие большие усилия, чтобы удерживать человека от зла».

Григорий Никифорович